

CARDINAL POINTS

СТОРОНЫ СВЕТА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

11



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
“СТОРОНЫ СВЕТА” №11
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
www.stosvet.net
info@stosvet.net

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Олег Вульф

РЕДАКТОР ЖУРНАЛА
Ирина Машинская

РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ НОМЕРА
Владимир Гандельсман

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Владимир Гандельсман
Кирилл Кобрин
Лиля Панн
Слава Полищук
Игорь Фролов
Эдуард Хвиловский
Роберт Чандлер

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБЛОЖКА
Сергей Самсонов

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РЕКЛАМА,
ОТДЕЛ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Всеволод Ермолаев
info@stosvet.net

Купить этот и другие номера журнала,
а также книги, выпущенные
Библиотекой журнала Стороны Света,
можно по адресу www.stosvet.net.
Заказы на книгоиздание: books@stosvet.net.
Разработка интернет-сайтов: web@stosvet.net.

© 2010, all rights reserved.
Все права принадлежат авторам

ISBN 978-0-9820065-4-2



СТОРОНЫ СВЕТА

СТОСВЕТ
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА 'СТОРОНЫ СВЕТА'
НЬЮ-ЙОРК
01/2010

ВЛАДИМИР СИМОНОВ

ОТРЫВИСТАЯ ОСЕНЬ

*Человечество делится на тех, кому
нравится «Мать» Горького, и кому нет.
Из голливудского боевика*

*Знаешь, я не думала, что мой отец
сможет встать на ноги после того,
что случилось в Аризоне.
Оттуда же*

ЧАСТЬ I

ОТРЫВИСТАЯ ОСЕНЬ

Спорю, что сколько бы вы ни прожили в Петербурге, вы никогда не слыхали о Донском переулке, если только сами не жили там. Я узнал о его существовании исключительно потому, что туда переехала Софа Рябенъкая.

Мы с Софой не виделись уже несколько лет, и казалось, наше знакомство выдохлось, прервалось само собой. Но вчера — день был пасмурный, как будто притаившийся, — я неожиданно встретил Софу у сберкасы.

Софа была в черной кожаной куртке, прямые черные волосы, как всегда, коротко острижены, а черные глаза, когда она меня увидела, засветились неподдельной радостью. Рядом стоял бородачатый пожилой мужчина с проседью.

Так вот Софа сказала, что переехала с Дегтярной на Донской, и пригласила на новоселье, хотя я прекрасно понимал, что настоящее новоселье уже давно прошло. Бородач внимательно и спокойно, даже благожелательно прислушивался к нашему разговору.

— Ну, так придете? — спросила Софа. — Может, в воскресенье? Только прежде позвоните, я объясню, как доехать. Это далеко.

В последнее время я испытывал зависть только к одной категории людей — пассажирам 46 автобуса. Причины понятны: 46 — этакий эдем на колесах, где обычно едет не больше трех-четырех человек и кондуктор подходит сам и протягивает руку. Но главная причина состояла в том, что мне на нем ну совершенно некуда было ехать.

...Накануне, в субботу, я позвонил Софе, и она подробнейшим образом описала дорогу. Вплоть до самого дома, который в ее рассказе выглядел очень мило и провинциально. Не переулочек, а садик, не дом, а флигелек с крутой деревянной лесенкой. Второй этаж, налево.

Рассказывая, она постоянно зевала, так что мне даже захотелось ехать и почему-то припомнился вчерашний бородач. «Ой, что-то разевалась. Извините, — вовремя сказала Софа. — Так что лучше всего поезжайте на 46... И чтобы больше никаких разговоров!» — крикнула она куда-то вглубь квартиры.

Как-то летом, в обед, мы с Софой пошли к рынку. Я — чтобы выпить пива у рыночного ларька, она — чтобы купить зелени. Кругом бушевал тополинный пух, заражая все — людей, дома, протрусившую мимо собачонку — своей невесомостью.

Разговор перескакивал с одного на другое, и вдруг Софа сказала, что ее брат, Алик, вчера уехал в Израиль. «А вы что ж не поехали?» — спросил я, думая совершенно о другом. «Дура», — коротко ответила она.

В то время я читал записки Че Гевары про то, как он с приятелем решил объехать на мотоцикле Южную Америку, читал и думал о том, как соблазнительна эта расширенность пространства, то есть что можно переезжать из одной страны в другую, где люди живут совсем по-другому, но постоянно говорить на родном языке. А тут — сиди себе в России, как паук в банке.

...Очень скоро я узнал, что Алик все же перебрался в Соединенные Штаты.

Внутри 46 оказалось даже лучше, чем могло показаться снаружи. Я выбрал место в углу и сел. Ученые уже давно заметили, что в замкнутом пространстве люди стараются рассесться по разным углам. В открытом — наоборот.

Солнце светило, и было так хорошо, что некому больше завидовать.

Дремавший на переднем сиденье кондуктор подошел и протянул руку. Он наклонился, чтобы оторвать билет, и я увидел совсем близко его большое грязное ухо.

Проверив, не счастливый ли, я зажал билет в руке и зажму-

рился — так, что перед глазами поплыло розовое и вспомнилось, что вчера в поликлинике мне сказали, что я практически здоров.

Автобус притормозил. Я открыл глаза и выглянул в окно. Летний сад блистал, и милиционер обходил пруд, позабыв о свистке. Из-под моста медленно выплыла экскурсионная шаланда с пугатым названием «Боцман».

Удивительно, как точно описала все Софа в своих невыразительных словах. Переулок и точно прикинулся садом, сплошь желтым от кленов, — детский рисунок Летнего сада, вклеенный между брандмауэров. Желтизна грела. А вот и лесенка. Вверх и налево.

Дверь открыла сама Софа, и, увидев ее, я, как и прежде, почувствовал странную уверенность, что мы обязательно увидимся снова, уверенность, которая, если ее распространять до бесконечности, — могла сойти за подобие любви.

Пройдя через сенцы, заставленные санками, лыжными палками без лыж и картонными коробками, мы оказались в передней, где я начал было снимать ботинки, но Софа тут же остановила меня: «Никакого стриптиза». Верно, я и забыл, что у нее только одни мужские тапочки, да и те, наверное, на Сашке. В отличие от американского брата, сына Софы звали не Аликом, а Сашкой.

Мы прошли на тесную кухню, где Софа вернулась к одновременному мытью посуды, омлету и начала расспросы. Я достал шкалик и поставил его посередине стола. В этот момент в дверь позвонили.

Софа метнулась в переднюю — она вообще все делала «мечась», «разрываясь», — слышался лягз цепочки, басистый голос Сашки и причитания Софы. «Нет, вы только посмотрите, что он купил! Вы посмотрите на это. И это можно носить?!»

Раздался округлый топот, и Сашка, смущенно глядя на свои штаны, вошел на кухню в сопровождении матери. Он был большеголовый, губастый и лопухий. Софа жестом указала на Сашкину обновку и закатила глаза. Да, широченные штаны были точь-в-точь цвета детской неожиданности.

— Каждый имеет право на свободное волеизъявление, — заявил я, сам не зная, выражаю ли этим солидарность с молодежью или сарказм.

К омлету Софа достала миску мятых соленых огурцов, я куснул один и с апетитом принялся за водку, стараясь направить беседу так, чтобы говорила преимущественно Софа, но при этом

неутомительно. Сашка потоптался на кухне и поплелся в комнату. «Смотри, модем не опрокинь!» — крикнула ему вдогонку мать.

Преполовиненный шкалик уже не так мозолил глаза. Софа рассказывала про свою работу в библиотеке, и это звучало отголоском все той же давешней «дуры». На улице стало пасмурно, и в редком сером свете желтые клены вдруг вспыхнули и показались какими-то обреченными.

Зазвонил телефон. Софа умолкла и так, словно я все должен был понимать без слов, сказала: «Володя, подойдите, пожалуйста. Это наверняка опять он». «Мам, возьми трубку, это он опять!» — крикнул из комнаты Сашка, с грохотом что-то роняя.

Я подошел и, прокашлявшись, снял трубку.

— Да?

Молчание.

— Говорите. Кто это? Кто говорит?

— Слон, — ответил ровный мужской голос без намека на шутку.

— Тогда вам лучше, наверное, обратиться в зоопарк. Софы нет дома.

— Понято, — все так же ровно произнес голос.

Щелчок и долгие гудки.

Когда мы первый раз ехали в гости к Софе (она жила тогда в Старой Деревне), Пазухин предупредил, чтобы мы не очень пугались ее мужа — мол, уж больно он звероват. И это оказалось чистой правдой, хотя Пазухин забыл упомянуть одно немаловажное обстоятельство. Есть мнительные люди, и нет хуже мнительных людей. Бывший муж Софы был в высшей степени мнительным человеком, однако мнительность эта странным образом уживалась с полным безразличием ко всему на свете, и все вместе как-то удивительно красноречиво шло к нему. Помню его стихи из «Русского разьезда»: «Я живу на Петроградской, Под подушкой — пистолет...»

Все это я к тому, что теперь не приходилось сомневаться, что звонил именно он — бывший супруг, который в тот, первый вечер, выйдя к нам, поклонился в пояс и сказал: «Nuova sera». «Новый вечер, к чему это?» — нервно фыркнула Софа. А раз звонил, то скоро зайвится, читал я мысли Софы, такие просто так не отвяжутся, пока не пошлешь. Глаза у нее из черных стали почти синие. Похоже, мне предстояло стать свидетелем семейного скандала.

Вот тебе и новоселье, вот тебе и огурцы.

И верно — минут через пять в дверь постучали. «Вот изверг, — прошипела Софа, — будто звонок не работает», — и мет-

нулась открывать.

Когда бывший супруг сторбленно вдвинулся на кухню, я подумал, что не такой уж он и звероподобный, сгладилось, обкаталось все как-то, — но вот что он в носках! При этом чистых и не рваных, в рваных Софа точно бы его не пустила.

Подойдя к окну, он присел на корточки, прислонился к батарее и по-египетски выставил бугристые ступни. Так и сидел — с видом человека, который ничего не может.

Я предложил ему выпить, он молча отказался. И то — шкалик был почти пуст. Но дело, конечно, не в шкалике. Если вы знаете, как умеют молчать мнительные люди, то не удивитесь, что наш разговор с Софой быстро зачах, и я засобирался.

Когда Софа провожала меня, глаза у нее снова стали черные. «Мы, наверное, скоро опять переезжаем, — сказала она. — Здесь, конечно, хорошо, но...»

ПРОФЕССОР

У бани на Чайковского был отчужденный вид. Ее давно поставили на ремонт, фасад затянули зеленой сеткой, но рабочие не показывались. Между тем сверху обозначилась внушительная мансарда. Понятно: сауны, девочки, бильярд.

Стояла оттепель, хотя «стояла» про нее как-то не очень скажешь — в оттепель все начинает подплывать, оседать, рушиться, гнетет к земле, а по дворам так и вовсе не пройти: сплошь ледяные надолбы и черные лужи.

Едва свернув в подворотню, я увидел спину профессора. Он шел, похожий на лысого медведя, в бахилах и коричневом малахае, шагая вразвалку, грузно, однако ни разу не оступившись и не оскальзываясь. Я всегда называл его про себя «профессором», и не зря — впоследствии так оно и оказалось. Жил он в предпоследней угловой парадной, над которой исправно горела желтая ртутная лампа.

Кто объяснит, почему иногда так не хочется заговаривать с неожиданно встретившимся знакомым? Думаю, никто — даже если и знает. Но факт есть факт. Заметив профессора, я замер, а потом, крадучись, двинулся вперед, всячески стараясь замедлять шаги, но он тут же, словно почуяв это, приостанавливался, начинал рыгаться в сумке, сморкался, и у самой парадной я его догнал.

Профессор обернулся, и лицо его осветилось такой младен-

ческой радостью, что мне стало стыдно за недавнюю пантомиму.

Теперь даже не верится, как я волновался, впервые оказавшись у него дома. К тому были причины.

Похоже, профессор не принадлежал к тем, кто стесняется заводить новые знакомства, и предпочитал сразу брать быка за рога. Особенно «интересных» людей. Что интересного он нашел во мне — до сих пор не понимаю. Мы не были представлены, хотя, конечно, это не значило, что люди, почти тридцать лет прожившие в соседних парадных, не знают друг друга. В конечном счете, если тебе кто-либо интересен, то начинаешь невольно наблюдать, даже следить, подглядывать, и вот оказывается, что уже знаешь немало.

Так было и с профессором, похожим на огромного младенца с пунцовыми губами, с его женой-балериной: последнее можно было безошибочно определить по походке и манере держать голову несколько надменно. На щеке у нее было большое родимое пятно.

По субботам и воскресеньям они всегда откуда-то возвращались примерно в одно и то же время. Потом оказалось, что — из Павловска, Гатчины, Ораниенбаума. Здоровый образ жизни в согласии с природой. Профессор всегда шел на шаг-другой впереди...

«Вы такой-то?» — спросил он скорее утвердительно, чем вопросительным тоном. Отрицать было бессмысленно. «А знаете что? — продолжал профессор, делая такое движение рукой, будто хочет взять меня за пуговицу. — Приходите-ка вы как-нибудь к нам. Посидим. Только ни слова о политике. А перед этим можете заглянуть в ЛОСХ, у меня там выставка, второго закрывается... Поделитесь впечатлениями».

В ту ночь я спал очень плохо. Мне снилась профессорская жена, которая что-то шептала мне на ухо.

Я пошел на выставку, хотя года три назад уже был на одной — в Чайном домике, но та мне не понравилась. Тогда я шел наугад, теперь же заранее очень хотел, чтобы понравилось, и всячески старался забыть первое впечатление.

Раз пять я прошел по залу, прохладному и слегка пахнувшему нафталином, безлюдие которого нарушали только картины и неприметно дремавшая в углу смотрительница. Пять раз, но блеклые, серовато-коричневые, словно стекавшие по холсту и безнадежно провинциальные городские пейзажи с крытыми авто тридцатых годов — то ли Выборг, то ли Вильна, то ли Ужгород — с

уходящими в небо, то есть за край картины, кронами деревьев, навевали тоску своей неизбежностью.

Пришлось разбудить старушку и купить каталог. Может, попрошу автограф?

Чтобы оценить, определить, кто кого держит в ежовых рукавицах — муж жену или наоборот, — надо обязательно побывать у них дома, на улице это почему-то не так заметно.

Открыв мне дверь, Галя, так звали жену профессора, тут же, бесшумно, по-балетному скользя наискосок паркета, исчезла на кухне, оставив нас вдвоем. Каталог я решил все же не брать. В искусстве всегда выигрывает самый взыскательный, то есть тот, кому больше всего не нравится, но сказать это прямо — неловко, да и ни к чему. Впрочем, говорить комплименты или ругать — одинаково волнительно.

Поэтому я решил соблести пропорцию и сказал, что работы профессора «странные», кое-что не понравилось, но две-три совершенно поразительные. Да, и еще добавил — от себя насчет провинциальности. И вдруг нам обоим стало до необыкновенности легко. «А теперь чай пить», — пунцово улыбаясь, сказал профессор, поглаживая клинышек седой бороды.

За чаем Галя, стоило профессору взглянуть на нее, тут же умолкала и постоянно угощала меня мандаринами. По дороге домой я все время украдкой нюхал руки.

Шел снег, такой мелкий и невесомый, что становилась ощутимой весомость воздуха.

Поговорили о том, о сем, и разговор наш чем-то напомнил мне, как в детстве, на даче, играли в «магазин». «Как обычно?» И смеялись, обменивая лепестки шиповника на клочки бумаги — неравноценный обмен.

Зазвучала музыка, и профессор достал из глубокого бокового кармана дебильник. Нажал на кнопку, музыка смолкла, и поднес к уху. «Но я же сказал, что разговариваю», — капризно произнес он и снова сунул дебильник в карман. «Тепло, должно быть, у него в карманах», — подумал я. «Рукам тепло, когда в карманах, — словно подслушав мои мысли, подхватил профессор, — а вот на улице... Так приходите. Будут интересные люди. Только ни слова о политике». — Он кокетливо улыбнулся.

Я знал, как обычно проходят такие сборища. Сначала все, полумолча, сидят в гостиной, возбужденные, как собаки на выставке, потом кто-нибудь не выдерживает, снимает со стены хозяйскую

гитару, и все дружно топают на кухню, погромыхивая именами и цитатами. «Обязательно приду».

«У нас и Симонов не раз бывал... Да... Больше всего любил Петра I изображать. Закроет, знаете, так лицо рукой. — Профессор медленно поднес ладонь ко лбу и провел, словно снимая маску, — лицо никак не изменилось. — Да ведь я это уже рассказывал. Вот, возьмите лучше...» — и он протянул мне узкую, сложенную как телеграмма бумажку. Потом повернулся и скрылся в парадной. Такая у него была привычка — прощаться, уже отвернувшись.

Дома я, не снимая пальто, прошел в комнату, зажег настольный свет и трясущимися руками развернул бумагу. Это было приглашение на семь бесплатных сеансов китайского массажа.

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Вольперт и Шумаликовская прошли единогласно. А вот Козлодоева завалили.

«У него вид тяжело пьющего человека, — внятным, но каким-то подергивающимся голосом говорила Заварзину председательница комиссии, поспешившая отзвониться, так как совершенно непонятно почему все считали, что Козлодоев — протеже Заварзина. — Главное, ведь мог бы и не приходить, у нас теперь такой порядок, явка не обязательна. Ну?...»

Хорошо сказано «тяжело пьющего», отметил про себя Заварзин, легко пьющих и принимают легко. Хоть бы псевдоним взял, дурак.

Повесив трубку, он снова пошел рыться в бумагах. Паршивое занятие, но послезавтра чтение — надо же хоть что-то подобрать. В комнате было полутемно, все разворочено. За окном слитно шумел ливень, то затихая, то припуская вновь, будто кто-то баловался с душем.

Общение с прошлым в его бумажном выражении никогда не доставляло Заварзину радости, только чих, поскольку все бумаги были запорошены пылью. Впрочем, выяснились и любопытные подробности: например, что проза не терпит неряшливости, а стихам все равно, даже от смятой почеркушки могло захватить дух.

Приятно было и не узнавать себя. Читал прекрасный абзац: «Да кто же это написал?» — «Да вы», — отвечал ласковый внушенный голос.

Роман? А что роман? Говоря по секрету, Заварзин и не собирался его заканчивать. С ним было так уютно и не надо заботиться о завтрашнем дне. К тому же кто упрекнет автора в том, что повествование о принципиальных проблемах бытия бесконечно? Поэтому Карлик и Генералиссимус могли беспрепятственно вести свой бесконечный диалог в дебрях Неведомого леса.

Но приятнее всего было обнаружить записки жены из роддома. Признания наспех и просьбы положить в передачу то-то и то-то. Заварзин никогда бы не подумал, что будет вот так же, как эти молодые мужья и отцы, стоять под окнами и по-обезьяньи размахивать руками. Пришлось.

Жена в основном улыбалась. Рядом, припав головой ей на плечо, стояла совсем молодая девчушка в косынке, повязанной «ушками». Жена быстро и легко сходилась с людьми.

А в приемном покое, то есть тьфу, в справочном, откуда он в то утро выходил таким счастливым, потом открыли цветочный магазин, а теперь — аптеку. Вот только где она — жена? Дочка где? Но Заварзин неожиданно вспомнил совсем другое. Он — студент, курит на галерее, и вдруг из дверей, как на учениях по гражданской обороне, двое выносят на скрещенных руках немолодого мужчину, а третий, сзади, почтительно поддерживает голову.

Веки у мужчины были полуприкрыты. Стрельнуло: «сэнсей»! Заварзин погасил сигарету и потихоньку пошел сзади, стараясь держаться непринужденнее.

Гардероб уже закрыли. Шествие остановилось. «Не найдешь здесь, найдешь там, — негромко произнес сэнсей. — Вынесите меня на воздух».

По дороге я купил буханку хлеба, чтобы потом не заходить в булочную. Поздно, да и забыть могу.

На чтение в музее Ахматовой собралось много народа. Почти все места были заняты. Положив пакет на стул с краю, я пошел побродить по фойе. Радио играло Баха. В киоске продавались книжки Ахматовой и об Ахматовой, довольно дорого.

Я вернулся в зал. Хлеб лежал на месте, словно приобретающее какое-то символическое значение. Мне казалось, все понимают, что у меня в пакете хлеб. Кто вообще ходит на чтения с продуктами?

Когда садился, особенно неприятно было чувствовать мокрые брюки. Перед выходом долго гадал — брать зонтик или не брать? Не взял и, конечно же, угодил под дождь. Вечно так. Брюки быстро согрелись, но внизу все равно было влажно. Пакет я пристроил на коленях.

С утра, несмотря на воскресенье, разбудили чертовы рабочие. Подняли такой грохот, что я даже встал и, голый, высунулся. На крыше напротив соорудили какую-то треногу со стволом, обложенную мешками и похожую на зенитку. «Готовитесь, — злорадно подумал я. — Ну готовьтесь, готовьтесь...» Но в результате не выспался и голова разболелась. А тут еще душный шепоток, пробегающий по залу, ожидание неизвестно чего...

Но вот в дверях, под жидкие аплодисменты, показался лысый, похожий на гриба человек, прямо прошел к эстраде, капитально, как пианист, устроился на стуле и стал шарить по столу руками. Ведущий, видимо, зная привычки чтеца, моментально сбегал за пепельницей. Мэтр, довольный, закурил и, пыхтя «беломором» в потолок, «хут-хут», раскрыл положенную перед собой папку и без отлагательств приступил к чтению.

Не прошло и нескольких минут, как за мной послышался шум раздвигаемых стульев, я уронил буханку и, нагнувшись за ней, обернулся.

Ну вот скажите, как можно живописно изобразить увиденное искоса, краешком глаза, то есть практически не увиденное, во что, однако, человек умудряется влюбиться «с первого взгляда»?.. Короче, с этого момента мне стало не до чтения, тем более что автор пискляво читал зануднейшую аллегорию о карлике то ли о фельдмаршале, которые о чем-то без конца спорили, причем один ерзал на ветке дуба.

Инстинкт повелевал мне не оборачиваться.

На реплике Генералиссимуса «А ты кто такой?..» Заварзин поперхнулся, но ему расторопно подали стакан воды. Вода была из-под крана, теплая и пахла хлоркой. К внутренним стенкам стакана прилипли пузырьки. Отпивая ее мелкими глоточками, Заварзин кашлял и сморкался.

Перед выходом он долго решал, взять ли зонтик, и наконец взял, но брюки все равно вымокли, и теперь было особенно неприятно ощущать липнувший к икрам влажный материал. Отобранное для чтения поместилось в тугую кожаную папочку, которой Заварзин гордился, может быть потому, что проходил с ней все эти годы, и теперь мысленными подушечками пальцев чувствовал ее музейность.

Пепельница понемногу наполнялась. Одной рукой держа папиросу, Заварзин легко взмахивал другой, словно дирижируя. Чтения были хороши тем, что по ходу их он входил во вкус текста. Говорили, что читает он уверенно, но это был обман. Секрет состоял в том, чтобы сосредоточиться на ком-то из слушателей, а затем

начать с ним игру, заставляя его или ее опускать взгляд всякий раз, что Заварзин на него или нее смотрел.

Но сегодня Заварзин углядел ее сразу и уже не мог отвести глаз, поминутно забывая о лежащей перед ним рукописи. И ведь ничего такого — стрижка «паж», очки, чуть свиное лицо, однако было в нем нечто, ради чего Заварзин с радостью бросил бы к черту своих марионеток.

Когда он закончил чтение, в зале стало до жути тихо. «Итак, прошу вопросы к автору», — негромко, но внятно произнес ведущий, выдвигаясь к рампе. Народ молчал. Заварзин подумал, что это резонно — он и сам бы не знал, о чем себя спросить. «Тогда, — продолжал ведущий, сохраняя в речи все знаки препинания, — тогда, наверное, мы попросим Владимира Ивановича после небольшой паузы почитать еще».

Заварзин покосился на него, в зале произошло какое-то шевеление, и он тут же метнул взгляд на то место, где сидела она. Место было пусто.

«Боже, она ушла!» — мелькнуло у него в голове, как титры из немого фильма. Заварзин вскочил и, лихорадочно комкая, стал укладывать разбросанные листы в папку, явно собираясь уходить. «Владимир Иванович...» — мягко, вполголоса сказал ведущий и цепко ухватил его за рукав.

«Но битва на Куликовском поле! — истошно и неожиданно громко выкрикнул Заварзин. — Там торжества!..»

Она неожиданно взяла меня под руку — так, будто на улице очень скользко, — и зашептала в самое ухо: «Я слышала, как ты меня догоняешь, шаги, такой большой, сильный, а я такая маленькая...» И, хотя мне все показалось совершенно наоборот, спорить я не стал: влюбленному с первого взгляда, да еще чувствующему взаимность, меньше всего на свете хочется спорить. Единственное, что меня смущало, это вытатуированная на ее правом плече синяя ящерка, юркая, казалась, вот-вот готовая перепрыгнуть на меня.

Действительно я догнал ее на набережной, и мы так и шли по ее пронумерованным плитам, и было похоже, что у набережной нет конца, — в отличие от улиц набережные склонны создавать такие иллюзии. Над Летним громоздились грозовые тучи, медленно двигаясь в нашу сторону. Август.

«Ну как, понравилось?» — спросил я как можно безразличней. «Не-а, тоска зеленая. Но меня Владимир Иванович пригласил — неудобно...» — «Слушай, вроде дождь собирается. Пошли ко мне», — сказал я, чувствуя, что теперь все позволено. «А вот и пойдем», — ответила она и еще крепче ухватила меня за руку.

С тех пор как Соляной сделали пешеходной зоной, срубив старые тополя, он перестал быть похожим на загород, увешанный матовыми шарами фонарей и уставленный бетонными клумбами, вокруг которых расположились невысокие гранитные пеньки, заменявшие скамейки. На один из них мы и сели, боком прижавшись друг к другу. И тут я снова уронил хлеб. Прямо Чарли Чаплин какой-то.

Она попросила закурить, и я полез за сигаретами, но вместо этого мы поцеловались и целовались до тех пор, пока на нас не обрушился ливень, так что когда мы наконец добрались до меня, то вымокли до нитки и пришлось дать ей свою длиннополую рубашку хаки.

«ЧАЙ ИЗ ДВУХ ВЕРХНИХ ЛИСТОЧКОВ»

Едва свернув в полуслепой подъезд, я увидел его и понял, что живых людей в таких машинах не возят. С виду это был обычный микроавтобус, но как-то уж слишком подозрительно и брошенно он стоял. В пустой кабине горел свет, мехом кверху валялся на сиденье тулуп, дымилась в пепельнице сигарета — совсем как на «Марии Селесте». Обе задние дверцы были распахнуты. Обойдя автобус, я заглянул внутрь: обитая железом темнота, наглухо задернутые занавески.

Как сейчас помню, я сразу подумал, что это за Диминой мамой. В школе вместе с Димой учился мой младший брат. Соседи говорили, что Дима пробует писать детские рассказы. Во всяком случае больше он ничем не занимался, это точно. Ходил он всегда в костюме или макинтоше — смотря по времени года. Носил очки в толстой пластмассовой оправе, а пьяный что-то с пафосом втолковывал — о каких-то то ли визах, то ли видах на жительство — гревшимся на лавочке бабкам. Улыбка у него была совершенно собачья, доверчивая и виноватая.

Года два назад с его отцом случился удар, и он стал появляться во дворах с палочкой, говорил, что жить больше не хочется. А какой неистребимый был весельчак! Вечно норовил рассказать какой-нибудь детский анекдот и вместо «чепуха» говорил «пичуха». «Ну, это пичуха!..» Жена-гусыня работала в Публичке, там только таким и работать. Месяц тому я заметил, что отца как-то не видно стало, а через день узнал от соседей, что с ним случился второй удар и он умер. Диму я все эти дни тоже как-то не видел.

Теперь я уже почти не сомневался, что автобус с надписью «специальный» (я прочел это пугающее слово, когда обходил его) приехал за Диминой мамой, и с этой уверенностью вернулся домой. Настроение было паршивое: сегодня ходил в кассу спросить билеты на концерт Патти Смит, но все дешевые уже раскупили, а на дорогие не хватило денег.

Я влюбился в эту старуху, как только увидел ее на афише. Рубленое мужское лицо — то ли Клинт Иствуд, то ли Чак Норрис, — но сразу понятно, что женщина, и от этого еще более обаятельная. «Ничего, — подумал я, — пичуха. Куплю пластинку, вырежу фото и буду смотреть и слушать, слушать и смотреть, как чай вприкуску, а про Диму все равно расскажут соседи...»

Газет я не выписываю. По-моему, это пошло. Родриго признается Рите, что не в силах забыть Диану. У Риты нет сил сказать ему о беременности. Мэри пишет детям прощальное письмо. Только иногда читаю на углу спортивную колонку.

Сегодня рядом с ней и большой статьей о газетной любимице Маргарите Тереховой мне бросилась в глаза заметка о японском умельце, хотя умелец, конечно же, сказано неправильно. Речь шла о престарелом японце, вырезавшем из дерева будд. Каждый день он брал полence и, как папа Карло, стамеской и ножом вырезал из него будду. В день по будде, ни больше и ни меньше. И, разумеется, ни один будда не был похож на другого. Замечательная жизнь, замечательная судьба.

У меня на сегодня тоже было только одно дело, по определению — неприятное. Купить чай. Я уже присмотрел один, который назывался «Чай из двух верхних листочков». Но сочетать приятное с приятным удается редко, если удается вообще. Речь о продавщице. Много я о ней сказать не могу, поэтому и не буду. Вот только глаза у нее были оловянные, величиной с блюдце. Не знаю, из-под какого Ханты-Мансийска ее выкопали, но она даже плохо представляла, чем торгует ее отдел, и только таращилась своими блеклыми блюдцами. А уж чай из двух верхних листочков наверняка посчитала бы злой шуткой. Да, Амелина сказала, что, когда увозили Димину маму, Дима стоял на кухне и хохотал как безумный.

Подходя к магазину, я заметил на другой стороне улицы Игоря. Он тоже меня заметил и бросился мне навстречу, чуть не попав под автобус. Знакомство наше было вполне фантастическое, и знали мы друг о друге еще меньше, чем я о продавщице с оловянным взором, но при виде меня Игорь неизменно расплывался в улыбке, которой хватило бы круглый год освещать весь Чикаго.

Вот и теперь, как-то совершенно особенным образом извиваясь и извилисто протягивая бескостную, потную руку, он сказал:

«Здравствуйте, команданте...» Ну чего не простишь такому человеку, если даже собаке готов простить все за то, что она спит на твоих ботинках? Да, а еще Амелина сказала, что у Диминых родителей было полно антиквариата, а так как его отовсюду выгнали, он решил распродать все по дешевке и запить горькую.

Возвращался я домой без чая — раскупили, дешевый и вкусный, чего там, понятно, но зато избавленный от унижительного общения с оловянной продавщицей. Кто скажет, что лучше?

Пока я был в магазине — всего-то минут пять, — успел пробежать дождик, и над Литейным радостно выгнулась радуга, впрочем почти тут же растаявшая.

У входа в угловую булочную, прислонившись к перилам, сидел на асфальте Дима. Судя по макинтошу, антиквариат он уже продал. Он сидел, поджав ноги, совершенно не в силах подняться, с улыбкой озирая всех и вся, и чуть горбился от чужого счастья.

ЧАСТЬ II

РОДИНКА

«Поэтичная у вас профессия — мосты, каналы», — сказал я, когда Ольга вынула последний тампон и разрешила сплунуть. Я наклонился над плевательницей, где уже валялось несколько комков ваты, и изо рта потянулась клейкая струйка, которую я поспешил утереть скомканным в руке, не слишком чистым платком. «Ну, мосты это больше по части протезистов... — не поняв юмора, ответила Ольга. — А теперь посидите с открытым ртом».

В кабинете было прохладно — кондиционер. Светивший прямо в лицо рефлектор, щелкнув, погас. Я окончательно расслабился и краешком глаза стал рассматривать Ольгу, такую легонькую, сухонькую, потому и пепельные волосы так шли ей, с прозрачными глазами и большим, ровно вырезанным ртом. Хорошо, наверное, с таким ртом ходить к стоматологам — разинешь пасть...

Тихая любовь в отличие от скоротечной влюбленности может длиться годами. Тихая любовь лежит в швейцарском банке. Про нее можно иногда забывать, но, даже тлея, она здесь и практически не меняется, а когда на душе скверно и стыло, возле нее

можно греться. Только передавать ее нежелательно, в собственных же интересах. Такой была моя любовь к Ольге.

«Вот, Машке щенка купила, помесь ретривера и спаниеля, — сказала она, вертясь на стуле. — Такой сладкий...» Странно, однако то, что Ольга рассказывала о своей другой жизни, такой непохожей на неосязаемую жизнь со мной, меня совершенно не трогало, как будто на этом месте сами собой возникали какие-то пробелы, цензурные изъятия. Зато все ее профессиональные советы, особенно учитывая серьезный вид, с каким видом она их давала, звучали как стихи.

«А вот, — продолжала она и, словно доказательств ее иной жизни не хватало, шурша белоснежным халатиком, полезла в сумку, — а вот мы с Машкой в Барселоне». Я скосил глаза. Серые камни, зеленая зелень и посреди, у фонтана, нечто пестро улыбочное. «Потрясающе», — сказал я.

Помолчали. Я снова украдкой стал наблюдать за Ольгой, за тем, как она, поворачиваясь то в фас, то в профиль, с тихим звоном перебирает инструментарий, и одновременно прислушиваясь к раскаленному гудению проспекта и тому, как я верю, что ей есть что мне сказать. Мне-то было. Ну, допустим, про то, как я в последние дни читаю Хёга, его «Смиллу», читаю, чувствуя, как мурашки бегают по телу от необычного переживания, которое, наверное, испытывал Кай, складывая из льдинок слово «вечность», чувства, что с жизни сдернули толстую, теплую перину, и, забыв о лежащей под такими же перинами горошине, она легко соскочила на пол и подлетела к окну, за которым шел медленный снег, чувствуя прохладную авторскую свободу, автора, который был не просто — как значилось на последней странице обложки — «профессиональным танцовщиком, актером, моряком, альпинистом и путешественником», то есть не «с такого-то по такое-то», а всем сразу. Но как было это сказать?

«А это откуда?» — спросил я все еще не совсем своим голосом, мотнув головой в сторону гравюры с изображением моста и канала. «Поклонники дарят», — ответила Ольга, держа в руке смотровое зеркальце. «Смотрите, я ревнивый». На сей раз Ольга поняла и только улыбнулась, впрочем довольно кокетливо — так что я невольно подумал, что под белоснежным халатиком почти наверняка — ничего. Зубы у нее, что и говорить, были жемчужно ровные. Из всех паст она предпочитала «Lacalut».

«Не мешает?» Я поскрипел зубами. «Ну, тогда давайте я вам еще гвоздичным маслом обработаю... — снова придвинулась она, и я зажмурился. — Если будет побаливать, положите раствором теплой воды с содой, не горячим, а чтоб было приятно. Ну, а

уж если совсем, то звоните...»
«Обязательно».

В песке валялся пес и спал. Белый с черным ухом, и можно было поспорить на что угодно, что зовут его Бим. Пес принадлежал компании молодых людей в тельняшках, балагуривших под вывеской «Прогулки на катерах по рекам и каналам». На спускавшемся к Мойке травянистом откосе частью загорали, а частью просто сидели, парами и поодиночке, подвернув штаны до колен, прикладываясь к бутылочкам с минералкой.

Я сошел с маршрутки на пару остановок раньше и медленно брел вдоль набережной — так всегда хочется потянуть время, когда что-то, будь то приятное или неприятное, или и то и другое вместе, позади. Шел и непроизвольно ощупывал языком залеченный зуб. Ничего не болело и не мешало. Исполнительницей Ольга была идеальной.

Стояла жара, и было приятно думать, как нежно, нежнее любой женщины, касается лица снег.

Я присел на свободную скамью и раскинул руки. Эта поза почему-то всегда придает мне уверенности. По аллейке ко мне приближался слепой. Белая трость осторожно постукивала перед ним, и я удивился, когда он сел на ту же скамью, что и я, хотя удивляться здесь было абсолютно нечему. Слепой сидел очень прямо, поставив трость между широко расставленных ног и устремив незрячие глаза на Марсово поле, превратившееся в огромную сковороду.

Наверняка все, если не привыкли, испытывают рядом со слепыми какую-то неловкость, вот и я завертелся, сложил руки на груди, прокашлялся, но слепой даже не повернулся в мою сторону. Проследив за его, если можно так выразиться, взглядом, я увидел Профессора, плывшего по Марсову полю под серебристым дамским зонтом.

И тогда, сам не знаю почему, мне пришло в голову закрыть глаза — пусть ненадолго, пусть лишь кощунственно подделываясь под истинную слепоту, но тут-то оно и случилось...

Ту вечеринку я устроил специально для Ольги, но она, как всегда, опоздала. Я без конца звонил в поликлинику, и несколько раз все готово было сорваться. Наконец она все же приехала, полчаса просидела, как королева, в единственном кресле, и ушла. Даже не пригубив глинтвейн, который я специально сварил для нее. Все эти полчаса я просидел на полу у ее ног, а потом пошел провожать. До веселящихся гостей мне абсолютно не было дела.

Незадолго до того во всей квартире делали ремонт. Не-

приятно, конечно, видеть свою жизнь вывернутой наизнанку, зато потом приятно пахнет чуть сырыми обоями и краской. Активно помогавшая в ремонте Вера Николаевна подвесила вытащенные на Божий свет игрушки за шеи, так что получилась целая галерея висельников.

Я довез Ольгу на такси до ее чертова Купчина. Была сильная метель, и на обратном пути, в почти наглухо облепленной снегом снегом машине, я чуть не задремал, но проснулся, как от электрошока, оттого что на заднем сиденье так тихо и пусто.

Когда я вылез из машины, мне ужасно захотелось, чтобы кто-нибудь сейчас вышел навстречу и сказал: «А вы не можете?..» Закрываясь рукой от летящего в лицо снега, я почти столкнулся с девушкой в огромном тулупе, которая вышла из угловой парадной и спросила: «А вы не можете разменять мне сто рублей?» — «Нет проблем, — ответил я, — только деньги дома, пошли...» И, не оборачиваясь, зашагал вперед.

Открыв дверь, я увидел, что в квартире темно. Гости разошлись, и только в комнате брата горел свет. Самого брата не было — на полу, раскинув руки и ноги иксом, лежал Жора из «Россиян» (через полгода его убили в Колпино) и храпел, как паровоз. Я оглянулся. Девчонка в дверях с подчеркнутой аккуратностью вытирала ноги. Мы прошли в мою комнату, где я принялся искать деньги, но очень скоро выяснилось, что то ли брат перед уходом успел расстелить мне постель, то ли я сам как-то незаметно сделал это. Когда очень пьян, поля восприятия совсем узенькие, и дальнейшее я помню фрагментами...

Она сидела на разворошенном диване, завернувшись в тулуп, кожа у нее была очень бледная и яркая родинка на подбородке. Брат тоже почему-то оказался здесь и сидел в кресле, закрыв лицо руками.

Только бы она ничего не рассказывала про то, где училась.

— А я, между прочим, в интернате хинди училась, — сказала она, затягиваясь и выпуская дым колечками.

В интернат хинди могут отдать только единственного ребенка.

— Так у тебя что, семья многодетная?

Она оживилась.

— Да нет, это я на хинди, а сестренка-близняшка парикмахерша...

Боже, только бы она ничего не говорила на хинди.

— Ну, так скажи что-нибудь, скажи, интересно. Или стихи почитай.

Она скисла и потушила сигарету.

— Да не, зачем, меня недавно один дядечка у Казанского тоже просил...

В конце концов, какая разница, с кем окажешься в одном воздушном шаре или мыльном пузыре?

— Ладно, — сказала она, вновь оживляясь, — пьяная п... себе не хозяйка... — делаясь вдруг красивой ослепительно — как лампочка перед тем, как погаснуть.

Короче, всю оставшуюся ночь я проспал, беспробудно уткнувшись носом в тулуп. И каково же было мое удивление, когда утром я проснулся в чисто прибранной комнате, где не было следов ни девчонки, ни тулупа, ни брата. Только рядом с диваном лежала замызганная сотня и стоял недопитый стакан с чем-то, что при обнюхивании оказалось портвейном.

На письменном столе валялся клочок бумаги, на котором кто-то начал было записывать телефон, но остановился на трех первых цифрах.

Я открыл глаза. Слепой неслышно ушел. Мне не было стыдно перед Ольгой, но в тот день я ей так и не позвонил.

Оглянулся. Слепого не было видно, значит, уже далеко ушел, легонько постукивая своей палкой, значит, я долго вспоминал тот зимний день. Снег — это хорошо. Неужели я родился в такую адову жару? Жаль, уже никто не ответит. И все равно хорошо быть младенцем, хотя потом и приходится подыхать в холодном поту и смертельном ужасе.

По Марсову полю снова проплыл профессор, на сей раз со сложенным зонтом, но в белой панамке, и, как почти всегда, когда что-то повторяется в точности, за вычетом мелких деталей, меня осенило. Раз жара, надо подстричься. Наголо. Логика собственного недолгого рассуждения показалась мне неопровержимой.

Мимо той парикмахерской я проходил чуть не каждый день, не особенно задаваясь вопросом, что там внутри, так как, сколько себя помню, все парикмахерские изнутри были совершенно одинаковы, да и торчавшие в дверях, вечно перекуривающие девицы не будили воображение, а скорее усыпляли его.

Странно оказаться в месте, которое до мелочей можешь представить заранее. Может быть, поэтому я чуточку разнервничался, не зная, в какое кресло сесть, поскольку пустовали почти все. «А вы вон туда пройдите, молодой человек, — сказала сидевшая на диване у входа и читавшая модный журнал дама, по всей видимости, бандерша. — Марина сейчас подойдет».

На столике в углу стоял традиционный сталинский графин с пыльной водой. В плотном воздухе растекалась псевдovосточная

лень. Словом, это было нечто полярно противоположное кабинету Ольги. Садясь в протертое кресло и мельком заметив в прилизанном зеркале свое отражение, я подумал, что у меня вид человека, напрочь разучившегося мечтать.

Увидев ее в зеркальной глади, я обомлел. Она была она. Та же бледная кожа и выражение потерянной собаки. Только вот почему, почему она делает вид, что не узнает меня.

«Как делать будем?» — спросила она, щелкая ножницами. Я мгновенно раздумал стричься наголо и впился глазами в ее лицо. Родинки на подбородке не было, и мне ужасно захотелось сказать что-нибудь на хинди.

«Значит, много не снимать? — переспросила она. — Ладно, не будем. Только головку повыше, вот так!»

КАМИЛ ЧОНТОФАЛЬСКИ

У него был даже не рот, а зев, и, когда он зычно покрикивал на игроков обороны, мешая русский мат со словацким, зев этот открывался зияющей черной ямой. Но сегодня орать приходилось больше для проформы: игра уверенно катилась к ничьей, которая более чем устраивала команду, и до конца оставалось минут десять, не считая добавленного времени. И все же Камил нервничал, причем непонятно отчего, и это ему здорово мешало.

Между тем все было как обычно. Камил машинально следил за мелькающей цветной картинкой — перемещениями синих и черно-красных, происходившими в основном на безопасном расстоянии для его ворот. За стариком в бело-голубом зенитовском кашне, франтовато повязанном на шее. Он вообще любил пофрантить, старик. Поэтому Камил так поразился, увидев в газете на следующий день после игры с португальцами фото старика, вставшего на колени у бровки и молитвенно сложившего руки. Было бы из-за чего. Старик, как сильно подозревал Камил, не верил ни в Бога, ни в черта. Так что опять выходил форс.

— Ну куда ж ты!.. — орнул он на Билялетдинова, уверенно забирая мяч, упругий, как жопа Галинки.

Нет, старик был свой в доску, и приятно было не только сознавать, но и думать об этом.

За голыми по пояс фанами, привычно свистевшими, гудевшими, трещавшими, хлопавшими, а сегодно еще и — команда реально претендовала на призовое место — раскатавшими по три-

бунам огромные баннеры, позорившие противника. Погода тоже потрафила. Камил относился к погоде очень серьезно, серьезнее, чем когда они ездили за город с Галинкой. Во время игры погода должна была соответствовать, иначе у Камилы портилось настроение, как у ребенка, которому влетело зазря.

Словом, все было как всегда и по логике вещей должно было быть неощутимым, как бутылка минералки и запасные перчатки, валявшиеся в углу ворот. Но тревога Камилы не утихала.

Большинство людей предпочитает общение необязательное и ничего не требующее кроме, пожалуй, искренности, а это не так сложно, как кажется. Именно эти чувства — необязательности, легко дающейся искренности, а вслед за ними — чувство удачливого игрока и испытал Камил, оказавшись в России. С этого момента ему и вправду во всем везло.

Кроме того люди, как правило, верят в неисповедимое. Камил тоже в это верил.

Квартиру, правда, дали на окраине, зато двухэтажную, как он всегда мечтал, с лесенкой, узкой и крутой, так что лучше не падать. И Камил не падал — он вообще был понятливый. «Лесенки воздушные по ветру летят. Мамочка бездушная кушает ребят», — сочинил малолетний сын Камилы, Игорь. Назвать его так предложила Галинка. Камил заупрямился: еще давно он дал себе клятву назвать сына Домиником, в честь отца. А дело было вот в чем: год и даже дату смерти бабки и дедки Камил помнил, не говоря уже о матери, а вот отца — нет, и, как бы во искупление допущенной по собственной вине ошибки, втайне поклялся назвать младенца Доминик. Тут заупрямилась Галинка. Как-то ночью он ее уломал, но назвали все равно Игорь.

Кого-то эти стихи могли бы и насторожить, но Камил находился в той поре жизни, когда человека ничто не тревожит. Он только спросил у Игоря: «А что это за лесенки?» — и, когда тот ответил: «Ну, это по которым забираешься на небо...» — успокоился.

С Галинкой и Акинфеевым он познакомился почти одновременно, когда других знакомых у него, по сути, не было, и сразу понял: вот он — настоящий друг, вот она — спутница жизни. Акинфеев был всем хорош, только скуповат, все покупал в «Пятерочке», и квартира у него была завалена мешками с продуктами, как барсучья нора. Сам Камил о деньгах никогда не думал, может быть, именно потому, что ему всегда везло, и потому же одалживать Акинфееву деньги было вдвойне приятно — и по-дружески, и по-человечески.

Акинфеев и подарил им на свадьбу щенка, сучку боксера, которая терпеть не могла, чтобы ее гладили. Так и назвали «недотрожкой», а кличку дали сокращенно — Неда.

Весь первый вечер Галинка так хохотала над его, Камила, акцентом, что он специально решил не слишком-то учиться русскому и даже иногда коверкал некоторые слова нарочно. С детства, а особенно с тех пор, как пришлось постоянно переезжать из клуба в клуб, Камил полюбил пословицы, но из русских запомнил только одну: «Знает кошка, чью собаку съела».

Чтобы чувствовать себя русским или по крайней мере казаться таковым, надо усвоить тяжелую поступь, будто несешь крест и собираешься на Голгофу. Но у Камила походка была легкая. Будучи приверженцем здорового образа жизни, Камил поставил в гостиную домашний кинотеатр, где лазурные младенцы, спотыкаясь, бродили по золотому пляжу, а потом бекас, шелестя и брызжа, опускался в хрустальные воды ручья, или посреди океана вдруг вздымался скалистый остров, поросший раскидистыми соснами. В такие моменты Камил особенно остро чувствовал себя гражданином Вселенной. Повернувшись к Галинке, он тихонько кусал ее за пальцы.

...Красно-черные почти не вылезали со своей половины поля. Но отчего же так тревожно?

И вдруг он вспомнил.

На игру, как всегда, ехали в автобусе, и, как всегда, Камил чувствовал, что команда — единая семья и он к этой семье причастен. Даже со старика слетало все напускное, и он непринужденно беседовал с шофером.

Ялгубцев по очереди — сначала вратаря, потом защитников, хавов и нападающих — пригласил всех на мальчишник по случаю предстоящего бракосочетания. Его, косолапого и всегда набыченного, окольцевала какая-то манекенщица, и теперь он по традиции хотел выгуляться перед свадьбой на всю катушку.

На перекрестке Каменноостровского и Австрийской рядом с автобусом остановилась запряженная белой лошастью белая пролетка, на которой золотыми буквами красовалось «Императорь». За границей, особенно играя в «Удинезе», Камил успел насмотреться таких пролеток и парочек, но тут было что-то необычное — в нервно хохотавшей женщине, в том как она нервно целует, на глазах у всей команды, непробиваемого с виду мужчину.

И в этот момент мяч оказался в сетке его ворот. Камил не то чтобы не среагировал, но как-то незряче. Именно так и выразился комментатор. Достав мяч с тем видом, с каким это делают все пропу-

стившие вратари, Камил подумал даже не столько о проигранном матче и о том, что теперь лучше не попадаться старику на глаза, а снова вспомнил о той женщине, и как ему тогда представлялись ворота без вратаря, и он весь покрылся холодным потом...

После матча Камил повел себя так, как еще не вел никогда — как вор.

Чудом ускользнув от старика и Ялгубцева, которые теперь представлялись ему опасными врагами, Камил быстро переоделся, поднял воротник куртки, пониже надвинул вязаную шапку и надел черные очки — так оставался шанс пробраться сквозь осатаневших фанов к ближайшему метро.

Проходя мимо цветочного лотка и срезая угол, он задел локтем вазу с каллами. Белые цветы вместе с осколками вазы упали в лужу. Продавщица, конечно, разоралась, и тут Камил не выдержал и побежал. Перебежав проспект на красный свет, он продолжал бежать и по эскалатору, пока сидевшая внизу служащая не проговорила на весь туннель: «Молодой человек, не бегите по эскалатору!» Камилу показалось, что еще никогда в жизни его так не оскорбляли. Но теперь это было не важно. Он резко остановился, отчего сидевшие на кончике носа очки упали, но не удержался и побежал снова, даже не обратив внимания на хрустнувшие под ногами очки, не обратив потому, что это было бегство не — от, а — к.

В метро он задыхался, а в голове крутился один и тот же вопрос: «За что? За что?» — и, только вставляя ключ в скважину, он понял, за что, вспомнив, что никогда не понимал анекдотов: ну, муж возвращается из командировки... — никогда не смеялся и чуть ли не гордился этим. Вот это было неправильно, поэтому он даже не удивился, увидев Галинку и Акинфеева на лесенке в той именно позе, какую ожидал увидеть. Камил разинул зев, но ничего не сказал, только посмотрел на них так, словно видел впервые в жизни.

ВПБУ

Внимание!

Мухина замуровала в подвале
5 Больших котят забив окна фанерой.
Им не выбраться. Надо взломать окна

Вешала бы таких. А еще лучше — серной кислотой. Она

отошла от остановки, где была приклеена прокламация, внешне спокойная, но внутренне вся кипит. Остальные объявления тщательнее соскребли. Выходило, что либо его наклеили совсем недавно, либо дворник попался жалостливый. Да, жди от них жалости, от этих дворников. Небось сами и замуровали. А насчет серной кислоты она уже пообещала оправдаться, когда та заявила из-за кошек, мол, вонь и всякое такое. Сама зараза. А серную кислоту? Достану. У нас все можно достать.

Навстречу из парадной вышла соседка, которую пять лет назад хватил удар. Они всегда встречались в это время, та — в магазин, а она, то есть я, по-разному. На соседке была тяжелая, как рыцарский доспех, нутриевая шуба. «Я не сдаюсь!» — крикнула она и даже попыталась отсалютовать палочкой. Без комментариев.

Темнело теперь рано, особенно с переходом на зимнее время, так что в квартире было совсем темно. Впрочем, ей это не мешало, как и знакомый запах — кошачьей мочи и хлорки, — который чувствовался даже на площадке. Знакомый, но оттого не менее острый. Войдя в переднюю, она сняла пальто и ногой поискала тапочки. На самом видном месте до сих пор стояли пляжные — синие, в цветках и лягушках, которые муж, большой остряк, сбегавший через три месяца после того, как получили квартиру, называл «смирись, гордый человек». Надо будет наконец убрать, чтобы глаза не мозолили. Пусть теперь острит у новой бабы. А сбегал-то из-за чего? Из-за того, что она стала мыть хлеб с мылом. Подумаешь! Не есть же с бактериями.

Слепо щелкнул выключатель, слепо, как и вся ее жизнь, и при свете запах стал не таким резким. Первым делом она посмотрела на дверь большой комнаты, под которую, уходя, подложила газету. Вроде все в порядке. Но тут с виноватым скрипом открылась дверь на кухню, и оттуда, хвост трубой, появилась ее любимица — рыженькая, с полосатыми лапками, появилась с таким видом, словно извинялась за всех. О Господи!

Подтерев за кошками, она со спокойной душой прошла в комнату, плотно прикрыла дверь, задернула шторы и достала из сумочки маленькую и сигареты. С маленькой проблем не было, какие могут быть проблемы с маленькой? Но с курением она боролась и положила пачку на расстояние вытянутой руки, а потом еще отодвинула. И пепельницу специально взяла чистую, чтобы жалко было испачкать.

Она налила полрюмки и выпила, не закусывая. Во-первых, нечем, даже хлеб забыла купить, а во-вторых, когда пьешь под закуску, получается, что пьешь, а если не закусывать — то за помин души. После дня беготни было хорошо просто сидеть, слушать, как

притормаживают и отъезжают от остановки автобусы, и ничего не делать. Вот только ничего не делать человек не может.

Водка вяжет во рту и расширяет поля памяти. Когда в вагон метро с разных концов ввалились коробейники и заорали, она даже вздрогнула. Вот уж мастаки глотку драть! Тот, что справа, даже поезд перекрикивал. Но и наглые — ко всем пристают, цепляются. Работа такая. А ловкие! Через ноги переступают, одной рукой за поручень, а другой товар держат, как обезьяны. Сегодня волшебными палочками торговали. Ну, светящиеся такие, пластмассовые: стукнешь обо что, а она тут же и засветится — синим, красным, желтым. Привязались рядом с ней к какой-то тетке в каракуле: «Чего вы такая невеселая? Спорим, сейчас палочкой дотронусь и улыбнетесь. Спорим?!» Стукнул осторожно, палочка засветилась, тетка еще больше скуксилась, а она подумала: вот бы у меня вся жизнь, как эти палочки!..

Зато с утра испортила настроение крыса. Шаркнула прямо из-под ног, когда выходила из парадной. Никогда у них в доме этой нечисти не водилось. Такие мерзкие! Но крыса — ладно, а главное, никто не обращал внимания, даже обидно, будто она выдумывает.

В издательстве Тоня куда-то выскочила, и она наткнулась на Элеонору Акимовну, из корректорской, самый интеллигентный человек во всем издательстве. Рассказала про крысу. Нора посмотрела на нее задумчиво и сказала медленно, как в трансе, словно припоминая: «Да... крысы, крысы», — но так, видно, и не припомнила, потому что сразу затарахтела: «А Михаил Яковлевич и говорит мне... так что, сама понимаешь, после этого...»

В большой комнате сидели только Калинин и Кукулин и все пытались встретиться взглядами, но не могли, потому что оба были уже красные. На цветочном столике стоял большой круглый поднос с рюмками. Кукулин держал во рту папиросу, хотел прикурить и все промахивался спичкой. Им она про крысу рассказывать не стала, что толку. Спросила только, что празднуют, и Калинин ответил: «Мерси».

Уже уходя, в дверях налетела на Тоню, сказала, что рукопись на столе, и рассказала про крысу. Тоня ахнула, закрыла рот рукой и вытаращилась, но все это так, для блезиру, уж Тоню-то она насквозь видела.

А вообще в издательство ездила, только когда точно знала, что не встретит бывшего. Он теперь стал большой шишкой и чуть не каждый день там болтался, так что рукописи за нее отвозила и брала Рита. За процент, конечно, но как иначе? Потом у нее машина. А почему из-за мужа? Любила еще, что ли? Может. А может, стыдно было, что вся седая, — какая разница? Любовь ведь не про-

ходит, просто задевается куда-то, как вилка.

После нескольких щатяжек у нее останавливалось дыхание, и она сидела, не дыша, но спокойно, будто ныряя или уже на том свете. Легко так сидеть, когда наверняка знаешь, что скоро опустит.

Еще по гостям, а потом и у себя, она заметила, что у каждого человека в доме есть нетронутые вещи. Это могут быть книги, а может сервиз или изображение святого семейства. И совсем не обязательно, что ими никто и никогда не пользуется, просто через определенный срок вещи эти так или иначе возвращаются на свое место, и у хозяина нет ни малейшего желания, чтобы они сдвигались с него хоть на миллиметр. Возможно, в этом какой-то залог, а возможно — сродни неизменяемым качествам самого человека.

Обидно за Павлика. Всего девятнадцать лет. Такая несправедливость. Она даже ездила по объявлению к ворожее, та гадала по картам таро, вызывала дух. Павлик сказал, что теперь он животное, не очень крупное, и ему это не нравится. Больше ничего не сказал. Главное, такой живой всегда был, ни минуты не мог усидеть, так что она никак не могла представить, как же он там в этом, этом, этом...

В той, дальней, его комнате она с тех пор ничего не меняла, только иногда пускала ночевать гостей, и было приятно, что там кто-то спит. В маленькой, где жил муж, до сих пор лежал брус для стеллажей, все хотел сам сделать, да так и не забрал. Какое-то редкое дерево, розовое, теплое. Там она устроила храм Высоцкого.

Почему люди считают несправедливым, что их замечают только после смерти? Ведь пока они живут, ты с ними на равных, а потом оглянешься: вот он какой был — в черных трусах до колен, поверх пупок и уши лопоухие, зато какой еще будет капитан Желтов, и тогда можно перетасовывать, и все будет хорошо.

В своей у нее был храм Цветаевой. Вот и сейчас Марина смотрела на нее с увеличенной (известная фотография) в самоцветном нимбе и загадочно улыбалась, как живая.

Почти машинально она потянулась за рукописью, которую взяла у Тони. Потянулась — и чуть не свернула пепельницу, где значилось уже пять окурков. Стоит только начать.

Это была книга Чиндяйкина о злаках. Приятно увесистая и явно несложная. Она посмотрела оглавление, и в глаза сразу бросилось «Вредители». Вспомнив про объявление, она нашла указанную страницу и стала читать. Рассуждая об основных вредителях злаковых культур, автор упоминал пасюка (ну, обычную такую серую крысу, большую), отмечая его ум, изобретательность и агрес-

сивность. «Вот и он туда же, — с тоской подумала она. — Ну какой у крысы ум? Тем более изобретательность? Нечисть, и все тут!»

А в школе Павлик был такой хороший — не свистел, не плевался. Она посмотрела на полку рядом с портретом Марины, где стояла его любимая книга. «Записки о галльской войне». Увидела и купила пять экземпляров. На всякий случай.

Допив маленькую, она решила, что сегодня читать ничего не будет. А ну их всех! Проверила кошек, постелила новые газеты и пошла к соседке.

У соседки Риты между верхних зубов была дырка. Ей казалось, что она когда-то слышала, что такие люди то ли очень страстные, то ли развратные — какая, собственно, разница? Но у Риты страсть была иная. В прошлом году зимой она поехала по путевке в Гоа, привезла оттуда банановую панаму и теперь расхаживала в ней по дому, снимая только на ночь.

Но на этот раз у Риты точно сидел мужик, с которым она разминулась в дверях. Высокий, симпатичный, хотя сама Рита была от горшка два вершка. Ну, так всегда бывает. «Нормально, — сказал он, поворачиваясь к Рите, — только свистит», — и ушел, не прощаясь.

Вообще-то она с соседями не общалась, но, узнав про Павлика, Рита сказала: «Да, жаль молодых. А мы вот старенькие по-мрем...» Так она тогда ее чуть не убила, а потом полюбила, потому что поняла — права, и ходила в гости почти каждый вечер.

«А мы тут текилу пили — самогон. Хочешь?..» Но сначала повела показывать, как ей поменяли в ванной трубы. В маленькой ванной было жарко и пахло освежителем воздуха. «Не текут?» — вяло спросила она.

Текила была точно самогон, только в красивой бутылке, и ей все казалось, что Рита хочет ее о чем-то спросить, но побаивается. Ну и пусть. «Покатаемся?» — наконец спросила Рита, и, хотя вопрос был явно не тот, она с радостью согласилась: ей нравилось кататься с Ритой в ее стареньком «москвиче».

Они спустились, обе в дубленках, и сели в Ритину развалюху. Рита засунула за обе щеки «антиполицай». Ехали медленно, молча, и как раз стали зажигать фонари. «Люблю порулить», — сказала Рита.

Пошел снег.

ВО ТЬМЕ

Фильм только начался, когда вырубили свет. Несколько секунд мы с женой сидели на диване неподвижно, как птицы, чью клетку накрыли платком. «Это у нас? — встревоженно спросила жена. — Или по всей лестнице?» Шаркая рукой по стене, я пошел в коридор, вытащил из-за двери стремянку, швырнул на пол висевшие на ней кальсоны и полез проверять пробки. «Нет! — крикнул я. — Доставай свечи! Спички у телефона».

На лестнице горел свет и было как-то неожиданно холодно. Я постоял на площадке, на всякий случай нажал звонок соседям, но он молчал, только залаяла собака, и к дверям прошаркали старушечьи ступни. «У вас свет есть?» — крикнул я как-то на удивление громко. «Нет, а у вас?» — прокаркала старуха. Глупее не придумаешь, но ответ навел на меня тоску, и я уже подумал, стоит ли идти вниз, но для очистки совести все же стал спускаться, обзванивая все квартиры.

У Тамамшевых звонок работал, но никто не отвечал. Видно, все опять по командировкам. Счастливые. И зачем им только свет в этих командировках? Уфлянды всей семьей вылезли на площадку и устроили хай. Снизу тоже доносился галдеж, и, судя по всему, там руководил Дима — и действительно, он стоял с отверткой в руке, наподобие трибуна, и говорил окружающим его жильцам: «По всей парадной света нет! Видали?»

Я поднялся обратно и запер дверь, хотя на мгновение это и показалось нелепым: зачем запирать, если темно?

Жена зажгла на кухне две свечи. Здесь было теплее, чем на лестнице, но темно. Что лучше? — опять с тоской подумал я. Толстые белые свечи изгибались и падали, не хотели стоять на блюдцах, трещали и обжигали пальцы парафином, который быстро застывал, превращаясь в ломкую корочку. «Пойду к себе», — сказал я, не обращая внимания на вид жены, какой-то особенно виноватый в дергающихся тенях. Ощупью я пошел в комнату, сел за стол и закурил — показалось, как в детстве, украдкой. Кто-то писал, что курить в темноте — никакого удовольствия, потому что не видно дыма. Сигарета успела догореть, а я так и не понял, правда это или нет. В смежном флигеле свет горел, и я знал, что за тем вот окном занимаются любовью, а вон там делают евроремонт, но все это вдруг утратило малейший смысл. «Хорошая была туркиня, так грибы солила, что объяденье».

Зазвонил телефон, но звук и аппарат воспринимались по отдельности, словно звонило привидение, и подходить к этому

призрачному звонку не хотелось. Пустое. Я стал считать звонки и досчитал до семнадцати. Упрямое привидение. Они, наверное, все такие.

Жена вплыла тенью. «Надо в аварийку позвонить. Чего ж так сидеть-то?» Я взял свечу, пошарил в разбросанных возле телефона бумажках и стал набирать номер. Занято. Какое неуверенное и неустойчивое состояние. Занято. А все-таки хорошая была туркиня. Занято. Темнота — род качки. Занято. Наверное, соседи звонят. «Уже уехали!» — сказала диспетчер и бросила трубку. Это как же понимать? Вообще уехали? Или поехали по вызову? «Уже уехали», — сказал я. Жена со свечой и тенями уплыла на кухню, а я снова присел к столу. Было до слез жаль бедную туркиню.

Выкурив еще сигарету, я решил, что тот писатель был прав, по крайней мере отчасти. Не то это — курить в темноте. Но ложиться спать было рано, хотя и хотелось — знак протеста. Я прислушался к тиканью будильника, опускавшемуся, как лот, на неизмеримую глубину.

И вдруг свет брызнул отовсюду — изо всех включенных ламп и лампочек. Зашевелился телевизор, встрепенулось радио, тени разбежались по своим темным делишкам, и жизнь снова обрела ясный и непреложный смысл.

На столе передо мной стояла пепельница, и я не сразу заметил что-то странное. Окурки были вдавлены, ввинчены в нее. Так гасят сигареты только дальнобойщики.

ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА

Сегодня на нашем перекрестке произошло историческое событие. На светофорах повесили электронные часы: красные и зеленые циферки указывали, сколько времени отведено для проезда транспорта и сколько осталось пешеходам.

В морозном воздухе поблескивала колючая снежная пыль. Высокое, ярко-голубое небо дымилось: поверх плыли медлительные, тяжелые облака, пониже, мешаясь с клубами дыма из кочегарок, скользили мелкие, клочковатые. Во всем это бело-голубом великолепии разлетались, раскричались чайки.

Существует определенная порода мужчин, которые носят кепочки с ушками, опуская их в холод и непогоду. Все они неизменно язвительны и остроумны, все заботятся о своем здоровье и полжизни консультируются со специалистами. У него тоже была такая

кепочка, и сегодня из-за мороза жена заставила опустить уши. Со спущенными ушами он чувствовал себя нелепо, по-детски, особенно потому что сам не принадлежал к той самой породе мужчин, и в душе шевельнулась темная неприязнь к жене — нет, ничего страшного, словно вдруг разнылся зуб. Но даже это не могло испортить ему праздник.

Ему показалось, что этого события он ждал всю жизнь. Конечно, глубоко укорененная пунктуальность, многократно преобразованная, придавала ему уверенности, и все же чего-то всегда не хватало, какого-то последнего кирпичика, и теперь он понял чего. Так бы и стоял весь день, следя за мигающими цифрами и переходя дорогу туда и обратно.

Было такое чувство, что кто-то смотрит в спину. Он обернулся, но никого не увидел, только огромную, на полквартила размахнувшуюся афишу — премьеры в Мариинке. На трагически освещенной сцене в левом углу, раскинув руки, лежал на спине брюхатый Ленский, а в правом, опустив пистолет и понурясь, стоял явно обделавшийся Онегин.

Впрочем, как это часто бывает, торжество быстро сменилось разочарованием: он увидел, что никто не обращает ни малейшего внимания на произошедшую с временем перемену и даже как будто специально старается нарушить установленный порядок. Часы, как купание в проруби, придавали куража даже самым, казалось бы, смиренным и законопослушным пешеходам. Когда до окончания положенного времени оставались считанные секунды, кто-нибудь, взвизгнув или охнув: «Давай, ребята! Прорвемся!» — бросался наперерез транспортному потоку. Некоторые крестились.

Но пора и ему, а то можно опоздать, и хотя в их заведении тоже не придерживались строгих правил относительно появления на службе, лично он опаздывать не любил. Дождавшись зеленого света и то и дело косясь на часы, он не спеша, с еще не погасшим внутренним чувством новообретенной справедливости, стал переходить улицу, предшествуемый двумя бродячими собаками.

Мало кто знает, но все интересуются, кто поднимается по этой лесенке, по которой не поднимается никто и никогда. Он знал.

Да, да, это та самая лесенка в мавританском стиле, что справа в Павильонном зале, справа, если встать спиной к Часам-павлин и выходящим на Неву окнам. Одно наличие такой лесенки способно, если вы чрезмерно впечатлительны, вызвать приступ умопомешательства, ведь лестницы на то и существуют, чтобы по ним поднимались, но это было неведомо или давно превратилось в

рутину для маленького серого человечка, сильно преувеличенного костюмом и с лицом, словно сморщенным вокруг рта. Его можно было никак не звать или считать кем угодно, но он был Тузенбахов из рода Тузенбахов, и ничто было не властно изменить это.

Раскланиваясь на ходу со старушками-хранительницами, каждую из которых помнил по имени-отчеству, он уверенной рукой отодвинул бархатное ограждение и стал подниматься. Самое смешное, что он тоже назывался хранителем, хотя, строго говоря, хранить — или охранять — ему было особенно нечего: в его зале, Зале знамен, уныло свисали вдоль стен пыльные, выцветшие штандарты. Ну кому они нужны? Кто на них покусится? Это вам не «Даная». Хотя именно на вере в то, что нужны — пусть не как музейная редкость, а как разновидность памяти — все и держалось.

Закрыв за собой массивную дверь, он вздохнул, присел к столу и стал слушать себя — внутри было так же тихо, как и снаружи. Но вот над Невой разнесся грохот. Это означало, что половина дня, большая часть которой прошла во сне, позади. Пушечный выстрел ему нравился, хотя и вызывал самые разные чувства — от мягкого удивления до внезапного страха. Он любил его.

На столе лежало несколько папок. Господи, как они не понимали, что большие книги, Книги с Большой буквы, пишутся за маленькими столиками, а у него был преогромный, на львиных лапах, за которым по определению ничего путного написать было нельзя. Но он надеялся.

Перед работой полагалось отдохнуть. Он только слегка остановился взглядом на никак не помеченной папке, где хранились наброски начатой еще лет двадцать назад «Критики разума». Среди каракулей, которые он сам подчас с трудом разбирал, всплывала то полузабытая, но тем более поражающая новизной мысль, то какая-нибудь милая дневниковая подробность, но в основе сути лежала неумолимая непреклонность замысла, поэтому «Критика» в большей степени предназначалась предкам, дабы они уверились в его правоте воочию, увидев сегодняшний день.

Выдвинув нижний левый ящик, он достал спиртовку. Ему до смерти надоели цветочные чаи в пакетиках, которыми исправно поила его жена, и на работе он первым делом заваривал кипяток, просто кипяток, бросал туда щепотку лимонной кислоты и клал две ложки сахара, чувствуя при этом как бы некоторое отмщение и свободу, но главное, что напиток он варил на спиртовке. Еще с детства ему почему-то нравились эти нехитрые приспособления, и особую нежность вызывал слабый язычок голубого пламени.

Вот и сейчас он приготовил свое пойло, достал «Охотничьи» конфеты и стал задумчиво прихлебывать, поглядывая на пап-

ку с «Критикой» и думая одновременно о ней и о том, что до конференции в Кенигсберге по вопросу о перемещенных ценностях осталось ровно сорок восемь часов с четвертью.

Вторая тайна заключалась в том (впрочем для него это уже давно не было тайной), что учреждение, в котором он служил, это никакой не дворец, а просто огромный офис. Да, да, это здание с античными статуями на краю карниза, потенциальными самоубийцами, обладало удивительной притягательной силой, но никто и не подозревал, что это всего-навсего офис, даже изначально предназначенный не для житья-бытья, а для игры в жмурки, раскатистого хохота, похоти похода и тому подобного, и все эти Большие итальянские просветы и Рафаэлены лоджи строились для чиновников и зевак — а велика ли разница, если вдуматься?..

О женщинах он твердо знал, что если ты не произвел впечатления за первые пять секунд, то твое дело плохо. История с внучкой белоэмигрантов, которую он еще до армии встретил в Крыму, только подтверждала это правило. Им стоило лишь увидеть друг друга. От тех дней у него осталось ощущение тепла на груди, животе и бедрах, потому что они только и делали, что валялись на пляже, да еще полный мысленный разброд, когда он собирался сказать что-нибудь неожиданное. О том, что она красива, он даже и не думал, просто только она и была. А потом она поставила ему условие, которое он не мог принять. Так бывает. Она уехала — провожать он не пошел, — удачно вышла замуж на Кипре и прислала ему оттуда поздравительную открытку.

Если бы кто когда сказал ему, что он женится на Лиде, он бы никогда не поверил. Она работала экскурсоводом там же, где и он. Жили по соседству, на Гагарина, но что с того? Иногда сталкивались на остановке, а когда отца положили в больницу, она стала захаживать. Он догадывался о ее приходе по лифту. Было что-то особенное и неумолимое в том, как низкое гудение поднималось снизу, и он уже точно знал, что она остановится на его этаже, а через минуту раздастся звонок. Ральф, огромная немецкая овчарка, встречал ее терпимо, но равнодушно, а она делала вид, что не боится и любит собак. И, чем хуже становилось отцу, тем чаще она захаживала, а накануне принесла черный, как уголь, торт под названием «Белая ночь». Потом несколько дней она не заходила, а когда зашла, то держалась как-то смущенно, словно чувствуя, что ему не хочется никого видеть. Потом под села на диван и вдруг навалилась всем телом так, что он даже охнул. Конечно же, они поженились, и через положенное время у них родился маленький дедушка, но он до сих пор не знал, как к ней относиться.

Допив кипяток, он еще посидел, чувствуя на лбу приятную испарину и задумчиво глядя в огромные окна, выходявшие на тихую Зимнюю канавку. Затем аккуратно скрыл все следы своего, если так можно выразиться, чаепития, придвинул папку с «Критикой» и полез в портфель за ручкой. Шаря в потемках портфеля, он наткнулся на что-то шелковистое и не сразу понял, что это борода Деда Мороза. Несмотря на все возражения и уважительные причины, его выбрали запасным Дедом Морозом на отдельческую елку, и обидно было даже на то, что его назначили дублером, но уж слишком малопочтенная это была роль, особенно учитывая, что ростом он не вышел, да и голос у него был далеко не архиерейский.

Ему захотелось то ли разорвать, то ли сжечь, словом как-то уничтожить обидный фетиш, но тут вспомнил свой последний разговор с отцом, перед тем как того положили в больницу. Они сидели втроем в большой комнате и молчали, только Ральф тяжело дышал, что, впрочем, вряд ли можно было расценивать как беседу. День стоял серый, словно на все вокруг вылили огромное ведро серой краски. Слышался только распарывавший облака гул самолетов, приземляющихся и взлетающих из Пулково.

Отец встал из-за стола, за которым перебирал карточки — о чем же они тогда говорили? — впрочем, не важно, — и, подойдя к окну, заложил руки за спину и уставился вдаль. Долго молчал, потом сказал: «Надоело». «Что надоело?» — переспросил он, потрясенный, — отец в жизни не произносил этого слова. «Все надоело», — не поворачиваясь, ответил отец, и только тогда, поглаживая Ральфа по голове вспотевшей рукой, он понял и уже больше ни о чем не спрашивал.

Сон — репетиция смерти, и поэтому, ложась, он каждый день терпеливо внушал себе, что завтра не проснется или проснется для чего-то совершенно иного. Надев ночной колпак и укрывшись периной, он посредством системы блоков приводил кровать в нужное соответствие по отношению к земной оси, затем смотрел на свечу, и она гасла.

Утром Густав подавал ему кофе и гренки. Проработав отведенное время, он по обыкновению шел прогуляться. Поравнявшись с ним, бюргеры медлительно приподнимали шляпы, приветствуя: «Добрый день», — а миновав, наклонялись к женам и говорили вполголоса: «Это человек-часы».

— Для моего иконостаса — самое лучшее место. Кирпичная стенка, трубы какие-то, рельсы, и тут, вообразите, мои гаврики, архангелы чин-чином, бушки, мугабики, медведики...

КИРИЛЛ КОБРИН

НЕКРОЛОГ

– Честно говоря, я все это вижу по-другому. Здесь зала нужна, торжественная, как в Эрмитаже, фанфары, позолота, дым коромыслом...

– Что вы, дорогой Володя, что вы! У вас художественное воображение напрочь подменено историческим. Не зря же вы на истфаке учились, как и этот... как его... помните... Петя, да, Петя, который здесь с какими-то иезуитами возился.

– Ну уж, сравнили! Тот вообще – историк, историще! А я так, старая больная обезьяна в поисках тридцати тысяч крон в месяц... Но все-таки, вообразите: Эрмитаж, роскошь, просто-таки «Галерея Отечественной войны 2008 года»!

– Ну да, и полный Комар с Меламедом... Бог с ним, пришли уже.

Мы завернули в широкие ворота, выходящие на пустую улицу, по которой только что пронеслась стая офисных муравьев. Жилых домов в этой части Карлина нет, оттого пустота после шести вечера здесь абсолютная, как во сне, как на картине Магритта или вот того голландца или бельгийца – не помню, который нарисовал улицу, примерно как здесь, в Праге, все такое светло-серое с желтым и светло-коричневым, только что прошел дождь, дело, видать, в октябре, лужи там и сям, над домами – огромный дирижабль, совсем чужой, пришелец, прилётец из другого мира, шуп посторонней, холодной, высокомерной внеземной цивилизации, его послали сюда, чтобы проверить, как мы тут, стоит ли нас сразу кокнуть, стереть в порошок, извести под корень, посыпать межпланетным дустом, либо дать еще пока подрываться, посокращаться, побарахтаться в собственном дерьме, а на улице – группка, четверо господ, в светлых плащах, некоторые из них сорвали шляпы с голов и размахивают ими на ветру, приветствуя непонятно что. Налицо явное непонимание – и сути происходящего, и уготованной этим господам судьбы. Да и нам уготованной тоже. Я с трудом отвлекся от этого визуального напльва, стряхнул его с глаз долой, и огляделся по сторонам. Мы стояли уже во дворе, перед огромным фабричным зданием, красный, потемневший от времени кирпич, железные ворота, слева пустырь с остатками строительных затей, справа еще одно бывшее фабричное здание, но совсем маленькое, в

роде того, где была знаменитая асбестовая фабрика, которой мучили Кафку. Она была совсем пуста, только пристроенный флигелек, даже, пожалуй, мансардочка, была населена – в окошках занавесочки, на балкончике – бельишко сушится, под бельишком – цветочки. Но мы шли совсем не туда.

Ефим Ильич позвонил и с протяжным воем дверь отворили. Стрекулист с иссиня-черными волосами и в зеленых узеньких штанцах широко улыбнулся, пробормотал «Ахой, Ефиме!» и пустил нас внутрь. И мы вступили в этот парфенон индустриальной эпохи. Я, конечно, бывал и внутри действующих заводов – один построенный Фордом ГАЗ чего стоит; бывал, конечно, и в бывших фабриках, выпотрошенных, вылизанных и освященных уже иной индустрией, комбинациями современного искусства, циничные генералы которого ясно показывают, что штампуют свой товар точно так же, как Крупп лил пушки. Бессмертный Шкловский. Третья фабрика... Но здесь было по-иному. Этот бывший сборочный или что-то в роде этого завод, гигантский, с кранами, наборными окнами, рельсовыми стежками-дорожками, которые вдруг возникали на цементном полу, вели кривыми путями в углы, но, не дойдя до них, будто выдохнувшись, утратив последние силы, бесследно опять утопали в цементе, с остатками жестяных инструкций по безопасности труда на грязно-красных стенах, он еще не был дезинфицирован беспощадно-вежливым современным дизайном, еще не окропили его жрецы политкорректности дистиллированной водой блистательного равнодушия. Завод был пуст, пылен и красив, как декорация к фильму «Сталкер».

– Видите, Володя, даже местная бедность имеет преимущества!

– Какие же – кроме того, конечно, что когда мы окончательно разоримся, то будем сидеть на рогаляках за 15 центов и пивке за доллар?

– Где-нибудь в Лондоне или Берлине это место давно бы уже мумифицировал сволочь Саатчи – или какой-нибудь сволатчи поменьше, какая разница! И нас с вами запросто не пустили бы за день до открытия бьеннале. И меня бы не позвали вывешивать свою чушь; впрочем, и эти тоже не позвали сейчас, только после, отдельно от актуальных...

– Ну, вы же не ходите в эпигонах Нео Рауха...

– Не хожу, не хожу. Слишком стар. Да и рисую лучше. Что же мне теперь, как Толстому, переделывать свой сладостный стиль в плохишку, в мовёшку?

– Ну, мовёшки, положим, это совсем из другого автора...

– Да-да, алмазный мой резец. И клык бриллиантовый. И

древний медный зуб. Что-то меня несет.

– Так вам нравится здесь? Будете вешать своих героев?

– Присмотримся, милый Володя, присмотримся, заодно полюбуемся ежегодным смотром Краснознаменного имени Энди Уорхола Современного Искусства.

Ефим Ильич отправился вести переговоры с кураторами, а я пошел любоваться. В этом году кураторы расстарались. В бывшем Храме Производства Прибавочной Стоимости выставились все окрестные борцы с буржуазией и ее присными. Вот Анубис в военной форме отрезает Че Озирису позолоченные кисти рук. Вот видео с кэрролловским безумным чаепитием; только персонажи его сидят за столом на верхней площадке нефтедобывающей платформы в Северном море. Пьют они, конечно же, густую черную жидкость, которая поступает прямо из подводного качка. Поток иссякает, Шляпочник с трудом надаивает последние пару капель в превосходный веджвуд, следует бурный спор, переходящий в потасовку, пару гостей спихивают за борт, и тут с небес является вертолет, на вертолете – маленький путин с большим саудитом, они важно сходят по трапу, наши герои бьют им земные поклоны, расстилают ковровую дорожку, вылизывают ее чудовищно длинными языками. В финале Алиса пляшет стриптиз у блестящего от свежей нефти шеста. Были там и другие затеи. Табло, на котором отщелкивался очередной несчастный, погибший в Ираке. Несколько непременно китайских арт-поделок – ярких, красивых, бессмысленных. Надувная резиновая русалка, вцепившаяся в собственный хвост. Кое-где валялись большие ржавые железяки, то ли оставшиеся от времен, когда здесь собирали станки, то ли уже в наши дни завезенные местными инсталляторами. Много фотографий, кое-где – поп-музыка, в общем – самый обычный трэш, который производит окружающая жизнь и соответствующее ему искусство. Свалка. Ефим Ильич был совершенно прав, никаких художественных, эстетических волнений это место у меня не вызывало, впрочем, и исторических размышлений тоже – не считая историософской банальщины об упадке окружающего меня мира и бульваре Sunset Европы. Интерес мой был скорее антропологическим: я все пытался представить сознание и образ мышления людей, нагородивших горы никчемного мусора там, где раньше рукастые мастеровые в сполохах сварочных огней, в лязге передвигающихся кранов, в равномерном грохоте механизмов, сооружали какие-то непростые машины, назначение которых было тоже, в свою очередь, производить некие аппараты, обреченные на сборку еще более важных вещей, не имевших к человеческой жизни ровным счетом никакого отношения. Деятельный а-гуманизм увенчался, в конце концов, а-гуманизмом вялым, неряшливым и намеренно скучным. Добрав-

шись до этой ступени обычной своей мизантропии, я оказался в дальнем конце гигантского заводского зала; здесь было специально отгороженное пространство под инсталляцию «известного американского художника, одного из самых громких имен направления Арт Брют – Father Bob (род. 1958 г.)». Я уже было хотел развернуться назад и идти искать Ефима Ильича, но – то ли из дурацкой добросовестности, то ли просто от скуки – свернул в фанерный лабиринт. На стенах проекторы розовым и красным сплетали и расплетали одну и ту же строчку: «2 декабря 1988 года. Грэмвилл. Айова».

Отсек был оборудован как фрагмент школьного помещения – коридор, несколько классных комнат, кусок спортивного зала. Школа, похоже, американская, на стенах – расписания, объявления, в классах – столы, стулья, доски, географические карты. Кое-где – небольшие зоны переполоха: стулья разбросаны, вот дверь висит на одной петле, здесь из брошенной сумки осторожно выползает стопочка тетрадей и книг. Рядом с сумкой – красная лужа, таких луж вообще довольно много, бурые пятна можно заметить и кое-где на стенах. Я чуть было не наступил на брошенные прямо посреди класса очки и попятился. Мне стало страшновато. Я стоял посреди помещения, где явно убили много людей – только вот ни одного тела не оставили. Судя по всему, все произошло внезапно – кто-то ворвался сюда и прикончил школьников и учителей. Приглядевшись, я даже стал различать следы пуль на стенах, некоторые засели в столах, а одна прошла насквозь бюст Джорджа Вашингтона и застряла в стене. Дойдя до спортзала, я понял, что был неправ – тело, оказывается, было. Одно. Оно висело, довольно низко, повешенное за шею на крюке, вбитом в стену, как пальто на вешалке. Это был молодой человек с длинными волосами, в шортах и майке с надписью Guns’N’Roses, руки бессильно опущены вдоль тела, лицо перекошено, язык вывалился, глаза вылезли из орбит. Кукла была сделана невероятно тщательно и я не сразу поверил, что передо мной муляж покойника, а не покойник собственной персоной. Я с замиранием потрогал его за запястье. Оно было твердым и холодным.

Кто-то положил мне руку на плечо и я подпрыгнул от ужаса.

– Боже, Володя, извините! Я не привидение, нет-нет, увы, я настоящий...

– Ну и нагнали вы на меня страху – тут повешенный, там – лужи крови, а здесь еще чья-то длань на плече. Уф. Кто это, не знаете ли часом?

– Кто? Тот, кто здесь висит, или тот, кто его здесь повесил?

– Повесил вот этот папаша Боб, а кто висит...

– Володя, когда ходите на Бьеннале Современного Искусства, непременно читайте объяснялки. Во-первых, в таких местах тексты обычно интереснее произведений этого... гммм... искусства. Во-вторых...

– Знаю-знаю, во-вторых, я без этого ничего не пойму. Просто я и не хочу ничего этого понимать. Хотя, вы, как всегда правы-правы-правы. Все, пошел читать о папе Бобике и его трупики.

– Подходите потом к офису, я вас кое-с кем познакомлю.

2 декабря 1988 года в городке Грэмвилл, штат Айова 24-летний Ник Уокер, вооружившись автоматической винтовкой и пистолетом, ворвался в местную школу и застрелил там 14 учеников, сторожа и одного учителя. Двое школьников были тяжело ранены и умерли потом в госпитале. Еще один тяжело раненый, учитель Роберт Гласс, выжил, но оказался потом в психиатрической лечебнице. Самое удивительное – Уокера не поймали, несмотря на опознание его личности, на всплывшие мельчайшие подробности его жизни, на тысячи отпечатков пальцев и прочее. До приезда полиции он бросил оружие и исчез. Федеральный розыск, запросы в Интерпол, титанические усилия десятков агентов ФБР – ничего. Некоторые считают, что Уокер бежал в Мексику и до сих пор живет себе там – поживает в каком-нибудь забытом ацтекским Богом городке. Другие уверены, что убийца-психопат (а кто станет врываться в школу и расстреливать всех, кто попадет на его пути, кроме психопата?) покончил с собой, бросившись в реку, или что-нибудь в этом роде. В любом случае, никаких мотивов у Ника Уокера, по видимому, не было – он не учился в этой школе, никогда не жил в Айове, был вполне приличным студентом-математиком в университете, подружки на него не жаловались, друзья – тоже, не был он ни сатанистом, ни наркоманом. Никаких зацепок; даже майка с вензелем популярной тогда рок-группы, которую он надел в исторический день, была позаимствована Уокером у приятеля за две недели до этого. Ничего. На этом история убийцы заканчивается и начинается история того, кого не убили в тот день. Пуля попала Роберту Глассу в голову, но врачи смогли вытащить его с того света. Последствия ранения и потрясения были таковы, что Гласс на долгое время потерял рассудок. В лечебнице этот учитель истории начал писать картины. Он изображал бесконечные пустые комнаты, только что покинутые людьми, все вещи будто еще хранили человеческое тепло – это чувствовалось, хотя Гласс и был художником-самоучкой. Он рисовал очень много; практически, бедный учитель не делал больше ничего – только ел, пил, спал, ходил на прогулки и рисовал. Врачи посчитали живопись отличным способом терапии и в лечебницу беспрестанно завозили холсты, краски и прочую, как

заметил один местный остряк, «вангоговскую параферналию». Работы Гласса висели в клинике, пара выставок была организована и в колледже в соседнем Гринелле. Там-то их и заметил заезжий лектор – известный нью-йоркский куратор. Он взял Гласса в оборот, и уже через год пустые комнаты несчастного безумца можно было увидеть на выставках в Лондоне, Берлине и даже Праге среди работ других безумцев – куратор ловко маркировал его картины как Art Brut, искусство сумасшедших. Сумасшедший мир высоко оценил сумасшедшее искусство сумасшедшего, дела Гласса шли все лучше и лучше: он богател, а его сознание решительно возвращалось к норме. Нарисованные комнаты становились все искуснее и искуснее, вещей в них оказывалось все больше и больше, пока, наконец, Роберт Гласс не выдал серию картин, изображающих кладовки, битком набитыми разным хламом. Вещи громоздились в малюсеньких закутках, то в беспощадно ярком электрическом свете, то – напоминая валлийские горы в тумане – в подслеповатом сером. Дойдя до этой точки, Гласс забросил живопись и перешел к инсталляциям.

Уже изнемогая от длиннющей пояснительной статьи, конец которой мне пришлось дочитывать чуть ли не на коленях – настолько низко висел последний листок на стене, я узнал, что вот это и есть его первая инсталляция. Она точно воспроизводит ту часть школы, где произошла трагедия – несколько классов, коридор и спортзал. Только если сцена убийства в реальности была завалена телами, а преступник исчез, то у Гласса исчезли жертвы, зато злодей болтается в петле. Итак, справедливость – в этом случае, явно, Высшая Справедливость – восторжествовала. Учитель истории Father Bob, как его звали в школе, сделал то, что не смогла сделать полиция и ФБР: он покарал убийцу. Так сказать, Суд если не Истории, то Историка. С меня было довольно. Я поспешил ко входу, где Ефим Ильич мирно беседовал с какими-то людьми.

– Вот и вы! Что скажете?

– Ужас.

– А вот и спонсор этого ужаса, Том Грантс. Том, это мой друг Владимир. Володя, это Том. Говорите по-английски, а я с облегчением вернусь к дружественному славянскому – мне нужно кое-что обсудить с нашими чешскими коллегами...

Хитрый портретист отвернулся и принялся запускать в воздух тягучие, равномерно, почти механически выговариваемые чешские слова, перемежая их протяжным, на излете дыхания «про-сииииииим». Я остался один на один с примерно моего возраста коротко стриженным мужиком в джинсах, майке и кедах, с веселыми внимательными глазами и странной манерой бесконечно облизыв-

вать губы. Узнав о моей основной должности в «Праг Хералд», он оживился:

- То есть, вы – единственный в городе мастер англоязычного некролога?

- Невелика честь, мистер Грантс, ведь мы – единственная в городе английская газета. Хотя, конечно, забавно работать в Праге Хароном, да еще и будучи русским... Впрочем, здесь так редко умирают, что работы немного. Вот, в качестве компенсации пишу о выставках современного искусства, куда меня любезно водит Ефим Ильич...

- А что сложнее сочинять?

- Некрологи, конечно. Это ведь как сонет – строжайшие правила; к тому же, родственники усопших весьма серьезно относятся к стилю, к отбору слов и фактов. А тут... «Неуверенность современного человека». «Критика постколониализма». «Бегство из медийного пространства»... Что еще? Ах да, модное сейчас – «художник инвестировал в этот проект несколько лет своей жизни, поселившись в приюте для бездомных собак»...

- Инвестировал? О, нет, инвестировал – это я, а не какой-то там художник!

Мы дружно рассмеялись. Мне вдруг стало неловко за свой легкомысленный тон в присутствии человека, который выложил свои кровные за эту гигантскую свалку культурного и антикультурного мусора.

- На меня произвела огромное впечатление та инсталляция о школе.

- О да, это главная точка бьеннале... Могу подарить вам идею – сделайте статью о выставке в виде некролога этому повешенному убийце...

- Нику Уокеру?

- Да-да, кажется так его зовут. Да-да, Ник Уокер. Простите...

Он раскинул хитроумный прибор, совмещающий, кажется, все мыслимые функции от телефона до кофеварки, и принялся невероятно быстро тыкать по его экрану металлической палочкой, прибор переливался огоньками и я подумал, что вот что надо выставлять здесь, эти совершенные инопланетные девайсы, а не антикварный дадаистский хлам...

На улице было уже прохладнее – и столь же пусто. Вряд ли Прага бывает лучше, чем в этой части Карлина в будний летний день в восемь вечера. Я поинтересовался, а что это вообще за тип. – Володя, вы моложе меня на двадцать с лишним лет, а не знаете изобретателя какой-то там компьютерной телефонии? Том Грантс – о

нем все время пишут и говорят!

– Ефим Ильич, я же сочиняю некрологи, а не новости. Ей-Богу, не знаю! Техноувориш?

– Примерно так. Продал дело, которое закрутил лет десять назад, теперь вот наслаждается жизнью, вкладывает деньги в современное искусство. У меня, кстати, купил пару портретов.

– ...?

– Он же ирландец! Семейный портрет Джойсов: Джеймс, Нора, дочка сумасшедшая, среди прочих – молодой Беккетт, в круглых, как у мэтра очечках. А другой портрет – конечно же, папа Иоанн Павел. Посох, митра, глаза добрые-добрые...

Ефим Ильич захихикал. Да уж, могу себе представить эти портреты, эти митры, эти добрые глазки. Пожилой советский художник, мастер иконических образов Ленина, Брежнева, Сулова и Горбачева, он перенес в новую свою жизнь окончательную точность высокого ремесленника, фламандскую любовь к детали и ошеломляющую арчимбольдовскую последовательность в доведении до конца любой самой странной выдумки. И вот вместо Политбюро ЦК КПСС стали появляться «Политбюро ЦК Мирового Сообщества 2008», «Ревизионная Комиссия Современного Искусства», «38 съезд Демократической партии США заслушивает доклад Хиллари Клинтон», «Гаагский Трибунал. Перекур», «Горячая Страда. Сбор опиумного мака в провинции Кандагар», «На репетиции. Мик Джаггер показывает новый танец балетной группе» и прочие шедевры новостаромодной живописи, которая, дразня своим совершенством, ускользала от трясущихся лап арт-критиков, пытавшихся «поместить ее хоть в какой-то контекст». Зато кураторы и галеристы не плошали и Ефим Ильич, подкормившись на своих новейших заседаниях Государственного Совета, уехал из постылой Москвы, незаметно перебрался в тихую Прагу и сделался почти образцовым пражанином какой-то старой, штучной, доверенной, даже еще австро-венгерской выделки. Хотя, конечно же, ему было здесь скучновато, так что с того момента лет восемь назад, когда мы сцепились языками на здешней выставке Пивоварова, наш разговор на самые различные темы не прекращался больше чем на неделю. Ефим Ильич приохотил меня к походам в здешние музеи, на разные триеннале и бьеннале, познакомил с полчищем местных художников, и я стал даже пописывать о «современном искусстве» для своей газетенки, да и для других тоже. В общем, я действительно мог себе представить, что за добрый Иоанн Павел висел теперь в апартаментах Тома Грантса.

– Да-да, он оплатил все – и эту фабрику, и рекламу и все-все. А они обещали отдать ему любой артефакт – после бьеннале.

– Он уже сказал, что возьмет?

– Догадайтесь!

– Боже, неужели...

– Именно. Все целиком – фанерные стены, стулья, простреленный бюст Вашингтона и психопата в петле.

– А автор? Он же знаменитый! эта штука ведь больших денег стоит!

– В том-то и дело, что он сам и предложил. Послезавтра увидите. Кстати, и самого Гласса тоже увидите – он приедет на открытие. Ну что, значит здесь же, в пять вечера в субботу?

Открытие отложили на час, так что у закрытых дверей мы перезнакомились почти со всеми авторами выставленных шедевров. Подвели меня и к Роберту Глассу. Огромный пятидесятилетний мужик с копной черных волос протянул мне свою лапу. Ладонь моя хрустнула, но я не подал виду, да и художник ничего не заметил. У меня не хватило смелости похвалить его работу, хотя, конечно, она была единственной причиной, по которой стоило забрести вечером на эту заброшенную фабрику. Что ему скажешь? Ах, пан Гус, что за веселые огоньки бегали по вашей шевелюре – там, в Констанце, на костре! Ваше Величество, демонстрация вашей отрубленной головы просто сразила меня наповал! Какая выразительная гримаса! Господин президент! Полшарства за Ваш взмах рукой, когда пуля снесла Вам полчерепа! Я промычал какую-то чепуху, мол, *its produced an unforgettable impression...* улыбнулся и замолчал. Господи, о чем же его спросить? Где можно увидеть Ваши работы? В какой психушке? Среди каких других психов? В этот момент заиграл струнный квартет, который посадили на раскладных стульях прямо в пыли, «Яначек», – ласково сказал Гласс, «слава Богу, что не Сметана!», – заметил я, мы дружно рассмеялись, двери распахнулись настезь и избранная публика потекла к столам с запотевшими бокалами «Мюллера-Тюргау» и «Франковки». Кажется, только двое пили минералку и, конечно же, это были двое русских. Ефим Ильич подмигнул мне и поднял стакан: «Вот ради этой воды сюда и приезжал Гончаров! И что же, написал-таки “Обломова”!». Знает ведь, хитрец, о моих стыдных литературных потугах... Отшутимся... «Вот поеду в Мариенске Лазни и напишу некролог длиной в целый роман! Назову его “Сиятельный труп”...».

Меж тем, публика стала потихоньку рассасываться по длинным коридорам выставки. У столов осталось лишь несколько людей – мы с Ефимом Ильичем, стайка местных галеристов, да огромный Гласс, который, улыбаясь чему-то, потягивал вино. Равномерный шум отражался в стенах фабрики, странная акустика которой приближала самые дальние разговоры и делала неразличимым то, что говорил сосед. В уши лезли обрывки реплик, всплески смеха, шар-

канье ног по цементу, Ефим Ильич что-то втолковывал беспощадно татуированному парню в майке "Kill this curator". Я почувствовал, что одинокий ужин за просмотром документального фильма на Arte будет поприятнее социализации с представителями местной арт-индустрии, поставил стакан и заготовил прощальные реплики. В этот момент из выставочного лабиринта стали появляться люди с тревожным выражением на лицах. Они искали кого-то глазами, странно переговаривались, и мое ухо, натренированное на протяжную чешскую речь, уловило слово «вууне». «Мы недоглядели на бьеннале палатку с духами в розлив», – неуклюже пошутив, я повернулся к Ефиму Ильичу. Но он почему-то выглядел встревоженным – как стекающая к дирекции публика. «Там что-то не то... Петер, – обратился он к татуированному парню, – Петер, там что-то не то. Пойдем, посмотрим».

Источник беспокойства располагался в районе инсталляции Гласса. Когда мы подошли туда, из узкого прохода почти бегом эвакуировались уже совсем испуганные посетители. Все они что-то бормотали о «запахе», некоторые, узнав в Петере куратора бьеннале, принялись сбивчиво объяснять ему. Тревога повисла в этом мрачном углу огромного здания, заваленного всяческим хламом. Я почему-то вспомнил комнаты и кладовки на картинах Гласса; впрочем, мы и стояли у его произведения. Неудивительно. Наконец, мы решили войти: Петер, я, Ефим Ильич. Медленно, заглядывая в каждую из макетных комнат побоища, приглядываясь, приносиваясь. С каждым шагом все назойливее и назойливее этот противный сладковатый запах, что-то знакомое, но почти забытое... «Как на русских похоронах», – пробормотал Ефим Ильич и я вздрогнул. Конечно. Гроб с дорогим телом, родственники, припадочные бабы, испуганные дети жмутся в углы, раздвигая толпу, движется поп. Шушуканье, тихий плач, распоротый иногда громким, истощным причитанием. Сладкий, ужасный, неостановимый как радиация, запах мертвого тела, запах тлена, разложения... Вот мы и в спортзале. Вонь усилилась, от нее нет спасения, слава Богу, я не успел пообедать, тошнота. Но странно – ничего не изменилось. Вот два мата, вот шведская стенка, вот на одной стене баскетбольное кольцо, на другой – обмякшее тело. Красные пятна на полу, на матах, на стене. Мне вдруг показалось, что это не краска, а кровь, протухшая кровь, вот она и пахнет, но нет, это не то. Вдруг Ефим Ильич молча, в каком-то жутком озарении ткнул пальцем в сторону куклы. Мы с Петером последовали взглядом за его перстом. Ничего. «Ближе! Ближе!», – закричал старик. Петер нерешительно двинулся к стене – и тут с лица повешенного взвился целый рой мух. «Господи, да это же труп!». На стене, с веревкой на шее висело настоящее мертвое

тело, тело, которое уже начало разлагаться. Стараясь не дышать, я приблизился к нему. То же лицо, что и позавчера, только какие-то странные белые пятна, будто грубо размазанные белила, нелепые, съехавшие на сторону волосы, посиневшие пальцы. Петер уже был там, у входа; по громкоговорителю уже призывали покинуть помещение; через несколько минут уже послышался вой полицейской машины, а мы все стояли молча и глазели на мертвеца. Дальше произошло и вовсе невообразимое. Ефим Ильич достал бумажную салфетку и провел ей по лицу трупа. На салфетке осталась светлая, белая грязь. Сквозь ту же салфетку он подергал повешенного за патлы. Обнажился высокий лоб, будто скальп его съехал назад. Ничего страшнее я в своей жизни не видел. «Володя, вы узнаете его?». Как я могу узнать это чучело? Господи, не сошел ли он с ума? «Володя, вы узнаете его?». Я уставился на художника, окончательно решив, что он рехнулся. «Володя, хватит пялиться на меня, возьмите себя в руки! Посмотрите, быстро, узнаете ли вы его?». Я перевел взгляд на мертвеца. Конечно нет, что тут можно узнать, кого... И тут сквозь грязный грим, сквозь нелепый парик, сквозь весь этот страшный маскарад я узнал спонсора выставки, знаменитого мецената Тома Грантса. В этот самый момент из узкого прохода выбежали двое полицейских. За ними, размахивая руками, вращая глазами и даже как-то взбрыкивая, влетел Петер. "Kill this curator", – пробормотал я. На выходе с фабрики я мельком заметил Гласса. Точно так же, как час тому назад, он стоял и прихлебывал вино из бокала. Видимо, он не понимал пока, что происходит.

Пресса неистовствовала, и не только (да и не столько) чешская. «Смерть мецената». «Убийственная бьеннале». «Еще один труп на школьной бойне». Эти заголовки кочевали из газеты в газету, из журнала в журнал, а то, что вытворяли в сетевых изданиях, даже вспоминать противно. Русский Интернет проявил себя во всей красе. «Спонсор закручинился, голову повесил», – потешался Журнальчик Ру. «Пусть пока на стенке повисит», – не отставало Бизнес-издание Слушок. «Если в первом акте на стене висит меценат...», – показывал свою начитанность отдел культуры Новостного Потока. CNN в очередной раз отметились, поместив репортаж о происшествии в Карлине в раздел Entertainment. Затем в игру вступили интеллектуалы. Деррида с Бодрийяром, к сожалению, уже умерли, оттого нелегкий труд интерпретации случившегося взяли на себя фигуры поскромнее. Жижек и Хабермас как-то остались в стороне, зато известный арт-философ Иван Кляйн порадовал публику статьей, где назвал мертвое тело Тома Грантса «самым великим произведением искусства начала XXI века» – после теракта 11 сентября, конечно. Таня Креозот смело заявила, что «отнодье не символиче-

ское убийство спонсора говорит о том, что современное искусство переходит от старой схемы «художник-куратор-галерист-спонсор» к тотальному господству одного художника». Наконец, сам Дэмьен Хёрст заявил в газете Guardian: «смерть мецената по имени Грантс красноречиво свидетельствует о том, что времена, когда искусство паразитировало на грантах, прошло. Пора делать деньги, коллеги!». Ходили даже слухи, что кто-то готовит на очередной Венецианской бьеннале инсталляцию в виде виселицы, на которой болтаются куклы самых известных меценатов – от, собственно, римского Мецената до Пегги Гутенхайм.

Успехи следствия были значительно скромнее. Установили, что Грантс была задушен в четверг вечером – судя по всему, сразу после нашего с Ефимом Ильичем ухода. Эксперты так и не смогли определить, сначала ли его убили, а потом повесили мертвое тело, либо вздернули еще живого богатея. Никаких посторонних травм. Алкоголя, наркотиков, каких-либо ядов в его теле не нашли. С рокового вечера никто не заходил в инсталляцию Гласа, фабрика была закрыта, так что убийца мог спокойно рассчитывать на две суток, чтобы скрыться. Скрывать следы своего преступления он не считал нужным. Вот эта нарочитость и изумила следователей и криминальных репортеров. Очевидно, что преступник не только намеревался лишиться жизни Грантса, он хотел что-то сказать этим преступлениям – иначе зачем же было городить весь этот макабрический огород? Отсюда, именно отсюда вели начало самые высоколобые интерпретации произошедшего. Почему-то все решили, что речь идет о некоем художественном деянии, совершенном неким подпольным художником, которого можно было бы назвать «реалистом» в самом жутком смысле этого слова. Если бы сейчас в ходу было выражение «смерть искусства», он, наверное, поубивал бы всех своих коллег и после самоубился. Если бы до сих пор обсуждали постструктуралистскую «смерть автора», наш герой прикончил бы какого-нибудь писателя с громким именем. Что же он хотел сказать сейчас? – вот каким вопросом мучались самые лучшие умы университетских факультетов культурологи, музеев современного искусства и интеллектуальных изданий. Теории рождали теории, меж тем никаких реальных следов в руках сыщиков не было. Существовал лишь один человек, который мог бы ответить на некоторые вопросы, Роберт Гласс, да, к несчастью, он оказался невольной жертвой произошедшего в карлинской фабрике. Убийство, совершенное на его инсталляции, посвященной убийству, так потрясло его, что хрупкое сознание не выдержало – и он опять впал в тихое помешательство. Гласса отвезли в Айову и поместили в ту же лечебницу, в которой началась его художественная карьера. Но он уже

не рисовал. На новом витке безумия Глас превратился в обычного человека – в такого, каким он был до рокового 2 декабря 1988 года. Он хорошо ел, гулял, смотрел бейсбол и читал множество книг по истории, будто желая наверстать двадцать лет, проведенные им за пределами первой своей профессии – историка. Уже через полгода дела его обстояли настолько хорошо, что врачи заговорили о выписке. Поверенный Гласса купил для него дом в северной части Калифорнии; денег, некогда полученных от продажи шедевров Art Brut, вполне хватало на приятную жизнь под необременительной опекой специалистов. Обо всем этом мне рассказал Ефим Ильич, который только что вернулся из Штатов. Был он и в Айове, в том самом Гринелле, откуда началась художественная слава Гласса. Мой пражский приятель выставлял там свою портретную галерею героев сериала «Доктор Хаус» – спрос на поп-музыкантов и политиков резко упал за последние года два и Ефиму Ильичу пришлось приняться за парадные изображения телегероев.

– И что, вы хотите сказать, что видели этого несчастного психа?

– Видел.

– Но как?

– Он как-то узнал, что я в Гринелле – а это совсем рядом с Грэмвиллом – и передал просьбу приехать.

– Да вы же были едва знакомы!

– Правда, не очень близко. Но все-таки в Праге мы встречались раза три.

– И как он?

– Прекрасно! Поправился, отличный цвет лица, глаза смотрят уверенно. Знаете Володя, в этой психушке кормят лучше, чем в любом пражском ресторане...

– Невелика заслуга!

– Нет-нет, не надо, там действительно все хорошо. А какой там сад! Я бы полежал в этой больничке с полгода. Столько книг прочел бы... Вот Гласс и читает, кстати.

– И совсем не рисует?

– Забыл, что это такое. Говорит, что рад избавиться от этой, как он мудро выразился, obsesii...

Я стоял перед большим в полный рост портретом Стивена Фрая. Остроумец и эрудит был изображен в роскошном скюртуке с орденой ленточкой через грудь. Над головой на геральдической ленточке красовалась подпись 'Stephen II D: G: Br: Omn: Rex'. Больше в мастерской Ефима Ильича картин не было.

– Сам заказал? В монархи метит?

– Нет-нет, что вы. Какое-то американское общество любителей Вудхауза. Хорош, а?

Я чувствовал, что старый художник хочет мне что-то сказать, но никак не может пересилить себя. Он явно волновался, переставляя с места на место чайник, чашки, старомодную вазочку со старомодным вареньем, которым он всегда потчевал меня. Всегда хотел спросить его, где он достает здесь крыжовник... Но вместо этого я проговорил: «Зачем он просил вас придти?». Ефим Ильич подошел к Фраю, набросил на него покрывало, развернулся, взглянул на меня, почесал нос, подошел к окну и ровным будничным голосом сказал:

- Чтобы рассказать, зачем он убил Грантса.

- Что-что?

- Чтобы рассказать, зачем он убил Грантса.

Я уставился в стену, в которую было вбито множество гвоздей. Некоторые из них погнулись, и я подумал, что Ефиму Ильичу стоило бы внимательно выбирать те, на которые он вывешивал свои готовые шедевры. Сам художник, не отрываясь, смотрел на закат. Я залпом допил остатки чая.

- А зачем он убил Грантса?

Я надеялся, что Ефим Ильич шутит, хотя склонности к розыгрышам я за ним не знал, но все же... Нет, он не разыгрывал меня. Он сам боялся того, что говорил, хотя и не подавал виду.

- Он убил его потому, что Грантс - это Уокер.

- Он убил человека только потому, что его безумной башке показалось, что меценат, дающий деньги на бьеннале в Праге - тот самый психопат, который чуть было не убил его в Айове?

- Нет, милый Володя, ему не показалось.

- Ефим Ильич, уж вы-то меня не пугайте!

- Да не пугаю я вас... Я сам напуган. Но это - правда.

- Что - правда?

- Уокер - это Грантс.

- Вы может доказать?

- Я - нет. Но Гласс мне все рассказал.

- Что рассказал?

- Что когда он стал приходить в себя от ранения, то решил покончить с собой. Он очень любил своих учеников, тех самых, которых убил этот Уокер. Но потом он вдруг подумал, что глупо убивать себя после того, как его чуть было не убили, да, к тому же, еще потом и вылечили. «Зря, что ли, они старались», - вот так думал он, глядя на врачей и медсестер. Тонкий человек, не правда ли, Володя?

- Куда уж тоньше...

- Пождите-подождите, дальше будет больше!

Ефим Ильич оживился, отвернулся от окна, прошелся по

комнате и плюхнулся в кресло. Я понял, что он, наконец, решился, и махнул рукой на все свои страхи. Я тоже сел – на стул, лицом к спинке, и приготовился слушать.

– И вот, что он придумал. Он сделал вид, что помешался. Решил переждать несколько лет, пока ищут этого Уокера – ведь он, просто как в романах Дюма, он решил всего-навсего ему отомстить. Убить, то есть. Замочить, по-вашему. Но он еще не знал, когда его поймают. Потому решил на всякий случай закосить – это ведь вы научили меня этому чудному словцу! – в лечебницу. Терапия там была самая мягкая, гуманная, оттого книг читать не давали, вот он и принялся малевать, что попадалось на глаза. А попадались, в основном, комнаты – гулять его пока отпускали ненадолго и под присмотром. Дальше все произошло само собой. Какой-то жулик-куратор увидел его мазию и решил заработать на ней. Наплел кучу всего – об «искупительном комплексе», о «синдроме Хаммершоа», о «постинтеллектуальном складе старых идей в абсолютной дегуманизированной пустоте» и все такое. И записал нашего совершенно нормального Гласса в сумасшедшие художники. А Гласс не возражал! Он рисовал себе разные помещения, вошел во вкус, потом от комнат принялся за кладовки, все продавалось... Одно было плохо...

– Уокера не нашли.

– Да, Уокера не нашли. И я не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не случай. Думаю, он на самом деле рехнулся бы, если...

– Только не говорите, что Глас наткнулся на Уокера в очереди за кофе в «Старбаке».

– Почему же в «Старбаке»? Выше берите. Уокер пришел на его выставку в Берлине.

– Ну это уже какая-то достоевщина. Ваш учитель прочел слишком много книг.

– Это, Володя, еще никому не вредило. Глас уверен, что Уокер пришел на его выставку специально.

– ...?

– То есть, конечно, он пришел не как убийца Уокера, нет, он явился как пионер Интернет-телефонии с наклонностями мецената, гражданин Ирландии Том Грантс. Он пришел и купил пару работ Гласса.

– И тот его узнал?

– Сразу. Сразу признал – несмотря на то, что видел его тогда в школе всего несколько секунд. «Эту ухмылку не забудешь, – сказал мне Гласс, – и этот мерзкий язычок, которым он водит по губам». Знаете, Володя, ведь он уверен, что Уокера понимал, нет – не

просто понимал, а знал, даже надеялся, что Гласс его узнает.

- Это уже даже не Достоевский, а триллер какой-то с иезуитской психологией. Зачем?

- Спросите что-нибудь полегче. Я спросил Гласса, а он ответил просто: «Ведь он же псих!». Володя, вам не хватает этого объяснения? Это же правда! Человек просто так убил 18 человек – разве он не псих?

- Псих.

- Ну вот вам и ответ. Гласс считает, что Уокер просто наслаждался страданиями, которые он смог так счастливо для себя опять принести недостреленному учителю.

- И что потом?

- Ну я же сказал вам – он купил пару его работ. А потом спонсировал выставку, на которой Гласс восстановил место его преступления.

- И... Черт, он же предложил мне тогда написать статью о бьеннале в виде некролога этому повешенному убийце...

- Ага! А я и не знал! И Гласс не знал. И вы еще сомневаетесь?

- Похоже, что уже ...

- Гласс поймал его с помощью этой инсталляции, как паука муху. Он знал, что Уокер не откажется от персональной, тет-а-тет, экскурсии на место преступления. Только Уокер не взял в расчет ту куклу в петле. Он видел в ней знак отчаяния. А это была приманка. Червячок на крючке.

- И он задушил его?

- Точно так, задушил. Мы с вами отправились домой, а спонсор и художник отправились осмотреть значительное произведение современного искусства. Обрато вернулся только художник. Спонсор остался висеть. Так сказать, сам стал искусством. Впрочем, это уже по вашей части – искусство, меценаты, мессиджи, медиумы... Я знаю только одно, Гласс мне сказал: «Я повесил убийцу на месте убийства. Я счастлив».

- И он ловко спрятал концы в воду, точнее – сам спрятался в психушку.

- Конечно! Под конец нашего разговора Глас пошутил: «Теперь, когда я сделал, что хотел, можно начать жить. Тюрьма, особенно чешская, мне ни к чему. Вы понимаете меня?».

- И вы его понимаете?

- Конечно. И полностью одобряю.

Я хотел спросить Ефима Ильича, не боится ли Гласс, что его как-то разоблачат, вычислят, но решил промолчать. Никто его не вычислит, несчастного психа. Но был еще один вопрос, который

я решился-таки задать.

- А что, если все не так? Вдруг Грантс - не Уокер, а Гласс - убийца-параноик? Или вообще, Гласс - настоящий сумасшедший, а Грантса убил кто-то другой?

- Великое «может быть», Володя, великое «может быть». Будем считать, что все было именно так. Надо же, черт возьми, во что-то верить.

АЛЕКСАНДР РИХТЕР

Александр Рихтер родился в Одессе в 1939г., в 70-х эмигрировал в США, живет в Нью-Йорке. По образованию и способу существования – художник. Пишет стихи и прозу. Его поэзию отличает редкое, на мой взгляд, качество – отсутствие абстракций, общих понятий, включая столь необходимые лирикам любовь и смерть. Отсюда та атмосфера теплоты и иронии, которая придает особую достоверность вещам и отношениям в его стихах. Только то, что по-настоящему пережито, мир, который обжит руками и глазами, воссоздает он. Упреки в местечковости, провинциализме, столь огорчительные для многих, мне кажется, его только бы обрадовали, ведь местечковость предполагает кровное знание, крайнюю степень любви и отворачивания к миру, который наконец-то обретает голос.

Ну, а того, что роднит с мировой культурой не по упоминаниям, а по сути, у Рихтера предостаточно. И это, прежде всего, уют самозамкнутых состояний, который так привлекает нас в офортах Рембрандта и который замечательно передан в большом стихотворении «Агитенахт». Собственно, это и есть офорт, мягкими линиями которого намечена жизнь одесского дворика, и все они сходятся на фигуре сидящего на окне сочувствующего наблюдателя.

Повествование, отрывки из которого следуют за стихотворением, автором никак не названо, повествование это продолжается, да оно и по сути своей не имеет окончания. Его можно назвать, учитывая чаще всего встречающееся имя, становящееся по ходу повествования мерой всего, от чего хочет избавиться в себе человек (как и того, с чем он вынужден смириться): «Шмойс», «Жизнь со Шмойсом» или «В сторону от Шмойса».

Здесь хочется предостеречь искушенного читателя: не говорите, что вам всё понятно, когда с первых строк вы обнаружите утрированную интонацию одесско-еврейского анекдота. Она здесь не для того, чтобы смешить читателя, ещё менее – чтобы очаровать или вызвать отвращение.

Перед вами портрет сознания, которому такая речь дает свободу, она для него – родная. Столь же родная, как для лесковских героев – сказовая, как для подпольного героя Достоевского – «слово с лазейкой». Такая речь выбирается автором не столько для характеристики героя, как учило школьное литературоведение, а из-за интонационного богатства в передаче всей гаммы отношений от ненависти до нежности, а порой – их удивительной смеси. Ведь встречи со Шмойсом непросто испытание для автора и читателя, оно сродни встречам Сократа со своим демоном в тихих закоулках Афин. Или раскопкам Монтезя в поисках самого себя.

Стоит добавить, что выбранные места дают представление о манере и тоне повествования, но, естественно, упускают общее плетение тем и сюжетов, постоянное возвращение их на круги своя, как это свойственно ироническому, с любопытством и скепсисом наблюдающему за собственными потугами сознанию, что, собственно, и составляет суть этой прозы.

В. Черешня

АГИТЕНАХТ

Сижу	Как	Сколько	О	Товарищей
Я	Летит	Кавалеров	Хозерем –	Уже
Себе	Время!	Стучалось	Хватает.	Дети...»
На окне	Тихая Фира	К ним	Сын Ози	А за мансы!
И смотрю.	У окна.	В окно.	Уже	Вечером
Моет	Стакан,	Ой,	Инженер.	заканчиваются,
Пол	Порошок,	Готене,	Цыпленок	Заканчиваются
Мадам Лоп-шиц	лимон.	Де	Стоит	мансы.
Стирает белье	Печальный	Юрин	Цвей	«Майне
Мадам Хан-цис.	Натюрморт.	Гейен.	Керблах.	Либер,
Усталые	«Тише,	– Ты бы	Обожаем	Что это за
Дамы.	Дети,	Их	Райкина –	Ребенок,
Соседки	Тише»,	Не узнала.	Лакен,	Что это за
Льстят	Восклицает	Ой,	Обожаем	Дети...»
Друг дружке:	Её сестра.	Жизнь,	Наполеон –	А за мансы!
«У вас	Светлый	Ой,	Эссен.	Сижу
Сегодня	Запах	Цурыс.	Сижу	Я
Париж!».	Бульона.	Сижу	Я	Себе
Чистота	Кольшется	Я	Себе	На окне
Бедности.	Сиреневое	Себе	На окне	И смотрю.
Синие	Трико,	На окне	И думаю.	В этом
Камни	Подпалина	И радуюсь:	Вечером начи-	Маленьком
Выложены	Посередине.	Праздник	наются,	Дворе
В щель	Грустные	Завтра,	Начинаются	Ночь.
Узкого	Трико.	Сегодня	мансы	Только
Двора.	Сижу	Готовится	О том	Что
Уборная	Я	Фарширован-	Как	Помыли
Прямо, на-	Себе	ная	Умеют жить	Тарелки.
лево.	На окне	Рыба.	Эти	Разошлись.
Кошки –	И слушаю.	Наполеон	Хозерем,	Свет
Инкассаторы	«Алла Рыжая,	Уже	Какие	Потушен.
Вбегают	Вэй,	Готов.	У них	«Тебе тепло?»
В раскрытые	Какая это	Праздник.	Здоровые	«Спокойной ночи!»
Двери.	Была	Сегодня	Дети.	«Приятного сна!»
Дай им	Красавица.	Пришли	А за мансы!	«Целую».
Бог	Алла Черная,	Родственни-	Вечером про-	Кто-то
Удач.	Вэй,	ки.	должаются,	Еще
Мальчишки	Это	Кушаем	Продолжаются	Читает.
И	Было	Рыбу,	Продолжаются	Пусть
Девчущки	Море	Говорим	мансы	Читает.
Изныают	Симпатии.	О	О том	Агитенахт.
В разговорах.		Гельт –	Почему ты	Агитенахт.
		Нехватает,	Не	Агитенахт.
			Идешь	
			Гулять.	
			«У всех	

ШМОЙС

когда не имеешь достаточно сил терпеть и переносить себя самого...лишняя нагрузка в лице шмойса эта уже полная катастрофа...в этом случае за это можно сказать только словами что боливар двоих не выдерживает...

на всё не хватает и это правда...больше чем можно нельзя...брать на себя слишком много буквально значит переоценивать свои силы не считаясь с реальностью...

тот кто уже еле плетется не может покушаться на марафон и даже простая эстафета у него вызовет тихий ужас...

что потеряно то потеряно и весьма часто не вернешь...

кто заблудился на большой дороге уже не ставит излишние вопросы куда идти налево плечом вперед или направо делая поворот кругом...шагом марш в таких условиях не помогает и не способствует определить верное направление...

строго рассуждая перед нами возникает непреодолимая преграда которую обойти уже не представляется возможным...по неволе мы уже таки топчемся на месте не поднимая голову перегруженную дикими сомнениями в плане трактовки благоприобретенного опыта познания необратимо придавленного субъективным уровнем когнитивных данных...

в вышеприведенных условиях актуальные порывы духа оказываются несостоятельными и при самой огромной поддержке исторически информативных источников ...

тут одной горячностью и необузданным темпераментом делу не поможешь... иерихонские трубы тут уже мало работают и маленький оркестр большой любви шумит вхолостую...

В кои то веки шмойс со мной выбрался пройтись...

Смотрю на его физию поигрывает удовлетворенность что по меньшей мере удивительно...

Что тебя так радует... что... что то изменилось к лучшему или что...

Ты что не видишь у меня тросточка...

Действительно я обращаю внимание он помахивает палочкой...

Ну хорошо так что же...

Очень просто я же раньше когда имел прогулку всё время держал руки за спиной и они там постоянно шевелились пальцами будто шла большая работа будто там перебиралась парнусса или сводились балансы или крутились те гешефты...иногда это

страшно меня раздражало особенно когда я вынимал руки из за спины и руки были совершенно пустые без единого гроша...ну так вот я решил начать флирт с тросточкой чтобы отвлечь эти руки от никчемного бизнеса...постепенно когда мы узнаем друг дружку поближе наши отношения примут законный характер и я уже как сейчас вижу что буду выводить трость каждый вечер на прогулку а она меня будет поддерживать не вступая в исступленные споры по ничтожному поводу...и не говори мне что эта маленькая причина радоваться... семейное счастье имеет большое значение...

•

сегодня меня шмойс приятно поразил...я вам скажу что уже давно от него не ожидал чего то что может быть как то что ли возвышено...зная что он из себя представляет я просто не мог такого от него ожидать...

никогда не знаешь...иногда даже подонок может проявить какие то человеческие качества и наоборот какой-нибудь общеприято святой вдруг показывает свои самые уродливые черты...

ну что говорить...этим жизнь привлекательна что вдруг неожиданное тебе улыбается источая всё хорошее на что ты мог рассчитывать только в самых невероятных мечтах...

ну хорошо...так что же в случае шмойса...

не так уж много но всё таки...

людям которые привыкли не только соображать но и иногда как то думать часто приходится сталкиваться с огорчением что они забывают свою мысль в которой таки что то такое было...и представьте себе они начинают просто действительно мучаться стараясь восстановить эту мысль...

я думаю на этот счет что это таки настоящий азаюров мир и нечего переживать по этому поводу...

именно за это мне шмойс сегодня говорил...

что тебе не хватает...что ты мечешься...

посмотри опять в окно...что в окне...одни облака...одно другого прекраснее...и к тому же они плывут постепенно исчезая...

скажи мне честно...ты уверен что самая благая твоя мысль лучше чем то облачко...я знаю что ты сплошное гавно но всё равно не настолько чтобы думать что твоя мысль превосходит благородные формы самой неприятной тучки...

сколько облачных образований ты уже провожал взглядом и что конкретно ты можешь помнить кроме какой то белизны и

величавости в среде огромной синевы небосклона...

ну хорошо...даже восхитившись ты же тут же всё и забыл...и ничего...продолжаешь себе жить...

забыл свою мысль...так что...это еще не такое большое несчастье...некоторые еще раньше тебя тоже забывали свои высокие мысли...

и что ты думаешь...может быть даже сам борух адоной в таком же точно положении...

сегодня он подумал одно а завтра он подумал совсем противоположно другое...

например в прошлом или даже раньше столетии он себе подумал об чем то в форме гёте который потом что то писал за фауста...

хорошо...а теперь в наше с тобой время он себе что то подумал за дульфана который до сих пор любит не только тюльку...

что я хочу тебе сказать и дать понять что даже бог в том же положении...он себе думает и потом забывает...и ничего такого ужасного...

раз он уже себе подумал об гёте так гёте уже остается в веках...и то же самое касательно дульфика...мало ли что говорят...но дульфיק уже есть и в том или другом варианте пребудет...

то есть господь яхве или как вам угодно его обзывать себе глубоко думает...было бы очень странным подозревать его в том что он сожалеет что его мысли в виде гёте или дульфика прошли как облачность...он хорошо знает что в свое время появится другой гёте отнюдь не хуже и совсем иной дульфан может быть тысячекратно превосходящий то что мы имеем в наших условиях...

люди не что иное как те же облака...очевидно мы только случайные мысли нашего хошема...он не исключение...мало ли что может прийти в голову...

•

На подоконнике такой себе аленький цветочек вроде бы герань...

Надо же так устроиться чтобы ничего не желать кроме капельки воды...у него можно только поучиться...как быть и не обращать внимания...

Ему неважно что вокруг происходит...он реагирует только на солнечные лучи а что делается вокруг его совершенно не интересует...сколько бы вы ему не предъявляли высоких требований

никакой реакции...он себе цветет и всё...

Кто знает...может быть он имеет свои неприятности но от него слова жалобы не услышишь...

Иногда какой то сухой листик явно говорит что чувство времени ему тоже знакомо но он преодолевает не предьявляя капризов поведения...

Или возьмем солнце...только оно знает что ему стоит так гореть...и ему даже некому объяснить весь ужас его внутренней жизни...то что у солнца есть корона еще не говорит об королевской жизни...даже лермонтову не снились те катастрофы вызывающие те протуберанцы...

А что сказать за любой молоток которым забивают гвозди в стенку...я бы не хотел чтобы вы очутились в его состоянии...

Молоток не знает никакого выхода из своего положения и совершенно безропотно дает себя брать когда угодно и кому только не захочется...он себе лежит в ящике полный тяжелых дум и вдруг какая то легкая рука его заставляет опять вбивать глупый гвоздь в совершенно сумасшедшую стенку...

Я начинаю подозревать что на свете существуют такие драмы о которых мало кто имеет понятие...



С одной заинтересованной стороны это очень хорошо...можно жить спокойно...пока ты не знаешь...это не колышет...

Или другими словами пока ни черта не понимаешь всё вокруг кажется достаточно разумным и нужно только решаться на действия которые приведут к положительным результатам...

Но не все устроены в своих обстоятельствах так как та герань...и не все себе маяковские разговаривать со светилом солнца превосходно зная что оно чувствует и какие у него мотивы...

Если вам в качестве комплимента скажут восхищенно вы молоток не надо принимать это на веру...

Вы не такой молоток как им кажется...

Вам еще немножко далеко до этого идеального состояния в котором нормальный молоток вынужден пребывать изо дня в день справляясь со своими конфликтами...какие не снились даже льву и николаевичу толстых...

прежде всего приходишь в ужас а потом уже приступаешь к отчаянию...

и это при условии что ничего не болит настолько чтобы

жить не хотелось...

человеку привили глупую привычку считать себя покинутым когда он в полном одиночестве...

если спросить что ему на самом деле не хватает он будет мешкать ища верное объяснение...

шмойсу задать такой вопрос бесполезно...но если рядом никого...другого не остается...

он мне говорит ты на себя слишком много берешь...кто тебе сказал что ты сам за себя можешь думать...ты забываешь простую вещь глубокой истины...

когда ты был создан природа меньше всего думала чтобы ты что то из себя представлял особенное...

каждый козел может думать что он центр мироздания и ему всё должно идти навстречу поскольку он точка притяжения...

но спросите опять этого козла чего ему не хватает когда слава богу все овцы целы и ничего буквально еще не грозит...

он будет трясти бородой с пеной изрекая самые тривиальные вещи...

он вам скажет что люди братья и совершенно естественно проводить время между родственниками мешпухи...

потом он еще добавит что один в поле не воин...

тут я шмойса прерву и на моем лице будет написано негодование...я ему скажу с чего ты взял что я вообще собираюсь воевать на защите чьих то интересов...

и что вы думаете шмойс ответит...

он мне ответит если ты не хочешь тебя заставят...

•

Я напрасно к нему обратился...он всегда уходит в сторону от накипевшего...

Речь шла в первую очередь совсем за другое...

Вопрос в основном и главном состоит почему человеку мало просто себе дышать и кушать и любоваться условиями окружающей его среды...

Почему ему даже если он сознательно стал анахоретом и странником в пустыне нужна компания в виде взваленных на себя грехов...

Что ему мешает сидеть в пещере как леонардо да винчи на стенке видеть всё что ему не хватает...

Тем более что платон раз и навсегда объяснил что то что

на стене только тень того что на самом деле...и это может только радовать нас находящихся в ожидании...

Но человеку всегда мало...

он не может или не хочет справляться сам с собой наедине...ему нужно видите ли чтобы кто то разделял с ним его сомнения и мелкие радости...

без этого он считает себя в чем то обездоленным...

спрашивается...как это может влиять на его желудок или на богатства его памяти об жизнь...

почему ему надо чтобы кто то его понимал...

луна не претендует на это...и международные границы государств не требует чтобы кто то их постоянно пересекал без особой надобности когда этого требуют сложные политические трения обстоятельств...

но человек создан по образу и подобию и ему так же как богу необходимы средства целей живого общения чтобы чувствовать что он существует отражаясь в ком попало...

так можно пойти и до того что когда перед вами какойнибудь дульф вы придете в дикий восторг позабыв те горести которые вам приносили только одни случайные соображения за этого героя нашего между нами говоря тяжелого времени...

неволью приходишь к выводу что не все организовано самым лучшим образом и остается желать лучшего...

конечно обращаться к шмойсу за справками такого рода явно неразумно и ничего не дает...

как всегда надо полагаться на собственные пусть даже чрезвычайно слабые силы которые на глазах убывают...самым кошмарным образом...

слово мышление образно нам подсказывает что наши мысли это те мышшки норушки...но у нас ничего другого нет на что можно положиться тем более что это необходимо для уверенности в том что мы действительно существуем...

априори мысля мы имеем место постериори...даже простое азаюров мир уже говорит что мы тут и нас еще не вышибли из седла...прибавляя к этому азохен вэй мы ничего не изменим в насущных категориях пребывания...и то же самое мало дает типичное вейз мир...

что же такое человеку мерещится в общении что он тянется за этим как дитя к соске...

мандельштам был прав заметив что ничего хорошего нет когда тень просит милостыни от другой тени...но в том же и загвоздка что каждый из нас как субъект видит себя тенью имея на это большие основания и видит рядом стоящего в качестве объекта...а

если это объект так наверное он что то может такое чего тень не может...

отсюда вероятно наше тяготение к этому спасительному в нашем воображении...нам кажется наше спасение в этом излюбленном объекте и мы не хотим отдавать себе отчет что этот объект тоже дышит на ладан и сам ищет на что опереться...

к сожалению мышки норушки только бегают и ничего изменить не могут так чтобы мы и следующие за нами имели зеленую улицу в райские условия земной аркадии...

даже сойти с ума не выход из этого положения...

то что думают на кладбищах не выносятся за пределы ограды...не зря говорят что мертвые хранят тайны еще лучше чем в китае таили секрет производства фарфоровых изделий...

шмойс мне говорит может ты уже пойдешь спать...утро же вечера ты знаешь что...

но кто может уснуть когда расстроенный и голова как сплошная мышеловка в которой застряли серые окровавленные рассуждения...



Если только себе представить сколько людей в прошлом в свое время перелистывало книжки...

Где они теперь эти люди и где эти книжки в антикварных тех изданиях...

Понять кого то трудно и невозможно как бы себя не утешал в обратном...

Перед тобой стоит предположим хороший музыкант с абсолютным слухом и ты ему что то говоришь полагая что знаешь и отдаешь отчет об чем...ну так что...совсем не обязательно он тебя слышит и делает выводы давая себе понять как на тебя действует его игра на твоих нервах...

Маленькие деньги можно делать всегда но с большим трудом а большие деньги можно делать из ничего но не всегда и не у всех это получается...

Что ни скажешь звучит правильно если это кому то нужно позарез...

А если что то кому то не нужно так это тоже хорошо потому что то что кому то не нужно может быть очень нужно для следователя уголовного или исследователя творческих возможностей набокова когда он шел в ногу с шопенгауrom в те редкие минуты

когда супруга сводила с него свое неусыпное око в сторону нужд домашнего хозяйства слабо напоминавшего те годы неги и роскоши доступной до страшной революции которая как вы знаете разрушила все что возможно было разрушить в условиях царского режима... Сирин же сам писал как с одной девочкой однажды видел пролетевшую мимо гуську с гортанным криком мрачной чайки и как они с этой девочкой обменялись понимающими взглядами и как он сказал запомнишь ли ты навсегда как мимо нас всё и девочка с заплывшими глазами в густых ресницах отвечала о да я запомню это навсегда...

Так опять же тот вопрос...где эта девочка и где же эта чайка с гортанным гусиным жалобным плачем и где же сам набоков не смотря на новые издания в шагреновой коже... слава богу читатели как то справляются с тяготами ежедневной реальности влекущей к сохранению жизненных интересов к областям духовного порядка где сны истин нам дороже нас угнетающих причин...



Как уже раньше было доказано преимущество еще влачащих свое сосуществование категорически не похоже на прекративших всякую связь с миром удовольствий...

Как бы тесно или неудобно было мы пока что способны глотать отвратительное будущее утешая себя родниками былого...

Умершим в этом отказано...никто не знает точно как им страшно только подумать что еще раз предстоит реинкарнация и неизвестно во что...

Выбирать в условиях мало постижимых не приходится и вполне возможно в недалеком ближайшем шмойсу придется начать сначала в ипостаси дульфана и мучиться с этими достижениями визуального характера...точка над И это не вся картина...

Тот кто в общих чертах понимает что то так просто не может успокоиться...

Мне все таки повезло у меня гиршойхет недалеко стоящий на плечах гете...но не всем же так везет...

скажите на каких плечах приходится соблюдать нравственные устои подавляющей массе наших общих знакомых...

каждый устраивается как может если ему правильно не посоветуют в нужный момент от которого многое зависит...

гипотеза что люди думают прежде чем делать несколько

не заслуживает доверия...

как правило мы не столько думаем что нам надо делать как думаем что подумают другие и насколько безопасно то или иное решение...получается странный парадокс...каждый думает за другого и приходит к выводам далеко не правомерным в силу естественного искажения логики помещенной в чужое пространство где она преломляется ложечкой в стакане цейлонского чая...

вместо того чтобы заниматься чем то важным для тебя ты тратишь время на инсинуации вызванные твоим большим воображением коренного лишенца сделавшего себя патологическим изгоем...

самоцель это же вне всякой нормальной логики...ты сидишь и имеешь себя...в крайнем случае тебе может выпасть счастливый билет и ты уже вроде себе большая цаца на уровне по крайней мере наполеона...

но пожинать плоды тебе не дадут срочно отвозя в желтый дом где широко развернуться мало возможности...

поэтому если инстинкт самосохранения в тебе не увял ты занимаешься деятельностью не представляющей из себя предмет непосредственного наблюдения психиатра...

то есть ты можешь даже сам быть психиатром и никто носа не подточит не подозревая как тебе необходима услуга скорой помощи...

нужно ли говорить что иллюстрации на каждом шагу этой энциклопедии...

не так давно я сказал ничего не имея в виду что шарлатаны на наших улицах не валяются а сидят в основном в кабинетах... тот же юцис доктор шансонье...тот же наблюдатель летающих тарелок...тот же комментатор политических событий...те же массы восторженных почитателей чего только не хотите...и всё хорошо и жизнь продолжается как ни в чем не бывало...

но попробуйте кому то в лицо заявить...он же сразу страшно обидится...и почему... потому что у него отбирают умозрительно право на счастье...пусть даже ему оно не светит но оно так возможно...

•

Слыть поцом легче всего и в то же время довольно трудно... тут две причины или три или еще больше...

Одна что это само собой разумеется...вторая что так в глу-

бине души каждый думает за другого и не всегда отдавая в этом отчет в силу естественных причин эгоцентризма на который наплывает иллюзия уважения под давлением общественного мнения или же идеализации по некоторым привычным соображениям... например дульфы...они же поцы но котируются высоко во мнении знатоков попавших в их орбиту...

поцы в глаза сильно не бросаются но их присутствие довлеет и становится настолько привычным что их за поцов уже не считают видя в этом нормальное явление...кроме того каждый следующий поц никогда не признается в том что он чистой пробы поц особенно в кругу ему подобных когда это естественная расцветка...ничем не выделяясь поц находит поддержку клана где каждый зависит от другого и имеет общий интерес в статусах единомышленников...

Даже если поц в особой степени иными словами поц с плюсом это тоже не слишком экстравагантно и общество не находит это уникальным относясь к этому как к положительному качеству говорящему за сильный характер...

Чтобы кого то всерьез считали поцом нужно больше то есть иметь слабость немножко думать самостоятельно и соответственно реагировать...

Тот кто немножко думает неприятно и вопреки не лезет ни в какие ворота общежития а если лезет то с большим для себя уроном в восприятии окружающих и в особых случаях подвергается остракизму...

Обидно что этот размышляющий поц прежде всех уверен в том что он действительно поц и это плохо влияет на его гражданское лицо создавая помехи блестящей карьере...

Как говорил давным давно сократ одна только разница между что одни знают они поцы а другие за это не знают и более того знать не хотят...



Ну так что же...о чем собственно речь...

холодные наблюдения накладываясь на горестные сжатия сердца ничего не дают кроме гембеля и окончательно изматывают...вместо того чтобы радоваться природным явлениям которые никогда нас не обманут и не продадут за бесценюк мы пытаемся размотать этот бесконечный клубок вечных путаниц незаметно погружаясь в собственные сети недалёковидности...

пора уже сменить устаревший вопрос что же делать на

народную мудрость выраженную коротко и ясно...на фига козе баян...действительно если бы коза посещала вечеринки это было бы оправдано но только в этом случае...

слон не заходит в аптеку исходя из такой же подобной логики...он знает валерьяновые капли на него не подействуют...

со свиным рылом не лезут в охотничий ряд и опытный пес на ветер не переводит неистовый лай срываясь с цепи...

зачем биться горохом об стенки и поднимать пыль создавая бессмысленный тарарам стараясь перебить и заглушить шум времени всеми доступными способами...



Сколько людям нужно повторять одно и то же...никто и ничто вечно не вертится под луной...парафин возраста затопляет связки обхватывая железным обручем коленки ног сковывая стальной броней область поясницы и выворачивая место около шеи наизнанку...

Нынче серьезная проблема и золотая забота нагнуться поднять с грязного пола кем то потерянную монетку на счастье...

История повторяется каруселью в каждом отдельном случае...

Широко известен литературный факт что старик державин даже в гроб сошел с большим напряжением и трудом успев все таки благословить восход солнца русской поэзии мирового масштаба...

Кстати арзуньян не так давно поведал мне про одного из многих...юшпа...что он еще почище бродского...то есть в принципе большое светило той же все еще русской поэзии того же всемирного масштаба...

Прожить и не знать за крупное явление просто стыдно даже перед собой...я бросился к интернету предвкушая то волнение свойственное всем настоящим поклонникам стихов приятных во всех отношениях...

Информация не возбудила во мне светлое чувство эйфории обнаруживаемое всегда при контакте с необычайной силой творческой фантазии...из того что мне стало известным могу констатировать одно...что в юппе пятен немножко больше чем солнца...

В частном порядке про себя лично я отметил что не зная бродского не лезут в юшпа...

Пожалуй это единственный случай когда у нас с арзуньяном капитальное разногласие в отношении иерархии служебной

лестницы на парнас...во всем остальном и у меня и у шмойса нет с ним серьезных расхождений...

•

Будучи в приступе сплина снова выудил шмойсины записки на чертовых полях...он не чужд дуновениям некоторых общественных проблем...каким то образом он тоже вовлечен... пусть меня не поймут превратно...

Мне не пристало доказывать что уважаю христианство мусульманство и даже иудаизм в то же время благожелательно относясь к буддизму монотеизма и в некоторых случаях к пантеизму...

Но я хорошо понимаю тех кого до сих не оставляют жуткие картины крушения мирового торгового центра...

Ни мильтону ни данте нечего тут делать...

Смех дьявола нежная мелодия мендельсона в руках крайслера...

В тех самолетах несущихся к уничтожению отпрыски ислама имели в момент катастрофического контакта приаповские эрекции в предвосхищении встреч с девственницами легкого поведения...

Где же магомет и где святая правда если изверги млели в тот момент когда сердца пассажиров испытали неопикуемый ужас ...

После этого я не хочу в никакую мекку ни за какие деньги...

Пусть меня не пытаются уговаривать...

Если уже даже арзуньяну не удалось при всем даре его красноречия меня склонить к мироизъявлению вам не стоит рассчитывать на минимальный успех...

Пусть я дрянь но у меня есть принципы...

В этом отношении смею сказать не уступаю ни лютеру ни жанне дарк...

К сожалению в силу субъективных причин не смог в свое время живо откликнуться на конкурс как это успели сделать шенкер во главе с главной редакторшей выдвинув проэкт памяти...



Когда человек стар молодой барашек ему не впрок...

Во первых те зубы...а во вторых тот желудок...

Что касается телиани оно так же далеко как тот кацо в солнечной грузии живший в прошлом веке и уже не живущий...оттого что ты в новом свете телиани не становится ближе...

В прохладе хорошо пить смотря с кем вдвоем но не стоит пренебрегать приятной компанией крайнего одиночества...

Если тебе что то начинает сниться то это не тифлис а те окрестности куда макар не гонял барашка пастись...

Жизнь не такая простая штука...

Гиршойхет уже собирает строительные материалы на рыбную солянку...

Вспомнишь это и новые силы вспыхивают порохом и ты делаешь все возможное дожить до того момента когда серебряная столовая ложка с животворной жидкостью окажется вблизи скорбных очертаний твоих уст...



благодарность что бы кто не говорил заслуживает крупный шрифт...и я не поленюсь напечатать это слово заглавными буквами...

БЛАГОДАРНОСТЬ...

ахматова таки же была права что мало что может быть скушнее чем чужой блуд... и она знала об чем говорит...

но я могу сказать прямо в лицо шмойса что небольшое может быть скушнее чем его жизнь так как она представляется...

и всё равно это не значит что нет места благодарности с большой буквы...

одно другого не касается...нельзя всё ставить на одну полку...

не всё можно сваливать в одну кучу...

одно от другого отличается...

не каждые кошки действительно серы...

не все дышат одним и тем же воздухом...

один на другого не похож...

одному нужно то что другому совершенно не нужно...

не на все можно сказать да или нет...
тот кто говорит... вы тоже правы... не очень ошибается...

•

быть большой скептик это не то что украшает...пусть на первый взгляд звучат убедительно некоторые положения...

один из этих циников может заявить что если группа глистов испытывает благодарность кишечнику организма то этим самым она проявляет самое лучшее что заложено в их природе...

я бы не сказал что такая картина приводит меня в восхищение...

это было бы большой натяжкой...

по какому праву нас можно сравнивать с этими паразитами...

это не лезет ни в какие ворота и естественно как довод не может восприниматься всерьез...

дульф не так похож на солитера как некоторые позволяют себе думать...

вообще если уже говоришь за благодарность не надо далеко удаляться от конкретной темы...

рыпаться во все стороны то же самое что не двигаться с места...

•

следовать мыслям великого человека что бы мы не воображали не так уж плохо но главный результат зависит от нашей походки...

некоторые имеют те прогулки с пушкиным... но если вы гуляете с пушкиным в качестве пуделя никого не интересует около какого кустика вам приспичило помочиться приподнимая литературоведческую заднюю ножку...

не надо брать на себя слишком много...можно всегда оставить другим немножко тоже...



никого нельзя заставить из под палки испытывать благодарность...ландыши из под снега никто не тянет за уши появиться на свет умиляя нас мощной жаждой процветает несмотря на зимние условия...они возникают не отдавая себе отчета на что они идут...

то же самое относится к подснежникам и другим вечнозеленым из хвойной породы тропических растений...

не нужно сопротивляться прекрасному чувству благодарности...

не далее как вчера меня поразила простая мысль...

я пошел в магазин...я шел и в моей голове возникла самая настоящая благодарность что в этом магазине уже таки подумали обо мне и приготовили всё что мне может понадобиться...

а их же никто не заставлял...разве это не трогательно...

и помимо этого там рядом на углу есть хорошая ликерная лавка...

я туда заглянул и мое сердце моментально залило огромное чувство горячей благодарности...не откладывая в долгий ящик владельцы лавки подобрали такой ассортимент напитков об котором я даже не мечтал...я уже не знаю каким нужно быть черствым чтобы такого не отметить ...

нужно ли говорить за другие проявления общечеловеческой заботы направленной на благосостояние...

никаких пальцев не хватит пересчитать восхитительные примеры...

можно посмотреть и немножко дальше в глубь хотя бы веков...

где сейчас те кто сделали того сфинкса в том египте...тем не менее этот сфинкс до сей поры кормит египетских гидов работающих на буржуазных туристов...нереально подозревать тех скульпторов в каком то эгоизме стяжательства...я могу без всякого трепета сказать что это альтруизм в самом чистом виде...

нужно ли нагнетать лишние доказательства что в этом мире всегда есть место чувству истинной благодарности...

кто знает возможно мои доводы как то всё же повлияют на шмойса и вызовут у него намерение в дальнейшем не стесняться своих же непосредственных чувств...

всегда хочется чему то верить...без этого здесь просто нельзя...

даже голливуд не проходит мимо этого будируя в нас высокие намерения и прокладывая дорогу к выражению самых благо-

родных представлений...

к этому же направлены усилия и обществ по распространению широких знаний...

мы не имеем никакого права отрицать за собою свойства положительной натуры...

я хорошо понимаю что этим далеко не исчерпаны доводы в пользу...

если бы гиршойхет дал себе труд несколько дополнить мои соображения я ему тоже был бы весьма благодарен...

•

тихие долины полны свежей мглой...горные вершины спят во тьме ночной...

•

у всех в голове новоклейкие кислоты но я не встречал чтобы у кого то они так прокисли... обычно в молекулах этих клеточных кислот рождаются мысли ассоциаций и другие соображения положительного характера что рано или поздно приводит в некоторых случаях к поразительным результатам в конце концов обретая форму неоспоримых достижений...

но чтобы мозги полностью превратились в уксус это надо уметь...это уже таки повод попасть в гиннес как нечто из ряда вон...

в разное время разное хочется...

когда ты пушкин в юности то пламенное вино пунша взрывается на каждом шагу пенясь как цимлянское шампанское или асте спуманте...

когда ты уже далеко не пушкин и не в первой молодости... в лучшем случае в твоей голове гнездится русский квас...хорошо если этот квас еще как то бродит...а если он уже даже не бродит а просто медленно скисает то это никуда не годится...

в такой период сидишь как тот бурдюк не сопротивляясь брожению и даешь процессу прокисания идти своим чередом ритма покорно прислушиваясь к томительным нотам исчезающего здоровья...

это приблизительно звучит старенькой пластинкой где ор-

кестр под управлением тосканини что то старается играть из бетховена...кроме сплошного шороха и глухих вздохов скрипичной секции мало слышно но поскольку ты много раз прежде слушал что то помнишь и тебе скорее всего даже на руку когда пластинка гезинта просто ухает не переходя в визжание резких диссонансов...

не пылит дорога...не дрожат листья...

вялыми губами вдруг это прошепчешь прекрасно зная что конкретно имеешь в виду...

я бы не сказал шмойс может чем то похвалиться в смысле тонаса но у него хватает дерзости тут же вступить в спор...одна мысль что тебе предложен спор уже вызывает холодную дрожь...

•

не пылит дорога не дрожат листья...подожди немного отдохнешь и ты...

•

мишенька лерма делал авторизированный перевод вторя своему состоянию...в настоящий момент то что он выразил отвечает моему...

может быть дорога продолжает пылить...возможно листья всё еще дрожат и трепещут...

всё это хорошо доступно и понятно...

жизнь проходит в милой или же в крайних случаях раздражающей суете...не в один момент так в другой соответствующая реакция имеет свое место и ты в большом подъеме восторга или твое сердце стонет и поджилки сухожилий трясутся...образно говоря перевод мишеньки именно за это говорит и ставит это в виду...

в часы вхождения в жизнь человек идет навстречу свежим впечатлениям...сами волнения носят преимущественно тот возвышенный характер и холод бездны ощутим только если не дай бог к этому есть природная склонность...

юность пытлива и предприимчива...как следствие...кучи и клубы пыли сопровождают наш путь ведущий в зрелые годы и далее...

было бы несправедливо у молодежи отбирать их ошибки заблуждений оставляя организмы полные рвения в философиче-

ском бездействии преждевременной созерцательности...

порядком потрепавшись в путях дорогах и несколько приустав от повторений одного и того же человек потихонечку начинает медленно киснуть и значительно гаснуть...он уже смотрит даже на сиюминутное как на прошлое и видит как пыль деятельности постепенно

оседая не портит общий вид тропы а осиновые листики чувств замирая не серебрятся обратной стороной...

однако пока жив всё же продолжаешь...но между нами уже так хочется покоя...даешь себе знать что таки стоит немножко подождать и случится то что так содержательно выражено лермонтовской строкой...отдохнешь и ты...

что тут можно иметь против я не вижу...что шмойсу не нравится в таком подходе...ума не приложу...

допускаю можно и с самого начала не пускать пыль столбом и не дуть в трубу внутренних переживаний...но что же можно предложить взамен молодому поколению желающему употреблять силы на нивах благородных поприщ...они хотят мотоциклы а не инвалидные коляски и их можно легко понять...

кто жить и чувствовать спешит от того разумными проповедями не отделаешься...лев николаич пока дошел до воздержания накатался как тот сыр в том масле...без жизненного опыта пожилому человеку тут нечего делать...те бойцы вспоминающие те дни чувствуют себя в лучшей форме чем те которые спят пока их не тревожат те соловьи...

чтобы быть в конце концов умеревшим в вечном покое надо сначала покрутиться и что то пережить...даром тут и нигде ничего не дают...за всё нужно платить и вполне естественно за огромную протяженность вечности обеспеченной долгожданным покоем можно немножко пострадать...

шмойс своим сопротивлением так забил мою голову что я уже не знаю кто тут говорит а кто просто давится не в силах пре-кратить головомойку...

•

айм ськ энд тайред...на каждом шагу слышится одно и то же...мне не по себе...зверски устал...даже совсем молодые люди то и дело жалуются направо и налево как будто кто то их слышит...мне лично это не мешает если кто-нибудь не надеясь ни на что повторяет такую мантру...что такое...человек не имеет уже права

вздыхнуть или позволить маленькое ой вэй...если он действительно угнетен азаюров миром это вполне понятно и не требует никаких объяснений...

во всяком случае когда кто то плачется это не так страшно...гораздо опаснее когда ходят и уверяют что они скроены из особого материала...

если с утра ветер и слякоть все имеют право уточнить что происходит давая понять друг другу какая паршивая погода...

не нужно только нападать на кого то оскорбляя их достоинство стараясь необдуманно всё ухудшить и усложнить добавляя ко всему еще больше вечных цурес...

в конце концов люди уносят с собой в могилу свои вечные жалобы...пока есть время дайте кому нужно высказаться...мы же не на общем собрании чтобы ставить каждому регламент...

тот у кого таки болит лучше знает как ему болит и сколько ему нужно сетовать...

это огромная открытая и не исчерпанная тема и к этому можно добавить что гёте был частично прав а дульфан в основном отходит в сторону от аналитического подхода...



дульф и гёте кветчают и кветчали...формально это не делает их хуже или лучше...в каком то смысле кветчать означает к чему то неуклонно стремиться...будучи сполна по хорошему неудовлетворенными и постоянно жаждая воплощения замыслов...

только свойствам высокой болезни кветча мы обязаны тому что на рынке всевозможных галерей выставлены многочисленные серии художественных заготовок дульфана...он прекрасно знает что с каждой новой попыткой...глубже проникнув в искомое...в один прекрасный день будет иметь за пазухой философский камень и сможет под ним прятать кулек с астраханской тюлькой чтобы злые взгляды не стибрили то что им не принадлежит по праву...

именно тяга взлететь всё выше и выше дает дульфу астрономическую энергию клепать...

что собственно мешало гете спокойно лежать на персидском диване...

так нет...ему было уже восьмой десяток лет а он всё еще долбал последние части фауста добиваясь отточенной формы...

или возьмем опять гиршойхета...

у него немножко уже не те колени...так лежи себе с гётами

на турецкой тахте и не дергайся...но что мы видим...ежедневно он таскается в гимнастический зал наращивать мышцы на слой ревматизма...что же его гонит как несогласие с тем что колленкоровые чашки ноют...таким образом всё становится на место...если бы его натруженные ноги совершенно не кветчали гириш бы не проходил 5км ежедневно...застыв на месте механической дорожки дистанции...то есть он бы погряз в бездействии...

а что может быть досаднее чем ничегонеделание...я не могу найти надлежащего ответа учитывая то положение в котором находится шмойс с его настырными поползновениями.. шмойсин кветч чистое наказание для меня...не упоминая тех безвинных коим шмойс даже не снился в его собственном соку на разлив или расфасованным оптом...



деньги заработанные честным трудом на благо и в пользу возможно пахнут специфическими выделениями потовых желез... на моем опыте не могу это утверждать к счастью никогда не пребывая в экстремальных условиях еженедельной занятости...чтобы навести справки надо обратиться по меньшей мере к легендарным журналистам в лице голубовского...

скорее всего никакие деньги особенно не пахнут в том числе и полученные по наследству...тут явно как обычно перемещается акцент ударения...опыт общения подсказывает благодаря интуиции что чаще всего обладают своего рода запахом именно те кто употребляют ассигнации в процессе приобретения необходимых атрибутов...

в те периоды благосостояния когда я имел возможности принимать к деньгам я не слишком задавался этой эфемерной целью...

чаще всего мне приходилось без лишнего напряжения видеть какие источаются испарения от отдельных членов коллектива...

некоторые придерживаются мнения что сразу видно глядя на кого-то пахнет там деньгами или нет...опять же мне не приходилось тесно сталкиваться ни с сырыми мира сего ни с теми в чьих руках экономические возможности управления создающие предпосылки к высокому уровню жизни...что бы по этому поводу не говорилось пахнущими оказываются только те или иные поступки...

но это уже особ статья и тут мы уже давно многое по этому

поводу с рихтером говорили прежде и незачем повторяться бесконечно говоря одно и то же...



общими силами homo sapiens достигнет небывало большого уровня...могут даже произойти такие открытия в областях что человечеству ничего не останется как гордиться собой... мы уже приближаемся даже понять и предрассудки и предубеждения и в том же ряду склонности к фобиям разного реестра...

один народ большой дикий волк другому...крошечные возможности отдельных широко мыслящих не перевешивают впитанные с молоком тенденции в силу географических затруднений и под многовековым влиянием климата формирующим исконный темперамент конкурирующего народонаселения...огромный материал обработан не только гумилевым ученым из плеяды историографов но и тем же всем хорошо известным беллетристом солженищником...мы не будем черпать из сокровищницы этих двух общепризнанных авторов... наша задача неизмеримо уже...

прекрасно объяснимы зверские выражения одних и свирепые манеры других...в этом случае одно работает на другое и с течением времени каким то кровавым образом утрясается оставляя в народной памяти жажду справедливого отмщения...

можно легко понять почему микола гордится тем что он чуден и прекрасен особенно при тихой погоде...можно так же светло и мило примкнуть к мнению великоросса вроде дяди степы что он как никто другой хранит тайну своей души разгадать которую не привелось даже проникательным уэлсам и ряду других знаменитостей посетивших исторические места известных ресторанов и домов отдыха всесоюзных здравниц...

ничего нельзя иметь против законной радости быть чучелком или же потомком знаменитых династий...пожалуйста наслаждайтесь...никто у вас это не забирает...тут возражений быть не может...

и я и рихтер в данном конкретном случае в одной упряжке...что нас разделяет по существу так это моя непреодолимая идея фикс насчет дульфика...рихтер не так жестко настроен... почему... потому что ему вообще наплевать на всё...я не могу позволить себе такую позицию и пройти мимо некоторых явлений вызывающих во мне самое настоящее возмущение...возможно со временем я смогу тоже свой нрав соразмерить с тем с чем приходится воленс-ноленс

сквозь шурум-бурум исторических событий до поры до времени как то мириться...но пока до этого еще не дошло...

•

вы могли бы заявить что собственно из себя представляет дульф чтобы систематически привлекать к нему ваше внимание... что он из себя представляет вам лучше не знать...вам будет от этого только спокойнее...

мои трения между нами с ним в основном касаются нас самих...

однако попутные соображения я не считаю возможным преминуть...

я вам скажу совершенно откровенно...мне не нравятся сидящие на двух стульях...и не потому что мне жалко лишнего сидения...но человека что то всегда раздражает...и в моем аспекте меня бесит и тревожит дульфова идея занимать больше места чем ему положено неважно даже кем...я не буду спорить что зерно конфликта чрезвычайно ничтожно и смехотворно с точки зрения равнодушных к существу дела...но если я не спорю это еще не означает что нет причины протестовать на основе доступных мне материалов...

попытки рихтера неоднократно были обречены на нулевой результат в силу наших резких по существу расхождений капитального характера...

•

не каждому язык его враг ему...люди любят свои фразы...шмойса можно не кормить... дайте ему только чтонибудь сказать...

другое дело что он не знает где остановиться... но многие другие тоже не ведают...

это никого не оправдывает но почему нужно вечно чувствовать себя подсудимым...

кто то выдумал впервые вину потому что вообразил себе какой то идеал которому нужно следовать...это самые настоящие вериги...азаюров мир...

нам уже раньше с самого начала хватает цепей так нужно

еще себе придумывать...

в свое время была новость что не хлебом единым жив каждый номенклатурно считающийся человеком...но я вам скажу на основании весьма достоверной информации что в определенных условиях можно вполне насытиться единственно хлебушком даже без дрожжей...

кто-нибудь услышав классическую строчку...и кто то камень положил в его протянутую руку...тут же начинает возмущаться...

ну как так можно...это же сущее издевательство и непростительный цинизм...

но это тот самый случай когда в расчет не принимается большой контекст...

мне вспоминается миша матусевич...к часам двенадцати текущего дня он еще спросонья уже стоял около букина с протянутой рукой...вдруг по воле небес кто то положил ему в его вытянутую просительно руку самый настоящий камень мандельштама...вы бы видели на его лице было сплошное выражение еврейского счастья и он побежал со всеми совершенно бескорыстно делиться новостью об этом зугце действительно самом настоящим чуде...я ему только желаю чтобы бог дал ему здоровья еще многие долгие годы грызть этот камень с помощью недорогого зубного врача...

бегло в этой связи можно обратить доброжелательное внимание и на специфический случай дульфаана...

по усам текло...в рот не попало...

ничего подобного...кое что попало в его рот и теперь мы имеем ароматное дыхание с его стороны...



теперь уже как астма задыхаешься в своих параметрах...

хорошо что еще есть такие люди которые дают тебе свежий глоток воздуха...

они тебе дают этот глоток и ты расцветаешь на короткое время и тебе так хорошо как только может быть хорошо...

как всё на свете это тоже не надолго и ты вернешься очень скоро к привычному удушью затаив скромную надежду что не в последний раз имел такое счастье вздохнуть полной грудью...

благодарить или не благодарить не вопрос в этом случае...

само твое состояние лучшая благодарность даже если ты никому не даешь знать стараясь себя показать в выгодно лучшем

свете...

предположим имеешь цветок вроде фиалки...не дай бог над ним стоять и внушать ему какой он прелестный и лиловый и фиолетовый и мягкобархатистый и нежный и тому подобное...какой он трогательно слабенький и тем не менее способный на такие изумительные проявления истинно прекрасного на уровне выше всего что может быть на этом свете...

я вас могу уверить что от ваших дифирамбов и в некоторой степени от тяжело взволнованного дыхания наш цветочек через пять минут так увянет что не исключено что через десять минут прикажет счастливо оставаться...

поскольку в мире и так грустно это меньше всего что вы могли бы хотеть...

надо держаться на известном расстоянии от всего что вам может принести добро чтобы это не погубить настойчивой похвалой не идущей ни в какое сравнение с тем что из себя представляет то что побуждает вас испытывать редкое ощущение свободного дыхания во всю мощь сдавленных легких...

что то любишь...так не болтай...но легко кому то сказать не болтай...

когда тебя что то переполняет это практически где то вредно даже учитывая что тот самый воздух такой необходимый может быть фатально испорчен...

помимо этого нам же всегда мало...когда говоришь так кажется ты имеешь больше того что послужило поводом к описанию во всех мельчайших подробностях гибельного анализа...



карфаген должен быть и уже давно разрушен но при чем здесь дульфан...мы же с тобой кажется договорились не упоминать всуе...

что ты себе только думаешь...на что это похоже...все уже что то поняли кроме тебя...ты один такой себе выискался как алый свет зари...

чтоб ты уже невроко подавился тем что считаешь критическим реализмом...

чтобы тебя окунули с головой не давая дышать в авангарде...чтобы ты уже не вылез из под зеленой травы опавших листьев уитмена...чтобы тебя забросали парой мешков корреспонденции из редакции одесский вестник...

я конечно знаю что никакие проклятия в этом случае не

принесут ни избавления ни окончательного решения но удержать-ся от вспышки не все могут и не всем удастся...



ну что ты на меня набросился как угорелые кошки...

почему пока я могу и в состоянии...я не смею себе позволить водружать победное знамя над будущим каркасом нашей знаменитости...кроме меня многие озабочены за прижизненное увековечение нашего малорусского классика...он же копия человека ренессанса...посмотри на его охват бурной деятельности...он ворочает за семерых...кто знает... в будущие годы его возможно наверняка будут считать восьмым чудом...

я читал в большом и новом русском журнале что редакция во главе лялиларисы уже объявила подписку на сборы денежных средств воздвигнуть ему парнокопытный памятник... мало кто из нашей среды легендарных заслуживает постамент больше...некоторые поговаривали что в первую очередь мог бы иметь этот почет колуповский...но я не согласен категорически...каждый имеет право на предпочтение...



наконец я вижу ты что-то понял...

пользуясь редким моментом взаимного согласия хочется тебя в последний раз попросить об одной вещи...

чтобы в этом доме я больше никогда не слышал об дульфане...я думаю лично мне можно сделать маленькое одолжение...я у тебя уже ничего другого давно не прошу...

и не подумай что говорю только для красного словца...я не должен выглядеть иступленным чтобы до тебя дошло...еще раз повторяю чтобы ни звука об дюльфике не было произнесено до тех пор пока я тебя специально не попрошу...

я считаю что это ты для меня можешь сделать...это не такое сложное жертвоприношение...я для тебя иду на всё и мне это стоит гораздо больше...но я не считаюсь...единственное что от тебя всё таки прошу чтоб об дульфе больше ни слова...

ты имеешь в виду что ни при каких обстоятельствах я не должен упоминать что из себя он представляет с моей личной точки зрения...если я тебя верно понял...

а если я подам тебе его в виде сэндвича...с двух сторон предположим будет набоков а внутри начинкой дульфовая масса...

•

в голову хлынули очередные в принципе досужие постановки вопросов...

почему люди лезут на эверест или покоряют горные вершины с угрозой для жизни еще не прожитой благополучно до конца...

зачем кому то надо на лыжах мчаться поднимая ворох снежных заносов когда обвал может грозить инвалидностью первой второй и третьей степени...

что тянет водолазов погружаться в пучины морского дна где даже слепые рыбины смотрят на них как на чокнутых...

по какой такой причине люди играют на бирже труда накапливая себе чрезмерно лишнее состояние которое им ничем не поможет в годину кончины в последние дни жизненного пути...

какие такие принципы заставляют отдельных персонажей будущей истории включаться в гонку занять место в иерархии власти рискуя стать посмешищем в глазах предубежденных несмотря на их же превосходство...

я предпочитаю предоставить шмойсу отвечать на этот ряд вопросов...

•

В СТОРОНУ ОТ ШМОЙСА...

от содержания большого сердца с трудом но всегда можно что то оторвать...священный орган в состоянии многое выдерживать...если есть привычка приобретенная с годами сердечно относиться...постепенно вырабатывается добротная толстая кожа в виде оболочки и она с течением некоторого времени становится непроницаемой для множества эмоциональных чувств зияющих ран или увечий наносимых небрежным отношением со стороны людей которые не находят должным и обязательным с чем то считаться...

разве я не предупреждал шмойса...что только не делал стараясь на него подействовать... вы сами свидетели как лез из кожи добиться нашей гармонии и согласия в особо важных случаях когда от них зависело многое если не всё...

к чему же привели все напряженные усилия...шмойс легкомысленно решил сесть мне на голову обыкновенным наглым образом взгромоздив всю тяжесть на не выдерживающие плечи...

никого не должно удивлять что рано или поздно это привело к ожидаемым результатам... в один прекрасный день я не выдержал и порвал с ним раз и навсегда...и в основном...что главное... о что это окончательно бесповоротно...

сколько можно постоянно сталкиваться разрывая на части мнимое подобие общего языка...есть предел когда дальнейшее общение становится принципиально невозможным...отдельные участки возмущенной совести выступая на первый план диктуют развитие событий...

двусмысленное поведение расшатывает почву доверия и в конце концов у вас не остается выбора...перед вами возникает дилемма гордиева узла разрубить который необходимо немедленно даже ценой пирровой победы когда от рубикона остаются только одни развалины раскопок овеваемые дикими ветрами смерчем рвущимися из вскрытого настежь ящика пандоры...



- телосложение множества организмов в природе всегда чем-то по существу оправдано... ящерица или голубь мира сразу отличимы не только пропорциями но и основными характеристиками внешнего вида...однако это отнюдь не значит что допустимо предъявлять незаслуженные претензии...или же кстати к примеру презирать шахматного коня что он не тягловая лошадь...то же самое относится к структуре всякой писанины... как говорят пускай все цветы ягод распускаются...даже волчьих...главное чтобы никто не был обижен давлением со стороны за счет другого...

одни пишут так а другие творят как то не так что еще не основание кого то выделять на первое место в очереди...свобода творчества не то с чем можно играть и третировать цепляясь к пресловутым нормам...пестрыми рассказами золотого осла апулея теперь развлечь читательское любопытство в наш век уже не так просто и не зря же на полках пылятся басни эзопа вперемешку с русскими былинами или греческим эпосом мифов эллады...

фауст тоже редко кто берет...люди прошли эти этапы...у них теперь не те проблемы декамерона...кому придет в голову сегодня штудировать Аристотель...даже театр абсурда уже не театр абсурда а самый настоящий жгучий реализм зеркального отра-

жения действительности...то что вчера поднимало у людей брови сегодня никого не кольшет и на анну каренину редко кто глазом моргнет...по меньшей мере вызывает улыбку пушкинская пиковая дама...ах какая драма пиковая дама...вы сами видите что это просто смешно...

времена меняются и даже мебель прошлого века абсолютно иначе выглядит чем отдельные экспонаты в мадерн шмузеум...то что вчера было большой свист завтра непременно станет не более чем старческий кашель когда выделяются сплошные мокроты... всё это еще не говорит что надо в корне терять уважение или восхищение взлетами искусства...отнюдь нет и в основном совершенно наоборот...

что нужно и крайне необходимо это только немножко трезвости...на любом кладбище лежат бывшие когда-то тяжело больные но никому же не придет в голову открыть рядом госпиталь или же поликлинику для профилактических консультаций...



писанина шмойса перед тем как стать фактом зарождается сначала в анналах испорченного мыслительного процесса пораженного влиянием неврастенического свойства неизменно приводящего к потоку отдельных понятий сливающихся в бурные воды празднословия и банальных измышлений на почве крайней безответственности перед лицом читательской аудитории несомненно заслуживающей по меньшей мере более уважительного отношения...

шмойс это хорошо и давно знает но его ничто не может остановить в пагубных привычках сметающих с пути здравого смысла то что в нем еще сохранило корни гуманитарного воспитания...

только ход времени и связанные с ним неизбежные жертвы могут привести к остановке этого хода излишней от которых никакой пользы и ценности не видно даже при поверхностном изучении структуры уже зримо разложившегося сознания...

мертвый не ведая реагирует в гораздо меньшей степени на сомнения в статусе своего положения в мире натуральных объектов неразрывно связанных в системах когнитивных парадигм в густой среде онтологии и цепочки звеньев согласованно связанных в узлы крупниц общечеловеческого опыта в качестве неподвзятого понимания начала которого проявляются прежде всего в сущности

занятых позиций...

сказать осердясь что шмойс бесится с жиру это то же самое что ничего не сказать...

назвать его жестоким термином идиот ничего нового не прибавит к прояснению феномена явной тупости и самопожирющей тенденции к реализации сконденсированной дебильности предваряющей отдельные аспекты общего поражения способностей в области различения постулатов играющих роль центральной оси стержня конкретного понимания...



имя арзуньян уже всё говорит активно читающим новинки пользующиеся крупным успехом...

еще не было в истории литературы такого другого знаменитого автора чтобы он уже с первых шагов творческой карьеры стал многотомным настолько что его произведения заняли целую полку в библиотечном зале или в частных собраниях поклонников его искусства...

не все даже достаточно плодovitые мастера пера тянут на большое количество отдельных изданий несмотря на то что практически в каждой антологии им уделяется заслуженное место...

я не могу похвалиться знакомством и личной дружбой с рядом громких имен даже понаслышке...тем не менее и на мою долю выпала честь быть шапочно фамильярным с известнейшим журналистом и автором подробных эссе эрудированных статей на важнейшие темы занимающие современное нам общество действительно любознательных а не просто поверхностно любопытных...

каждый раз беря очередную книжку эдвиг арзуньяна я поражаюсь всеобъемлющим охватом и завидной смелостью бесстрашия перед взятой им на расследование сложной тематики охватывающей длинный ряд вопросов издревле преследуемых лучшими умами в исторической перспективе...

надо сказать что меня глубоко расстраивает одна немаловажная деталь упущения в полиграфической обработке его в высшей степени популярных изданий...искренне жаль что легендарный творец энциклопедических изображений люсьен дульфандо сих пор не выразил горячего стремления окружить страницы эдвиг визуальным богатством своего творческого потенциала...мощный дуэт произвел бы еще большее впечатление надолго отложившись в благодарной памяти наших читателей...

•

шмойс тиснул эту краткую заметку в большом журнале нового слова на русском языке в отделе какой то критики...

я сильно удивляюсь нетребовательности главной редакторши не сумевшей разглядеть бросающуюся в глаза двойственность двусмысленности этого абзаца претендующего на серьезно высказанные мысли...

более чем странно...в составе редакции так и не нашлось единственно трезвого взора чтобы указать шенкер алярисе на иносказательность мнимого восторга и тем самым не допустить неприличных и прежде всего мелочных экивоков в сторону мастеров культуры обоюдно взятых...

•

некоторые настолько хорошо и удачно устроились что хочется только одно...смотреть и завидовать...

ктонибудь вдруг залетится диким смехом и еле переведя дыхание вытирая слезы с легким стоном вздоха судорожно задыхаясь употребляет классическую фразу...я давно так не смеялся...

в этот миг переполняет жгучее чувство недостаточности и растет острое ощущение не состоявшейся полноценности...ты роешься в настоящем и прошлом в поисках такого момента когда тоже мог бы такое заявить...но увы...это отсутствует в твоём личном опыте...

самозабвенно смеяться содрогаясь от приступов настоящего гомерического хохота далеко не всякому доступно...это скорее всего редкий природный дар...можно подойти близко но достичь нельзя...в лучшем случае в сторонку посмеешься и всё...дальше дело не идет...

или кто то говорит вам на днях что ему так повезло как никогда...тут уже вообще начинаешь думать какой ты здесь совершенно несчастный неудачник...в течении ряда лет таковые удары наносятся ежедневно и вызывают ни с чем несравнимую горечь...



однажды один заявил...вроде бы даже какой то классик...
причем провозгласил без всяких обиняков...

печаль моя светла...

представьте у человека даже грусть сокрушения носит свет-
лый характер...а мне чаще всего приходится фигуральным образом
утверждать что нормально света божьего не вижу...причем должен
признаться...никто передо мною в этом нисколько не виноват...

что стоит выйти на прогулку лишний раз убедиться повсю-
ду достаточно света вокруг и на мою долю тоже...

но это сухой факт и никаким образом его нельзя сравни-
вать с высоким ощущением того кому печаль предстает в освещен-
ном виде...

один крупный писатель русских земель вообще мог позво-
лять себе одно из самых шикарных удовольствий...то есть он бук-
вально старался жить не по лжи...и представьте себе ему это уда-
валось...его таки можно только поздравить...к счастью он не один...
даже те у кого нет никакого выбора могут хотя бы ему подражать...

однако лично за себя я такое даже в мечтательном состоя-
нии сказать не могу...я же не знаю насчет правды практически ни-
чего...что то там слышал на этот счет...какой то далекий звон...но
как то реально пощупать жабры правдивости истины мне до сих
пор еще не удавалось...исходя из этого очень трудно ставить перед
собой такую великую цель... чтобы помаленьку не врать изолгав-
шись на корню...и это немало усложняет мне скромную жизнь...
такие параметры не влезают в пределы широты моей души...не там
так здесь немножко и себе и другим потихонечку врешь...конечно в
основном из разных соображений святой лжи...

любая ложь остается чистейшим враньем и непроститель-
на при условии что вы говорите правду и доверившись полностью
своим представлениям отмечаете при этом незначительные по-
правки к генеральному азимуту...



никто не забыт и ничто не забыто кроме нас самих...к это-
му выводу приходишь чтобы вызвать к себе не столько жалость
сколько осуждение за слепоту мировоззрения...разве солнце тебя
забыло...разве свежий утренний ветерок в полузакрытом окошке

не приятно охлаждает твой бледный высокий лоб испещренный годами раздумий...разве твой стул тебя систематически подводит отражаясь на работе желудка...в конце концов нужно знать меру своих претензий и помнить что перевешивает...

с одной чаши весов ты видишь свои мелкие страсти не утолненные надлежащим образом... с другой чаши явно идущей к низу под собственной тяжестью ты видишь сияющую массу кучи благодарностей за счастье жить дыша и что нибудуь соображать в связи с этим феноменом...

помимо всего ты всё еще способен украшать действительность альтруизмом хорошего отношения к своему состоянию морального здоровья не пренебрегая какой нибудуь рюмочкой...что же тебе еще не хватает...



так что... вроде ничего такого чтобы спрашивать так что... жизнь себе обычно продолжается соответствующим образом...и в этом мало нового...

однако не всё так просто как кажется...даже если происходит буквально на глазах...жизние всегда остается быть загадкой... не мне вам об этом говорить...

каждый на собственном примере уже давно в этом убедился и ничто не может опровергнуть личный опыт как бы кто нибудуь не хотел исходя из тех или иных желаний настаивать на своем...

шмойс в том пятом углу где его оставил предоставлен сам себе и может прекрасно биться в обе стенки составляющие этот угол украшенный его же цветами...

но я уже ни при чем...меня это уже не касается...пусть он делает всё что хочет...я к этому не имею никакого отношения...у меня нет ни малейшего интереса к тому что его волнует... мне не только наплевать но даже всё равно что происходит в его внутреннем мире...более того я даже не желаю об нем вспоминать ни худым ни добрым словом...он для меня всё равно что уже совсем мертвый и не имеющий ни единого шанса на воскресение...

то есть коротко говоря с ним уже всё покончено...

если раньше он для меня еще что то такое из себя представлял то в нынешнее время он превратился в сплошной ноль пустого места...то есть мне совершенно безразлично чем он дышит и меньше всего волнует дышит ли он вообще...

я вам скажу больше...пусть не дай бог мне кто то скажет что

шмойс переживает и мучается я просто равнодушно разведу руки и спрошу о ком это вы мне говорите...с чего вы взяли что я имею какое то к нему отношение...

мало ли кто попадался на жизненном пути...если помнить всех кто действовал на нервы то никаких нервов не хватит...хорошего нужно понемножку и тем более плохого...то что дошло до предела воспринимается именно тем что уже терпеть невозможно и к тому же совершенно не нужно...что целесообразно так это всячески избегать всё что только удастся не ставя себя в позицию при которой неизбежно надо остро реагировать истязая ни за что ни про что свои же черты характера где первоначальные душевные силы и остатки терпения давно перерастрочены на ненужное...

•

Несмотря на то что люди имеют самые лучшие намерения преобразуя качественно то что в сыром виде нам здесь дается не нужно идти во все тяжкие ...

множество непростительных преступлений было произведено из желания сказку сделать былью...

во первых хочется спросить почему сказку нужно превращать в совершенно противоположное...

неужели так трудно что то оставить в покое...

если мы имеем прелестный одуванчик нам не приходится в голову превратить его в озимую пшеницу...

в мире производятся центнеры и тонны муки...зачем же надо несчастный одуванчик превращать в бублики с дыркой...

сказку хорошо оставить там где детские нежные уши и не мешать никаким оле лукойе доставлять минуты очарования перед тем как впасть в здоровый глубокий сон...

•

Вспоминается собственное...

Спросите шмойса когда он впервые понял что выродился быть азохен вэй художник...

Не будет неправдой если он ответит что до сих пор ни черта не понял в этом смысле и даже уже не хочет что то понимать...

Чисто технически это элементарно...

Ребенок целый день после школы один...мама тяжело работает чтобы его как то вырастить и поднять на ноги...

Во дворе одна шпана и опасное влияние нехороших образцов поведения...

Ребенок имеет страсть что-нибудь делать...он уже даже принимает участие в штопке порванных носков...он уже даже строит кораблики и красит их зубной пастой одновременно любовно освежая парусиновые тувельки применяя для этой цели тряпочку в роли щеточки...

У него есть интерес проводить опыты по физике... когда домашняя плита раскаляется он на красное горячее железо брызгает воду приходя в восхищение от того что происходит прямо на его изумленных глазах...шарики страшно горячей кипящей воды бегают как угорелые каким то чудом несколько секунд сохраняя идеально шаровидную форму перед тем как окончательно испариться перейдя в атмосферу которая окружает земной шар защищая его от вредного влияния радиации космических лучей...

Что спрашивается делать с таким одаренным ребенком...

Его ведут к родственнице которая обучает игре на пианино...

Ребенок на пианистку не производит большого впечатления не имея специфически выраженных данных...

Что же делать если ребенок все таки рвется к чему то...

Его ведут в кружок техника и мы в такой клуб где дети учатся познавать конкретные вещи...

Но там ему еще рано без основательной подготовки...

Что остается кроме как его определить в художественную начальную школу...

И с этого все пошло дальше и с каждым разом не так лучше чтобы можно было с уверенностью сказать что не хуже...

Но никто на основе этого не может утверждать что он был рожден для славы или вдохновенья неразрывно с ней связанного...

•

Кого ни спросишь все хвалят тех кто умно поступают...как будто это критерий...азохен вэй...

Они же забывают что если кто то умно поступает так тут же рядом кто то остается в дураках...

А что такое быть в дураках мне вам не нужно говорить...

•

Мы уже давно не вспоминали за дульфов...
Если мы шмойсы о чем нам еще говорить...
Если не говорить за дульфов так нам уже будет не о чем
говорить а это не входит в наши интересы...
В то же время никто уже больше не хочет слышать за дуль-
фов...
И это уже то что называется дилемма...

•

Всякий на пороге смерти тоже стоит перед дилеммой но
решение в пользу быть или не быть не находится в его власти...
И это независимо в каком государстве он имеет счастье
пребывать...демократия или недемократия...конечно при диктату-
ре ему могут помочь бесплатно но что такое плата в конце концов...
тут же не идет разговор за деньги...

•

Кстати, деньги...
Не в деньгах счастье разговор для бедных...
Так думают те кто ничего не понимает в жизни...в принци-
пе для людей существует только то чего у них нет...
В таком ракурсе видя можно завидовать тем кто постоянно
сладостно думает за каждую лишнюю копейку и где ее взять...

•

я еще более или менее помню что значит иметь свои зубы...у
меня еще есть иллюзия что даже могу причесываться взбивая локо-
ны бывшей гущи волос...я не желаю углубляться в перечисление
органов и функций...пусть меня простят заинтересованные лица...
не всё же на свете надо упоминать...помимо того не затем я при-
сел поговорить чтобы тыкать кому то в лицо всякого рода непри-

личные пакости...дело в том что как ни стараюсь понятия не имею об том что имеется в виду обладать душой и стремлением найти отдушину для такого ментального образования в организме...если такая душа имеется то она во всяком случае не то что мочевой пузырь чтобы требовать место для отправления нужды...

кто то может полагать что молитвенные дома служат для цели своевременного облегчения... хорошо...но мне как то неловко даже это вообразать в зримых формах...

это пока что не в первую очередь хочется выяснять...в первую очередь речь идет за то что мы имеем вроде бы душой...

уместно обратиться к мировой литературе и специальным текстам посвященным этой идее...

предварительно хорошо бы договориться где приблизительно обретаеся душа с тем чтобы возможность для непосредственного наблюдения состоялась в доступной полноте...

раньше якаясь со шмойсом я не задавался целью рассуждать за душу...то что вы бы могли назвать душой он так во мне выматывал что не было сил еще за это думать...

кроме того то что подразумевается душой сидело где то постоянно в пятках и в силу моего возраста наклоняться было довольно трудно чтобы войти в соприкосновение и начать какой то серьезный разговор выясняя отношения...

между прочим дело усложнялось еще и национальными признаками души...с одной стороны велись разговоры в прошлом за русскую душу...с другой стороны не менее часто упоминались некоторые факты насчет других и даже об еврейском варианте...

с первой же минуты я отверг рыться в анналах архивов и других материалов насчет этого... уже достаточно пожил и набрался популярной мудрости и мне больше не надо прислушиваться к чужой трепотне по этому поводу...что я внутри имею тоже не так мало чтобы хорошенько запутаться...

•

раньше в период ветреной молодости мы не успевали медленно проходя ценить ритм ежедневных прогулок...то и дело останавливаясь снисходительно с легким трепетом умиления следить за хлопотливой деятельностью пичужек старательно добывающих свой хлеб из почвы тротуара...нам не приходило в голову замирать глядя на светоносные пласты облачности не затмевающей византийскую синь небесного склона...и редко только по счастливой слу-

чайности мы разрешали себе потрогать зеленеющую ветку в потоке теплого воздуха с той стороны улицы на которой мы в то время находились...

юность молодости хорошо зная что всё ждет впереди никогда не спешит остановиться дать себе немножко время обдумать что происходит на самом деле...ей подавай острые блюда тут же немедленно...вкусать и погружаться в состояние ей вечно некогда...отсюда те ошибки от которых у нас сейчас те проблемы...мы просто когда это действительно нужно не задаемся вопросом что же важнее...одни крупно подводят себя механически считая что с искусств самое важное то кино предпочтительно в двух сериях...третьи идя вслепую за максим горький считают что его книги наши лучшие друзья и ослепляют свою дальнзоркость мелко набранным шрифтом печати...

пятые идут еще дальше и проводят лучшее время своей жизни или в барах или же в подвалах исходя из неверно воспринятого совета мандельштама...они думают если вокруг компания то уже всё и больше ничего не надо...

даже иной раз при недостатках калорийного питания молодые люди как правило бьются от жира собственной неопытности не сознавая чему в первую очередь отдать должное предпочтения...



- что меня действительно поражает это редкая способность гиршойхета избежав ошибок молодости не делать новых в преддверии того что следует почти впритык к настоящему моменту времени...

при условии что дульф не успел застать его когда он еще дома чтобы сидя на телефоне дергать нервы своими планами на вклад в современное положение авангарда гирш уже на улице поглощает свежесть климата...

радуясь за него я с нескрываемым отвращением слежу за рядом моих непростительных привычек которые уже стали вторыми я...

на заре своей несложившейся лучшим образом судьбы я просиживал свое золотое детство не на поляне а уткнувшись в стеклышки окошек на тот двор...

и вы думаете что то с тех пор изменилось...старый оболтус... всё так же он маячит перед окнами пережевывая десны и остатки светлого разума...



мало на что надеясь трудно себе отказать в любой возможности сесть кому то на голову хотя бы ненадолго...

иных для меня никогда не было...нет и не будет...другие к их же собственному счастью далече...ни то ни другое к гиришохету не относится и это в каком то виде особый недостаток его гражданской позиции во всех остальных отношениях абсолютно безупречной... он может оказаться мишенью чей то капризности...мало ли кому в мозги приходит жажда общения...почти каждый имеет чего то сказать на свой счёт считая что это прежде всего...

я уже был готов услышав аллэ наброситься на него с упреком обвиняя в том что себе сам позволяю...уже была даже подготовлена фраза создать у него ощущение моей способности к импровизации...я уже слышал свой же хриплый прокуренный голос говорящий кто в такую погоду может сидеть дома...это на тебя совершенно не похоже... что же остается в таком случае мне...получается я зря пел тебе дифирамбы...

и что же...опять пришлось убедиться я не знаю с кем имею дело несмотря на столь длинную историю знакомства...

вот что значит цельная натура...

цельную натуру никогда не поймашь...ты можешь сколько хочешь на это рассчитывать но у тебя ничего не получится...

кроме того каждый должен за себя соображать и прежде чем идти на что то куда то смотреть объективно учитывая в каком контексте это может происходить...

не нужно много ума заранее знать гириш дома не сидит в разгаре божественного дня...

и помимо всего тебе должно быть стыдно за всё и за то что ты своей персоной не вылазишь из конуры...лучше уже сиди и молчи чтобы никто не знал как ты себя ведешь...



...и вот уже слава богу опять утро с присущей началу дня прелестью чарующе прохладно нежного дуновения чистого воздуха...в ткань голубого неба влетает голос пения птичек создавая лирический акцент многообещающему развитию дальнейших событий...

тебе лично самому до такого милого состояния природы

далеко и большое расстояние но тем не менее ты выглядишь всё же лучше чем вчера вечером перед попыткой уснуть в здоровом глубоком сне...это не так уж мало...

однако возникают и создают суматоху другие вопросы...на окошке видишь герань...она полная жизни прямо на глазах встепенулась купаясь в лучах уже давно восходящего солнца...и ей совсем не нужно низкосортное кофе чтобы прийти в себя ...

а ты не успев еще встать уже жлекаешь это пойло...почему нужно обязательно искусственное возбуждение...и скажи что такое важное на свете еле очнувшись немедленно сесть и застрять ища в интернете что случилось...что бы в мире не произошло ты же не сможешь это поправить даже будучи возмущен до крайних фибров своего любвеобильного сердца...

возьми любую уличную собачку...что ей нужны новости...ей ни к чему все эти события... можно подумать ты какой то особенный чтобы интересоваться и к тому же еще так переживать...

ряд таких поступков неумолимо ведет...

он имел сон...мало ли что кому то снится...почему же нужно портить настроение вдаваясь в подробности какого то цидрейтерного сна...фрейда это интересовало потому что он работал в этой области...но у тебя другие проблемы текущего дня и незачем лезть...

одно за другим и чем дальше тем как правило еще хуже...



он вечно не согласен...нет чтобы чувствовать себя одним из важных компонентов без которого мир бы был значительно беднее и менее многокрасочен...он себе не находит места как будто это его сверхзадача знать совершенно точно где он находится и что из себя представляет...

он не хочет даже допустить что какое бы мнение за себя он ни имел...хуже или лучше не играет формально никакого значения...чем не назовись всё равно ползает рано или поздно в кузов лукошка...в таком контексте мало играет роль самомнение...пора бы с этим давно уже считаться и отставить в сторонку ненужное самокопание...

искать одобрения от окружающих и в редких случаях находить его тоже не большой фонтан...это приятно спору нет...но гулять на берегу океана тоже довольно приятно... почему же ты это не делаешь...почему нужно иметь фокус на том чтобы всем понра-

виться...почему не подышать в одиночку безмятежно свежим кристальным воздухом и проветрить свою голову...это бы принесло тебе больше пользы чем даже случайная похвала каждого встречного...

можно подумать мало превозносили до небес очередного папу римского...но что спрашивается это дало и на чем это отразилось в положительную сторону...ты сам прекрасно знаешь ответ...



и главное что всё это напрасный перевод сил на одну и ту же тему...сколько можно бить лежачего...ты каждый день гладиаторствуешь и каждый день сам собой побежден и сидя на трибуне каждый раз показываешь большой палец ногтем вниз...и это значит ничто другое как добей себя...кому ты делаешь этим лучше...ровным счетом никому...так зачем же ломать стулья македонскому...

и посмотри уже на календарь...только не волнуйся...взгляни спокойно и посчитай...ни дать ни взять семь десятков лет ты уже здесь и не так долго до того чтобы быть намного дальше чем здесь...или ты думаешь там ты тоже сможешь продолжать в таком же духе...

возможно...почти в том же самом духе но наверняка не в том же теле которого тебе уже не видать так же как тут ушей...

а что тут делать с телом...ты не большой мандельштам задавать вопросы на этот счет и нечего всё усложнять коверкая себе годы метафизическим образом...

не каждому идут навстречу...ты не можешь отрицать что никто иной как сам гиршойхет идет навстречу...что же ты делаешь из себя большую жертву...почему этот постоянный геволт у тебя на первом месте...ты давным-давно не ребенок или дитя чтобы требовать соску...длительный опыт любому мог бы уже подсказать что такое поведение не бог весть что а хуже во всех возможных вариантах систематически патологическим образом разрушая необходимые элементы оптимизма...всё это и многое другое наряду подрывная умонастроение не даёт возможности крепче стоять на ногах...



у тебя под боком не так уж мало красоты и если немножко поискать то и гармония тоже бросится в поле зрения...даже при полной тишине и молчании можно наслаждаться хотя бы той музыкой небес...ни в какое сравнение с этим нельзя взять тех кто вынужден слышать постоянную стрельбу и взрывы минных полей...даже присутствовать на какой то конференции тебя никто не просит...и ты при всем этом продолжаешь ныть изошряясь находить любой повод для лишних жалоб...

ты хоть раз слышал чтобы гиршойхет пожаловался...думаешь он не мог бы найти причину...при желании гиршойхет мог бы найти себе немножко больше веских причин... но он на это не идет...почему...спроси у него...не так уж трудно догадаться что он не считает это нужным и в любом случае если не унижительным так абсолютно бесполезным...что хорошего гирш может ожидать жалуйсь...ровным счетом ничего...а ты не пренебрегаешь любой возможностью верещать как недорезанный...можно подумать что тебя не кормят и над тобой нет крыши крова даже над головой...слава богу в этом отношении тебе повезло и как бы ты не хотел темнить это факт от которого отвертеться ты не в состоянии...надо быть тем еще гусь чтобы при таком благополучии не снимать эту горькую маску скорби...что ты себе думаешь...он себе сосет трагедии из пальца...ему то не хорошо и это не так...гиршойхет более чем прав...заклятый романтик пожирает свои плоды которые себе сам же отравил своими собственными руками...



иногда не хватает а иногда вполне уже хватает и более чем достаточно но пока живой... по большому счету можно считать имеешь вполне нормальную и типичную жизнь...даже сумашедший не уходит далеко от эталона нормы...оттого что помешанные люди сбиты в кучку в одной палате еще не делает их больше выжившими из ума чем все те которые находятся в рассеянии ночуя в собственных квартирах...поставленные диагнозы это еще не последнее слово...мало ли существует примеров когда сыплются всяческого рода обвинения...тот кто простужен гриппом простуды верхних дыхательных путей может быть морально здоров...в противовес тем кто проповедуя целомудрие воздерживается от поедания продуктов животного мира...

хронические болезни несмотря на отрицательное влияние только подтверждают что организм всё еще мужественно борется и может в благоприятном случае преодолеть свои препятствия...

этого вполне достаточно чтобы выражать и словом и делом приверженность хотя бы к малой дозе оптимизма...собственно что такое особенное в оптимизме чтобы торчать на этом предполагая что без него нельзя никак обойтись...предположим как тот шопенгаур ты находишься в самом угаре пессимизма...так что...ничего такого страшного... шопенгауру это не мешало бить морду соседке...и говорят он имея те интересы плоти довольно активно их удовлетворял...лев николаич обладал непреодолимым страхом смерти...все без исключения переживают ужас кончины...но не все живут в ясной поляне... набоков с утра принимал свежий душ...очень хорошо но не достаточно одного благоухания чтобы оправдывать поголовное истребление бабочек редкой породы...кроме того это субъективно со стороны того кто что то говорит по этому поводу...я уже не подчеркиваю что объективность тоже не бог весть что...у каждого аппарата для фото есть хороший объектив...и этот объектив фокусируется...но никто еще не видел такую кинокамеру чтобы на все триста тридцать градусов...

шмойс при всем что он делал оставил во мне глубокие следы которые придется выдавливать из себя крупными каплями...и тем не менее как ни странно это тоже похоже на жизнь...не везде же сплошные цветочки ягод зла...когда видишь в цветном магазине роскошные букеты ты еще раз понимаешь...не так всё плохо как кажется тем более что само состояние при котором что то еще может вообще казаться не подлежит огульному осуждению...



можно только благодарить случай что ты еще не заинтересовался хореографией...мы бы имели те танцупки...второстепенные участники хора песни пляски пятницкого годами тренировались доводя каждую позу до виртуозности...туда с улицы никого не брали потому что высокий профессиональный уровень требовался от каждого по способностям... интересно другое что...

ни одна плисецкая не сравнится с грацией любого дерева...вы скажете дерево не двигается в своем застывшем положении...но нужно иметь глаза...всякое дерево предьявляет квинтэссенцию великолепного движения...и причем без малейшей суеты...

и секрет тут один...дерево себе доверяет и не идет на пово-

ду у каждого известного балетмейстера кем бы он ни был на международной сцене...

доверие к себе отнюдь не слепая вера...доверие прежде всего это слух и деликатность отношения к тому что ты с себя представляешь изначально еще неиспорченный общими догматами...

большего целомудрия чем прислушиваться к тому что тебе диктует исконное чувство божественной уникальности...трагично облеченной в смертные формы временного обиталища...на свете трудно найти как бы ты ни старался...я тебя призываю пересмотреть свои ошибочные позиции...

время не стоит на месте а уходит дальше вперед унося с собой лучшее что тебе природа с одобрения бога не пожалела дать в рамках общего замысла допуская некоторые вариации частной судьбы...я не могу без содрогания видеть как ты себя переводишь на самый бестолковый образ самовыражения...это же буквально на своих же глазах видеть как разворачивают у тебя самое ценное для твоей души...и не обращать никакого внимания равнодушно спустив рукава...

боже упаси сказать ты здесь один из тех кто не знает что творит...именно тут ты не в отрыве от коллектива...единственное при этом что ты можешь еще сделать это как то усвоить основные принципы добросердечия и хранить дистанцию свою или чужую...

некритический подход способствует неизгладимым заблуждениям когда задний ход дать поздно даже имея заведомо громкое имя...свежий пример тебе те солженищеры...то что человек возомнил еще не самое страшное...хуже всего что он завонялся...и тут мы опять можем взять за образец любую породу деревьев...еще нигде и никогда никто не слышал чтобы дерево воняло...

его можно подпилить...ему можно оборвать листья коры...оно уже в таком может быть состоянии что на глазах умирает стоя...и всё равно даже в самом экстремальном положении дерево не воняет...

надо при всяком удобном случае доверять себе...



если у вас еще на доньшке есть немножко разбитого сердца то вы поймете что я хочу сказать и об чем говорю...бывает так не приведи господи что уже утром хочется страшно плакать...не обязательно разрывать кудри волос но судорожно рыдать и горестно всхлипывать...причем не надо насущной причины...что скопилось

вполне достаточно дабы просто завести вечный двигатель страданий...что плохо эта машина же не двигается никуда с места...только одно что тебя трясет туда сюда бесконечно ни вправо и ни влево... я уже не говорю за вперед...чувства работают но совершенно вхолостую не принося ни малейшей пользы кроме одной и той же постылой горечи...



очень хорошо иметь окно с видом...смотреть отвлекаясь от неприятной внутренней жизни...вместо чтоб перебирать те многолетние душевные болячки травм вы начинаете следить что там снаружи такое происходит...

за окном может бурливо кипеть настоящая жизнь и вам остается только одно... доброжелательно при случае умиляясь умозрительно принимать участие...много не нужно...вполне хватает даже какой то малости...напротив школа не военная а такая как обычно...но мальчики на ее дворике играют в европейский футбол и от этого происходит светлая грустная ассоциация...вы наверное знаете с чем и можете за меня порадоваться... мне не жалко поделиться таким удовольствием...от меня не убудет...наоборот в таких случаях происходит вроде бы взаимообогащение одной руки смывающей пыль грязи с другой...

в некоторых кругах это называется...я вам а вы мне...что отнюдь не подвергает происходящее девальвации ценности...

когда один восторжен это буквально вдвое меньше чем восторг упоения разделенный двумя...одному не надо пить особенно из духовных источников...в группе это еще лучше... дыхание коллектива заставляет взмывать над серой повседневностью личных мучений...

далее еще больше...главное чтобы не было лень...кто мешает к примеру на полчаса заняться тем что пересчитывать ворон... между нами говоря это не такое уж бесполезно вульгарное занятие...положим вы в общей сумме нашли что ворон около десятка... теперь условимся каждой вороне бог на самом деле послал пару грамм голландского сыра...в результате вам становится радостно на душе что наконец то кому то таки по настоящему повезло...прийти к выводу что на свете всё таки есть что то хорошее не так уж мало как некоторые недальновидно ошибочно считают...

По старой привычке сидишь в окне и делаешь наблюдения...небо распахнуто и расстилается большой океан...у самого побережья приморской полосы строится довольно огромное здание...я пока не знаю что в нем будет...возможно еще одна гостиница для туристов или же еще один дом для престарелых...возводится это строение уже пару лет...можно предположить что это не частное строительство...вероятно это городское управление занимается...вопросы бюджета иногда стоят так остро что дело стопорится...и тем не менее работы продолжаютя...

Всё и небо и океан и стройка довольно далеки от моего взора но кое что я могу видеть... уже сделано много и сейчас добавляются металлические опоры для дальнейшего возведения следующих этажей...большие черные стержни железных балок как погоревший лес торчат наверх и между ними сверкает огонек снопа ярких искр... внимательно присмотревшись я понял что это работает сварщик...он приваривает отдельные детали строительства...такая крошечная черная фигурочка на фоне впечатляющей панорамы природы...сегодня довольно пасмурно и погода жесткая...надо же понимать что зима уже вошла в свою колею...

На большом расстоянии как говорил гиришойхет что-то видимо немножко лучше и больше...собственно не столько видишь сколько понимаешь или тебе так кажется...

Так или иначе я всем этим растроган...меня это умиляет и придает какие то силы...не то что мне сразу же хочется влиться в ряды строителей но бродит нечто вроде симпатии...

Этого сварщика не останавливает то что через лет так триста его труды пойдут прахом... только себе представить что работавшие над пирамидами были бы с самого начала заражены скепсисом...мы бы не имели пирамид...чем всё кончится будут видеть те кто в будущем что-то начнут сызнова находясь в полном здравии и расцвете их лет...мы имеем то что они не будут иметь...они будут иметь то что нам уже не надо будет иметь...уже само состояние рефлексии дает мне ощущение покоя...когда себе думаешь не собираясь что то воплощать это приносит возвышенное состояние почти медитации...вспомним... разве гириш не имел своих радостей пробившихся через толщу в триста лет...он их имел и слава богу пока умеет ими пользоваться...

Но некоторые вещи всё таки нуждаются в предварительном скепсисе...если бы я только знал что шмойс из себя представлял с самого первого момента я бы не имел с ним ничего общего уже на

следующий день очередной встречи...я бы так не страдал когда он сейчас топчет наши идеалы...мне бы не пришлось отстаивать благородное имя дульфа...я бы не был озабочен в такой степени и мог бы посвятить все силы чему то более стоящему чем выяснение этих никчемных отношений...

•

Вопрос...сколько можно терзаться...сколько можно томиться...сколько можно не находить места...и вообще сколько можно переживать...ответ...терзаться томиться и переживать не находя места можно ровно столько на сколько вас хватает...то есть настолько насколько достаточно сердца здоровья и сил...этот ответ с лихвой покрывает все возможные другие ответы...

•

мне казалось что уже никогда на йоту не поумнею...но разве знаешь где предугадать...ни с того ни с сего чаша разума вдруг с божьей помощью переполняется и переливается через край...

совсем не преувеличиваю...я испытал самое обыкновенное восхищение от своей погасшей и явно угасающей способности широко мыслить...

не подумайте бога ради что тут будет иметь место эврика... всё гораздо проще и если я сейчас преклоняюсь перед своей глубиной то только потому что слишком долго пребывал в луже...

для других это может показаться сплошным гурныштом... оставим их при своем праве думать что им угодно...

•

что произошло...вечером я себе позволил погулять...погода была так вроде ничего...ярко светила луна без осложнений пробиваясь сквозь лохматые покровы не очень низких туч... незадолго до выхода наружу я себе должен был буквально строго запретить дальнейшие рассуждения о позиции шмойса по отношению к легендарному дульфу...я себе прямо без обиняков сказал...сколько

можно...в конце концов дульффик немножко моложе и ему легче за себя постоять...и почему люсик стал для тебя символом оскорблено обиженных... почему...если ты такой угорелый правозащитник... почему бы тебе не стать борцом за восстановление надлежащего внимания к гёте...он таки наверняка в его нынешней ситуации в этом нуждается больше...когда я с собой полностью согласился и вышел на улицу очевидно силы моего сознания были благодарной почвой для дальнейшего углубления в сущность...

уже на первом шагу мне стало хорошо от ощущения какой то одомашненности окружающего мира...во первых возьмем ту же луну...привычное явление...довольно приятно знать что луна никогда не подведет...она всегда по ночам с нами...а утром будет солнце...помимо того что оно будет всегда...потом я припомнил как прекрасен ветер у моря в разгар лета...в голове стали наплывать волны набегающие резвой толпой на побережье...вдруг зажужжали стрекозы и прямо на моих глазах конечно только умозрительно расцвели свежие розы на лепестках держащие крупинки бусинок утренней зари...потом без всякой связи я вспомнил про али бабу из сорока разбойников...в ушах зазвучали чудные мелодии послевоенных лет в той еще одессе когда я был ребенок...и эти платаны...и эта мостовая...из италии им было не лень привозить эти шикарные камни лавы с везувия...да...им не было лень...они знали тогда что такое ответственность...

короче говоря всё вместе взятое стало мне внушать позитивные и положительные мысли об том что не так уж всего мало... ну ты не можешь уже прыгать козликом...ну тебя уже не колышет то что раньше пригибало к долу...ну ты уже не дерзаешь и тебе уже мало интересно просто на кого то наброситься и хамить...ну во всем уже ложка дегтя...ну бывает что тошнит...но посмотри прямо и вглубь...природа всё таки тебе пока что мать... родная или нет... это второстепенно...пока ты здесь она что то для тебя старается делать несмотря на то что ты себе позволяешь...

я не знаю как вас но меня мои раздумья таки потрясли своей значительностью...когда я вернулся домой уже не угнетало что в принципе жизнь не всегда повернута бережной стороной... хорошее оказывается перевешивает...даже чисто с научной точки зрения общая масса луны и планет окружающих солнце явно притягивает весы и в конечном счете даже чашу страданий...

азаюров мир... всё зависит от настроения... что то вдруг не так и тебя перестает трогать даже то что ты не в состоянии объять приложив немалые усилия...

ну что тут поднимать большой шум даже если речь идет за чистые парадоксы... азохен вэй...

я же таки кое что прочел на этот счет... сначала к этому отнесся с жгучим интересом но сейчас я этого бы не сказал... вокрут немало вещей более значительных и ошеломляющих...

но главное что шмойс успел где то разнюхать что я еще проявляю интересы... в частности касательно парадоксов... он меня не может оставить в покое... так выглядит что он без меня вообще жить не хочет... он не понимает простой элементарной вещи что весь мир ему открыт гостеприимно ожидая только его живого участия... мне не хватит тысячи пальцев пересчитать его родственников по прямой линии и по любой другой... имея такие широкие возможности зачем ему пить с меня уже и так голубую кровь... это не парадокс но это с моей точки зрения преступление нравов таких как он...

вчера прихожу... на мониторе вижу имейл шмойса...

----- шурик... я слышал ты вникаешь в парадоксы... не хочу тебе морочить голову но если тебе это интересно так я тебе задам задачу в этом роде...

предположим ты и гиршойхет вместе идете посмотреть отремонтированные залы мадерн мюзеум современного искусства... допустим ожидается новый привоз коллекции произведений дульфана... делается шикарная с отменным дизайном экспозиция... приглашены сливки общества... везде бегают папшарацы... вы с гиршойхетом стоите и смотрите на весь этот шурум-бурум и гордитесь тем что дульф наконец то попал туда куда следует...

потом наступает торжественный момент... губернатор нью ерка режет ленточку и нетерпеливая масса будущей клиентуры меценатов врывается в просторные пространства музея... и что они видят... абсолютно все выставленные экспонаты на всей музейной площади И НА ВСЕХ ЭТАЖАХ выглядят буквально копия дульфановых шедевров... критики не веря своим опытным глазам всматриваются перебегаая из зала в зал и только лишний раз убеждаются что каким то фокусом все работы действительно точно из под рук дульфа... второй мидас... во всем музее в день открытия не нашлось ни одного паршивого объекта чтобы он не принадлежал творчеству нашего легендарного земляка... ВСЁ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СТАЛО ПЛОДАМИ ДЮЛЬФИКА... КУДА ДЕВАЛСЯ КАНДИНСКИЙ...

ГДЕ ЗНАМЕНИТОЕ ПОМОЙНОЕ ВЕДРО ДУШАМПА... ВО ЧТО ПРЕВРАТИЛСЯ МОНДРИВАН И ТАК ДАЛЕЕ И ТОМУ... чистая фантастика... чтобы весь мадерн шмузеем превратился в обиталище одного идола...срочно вызывают виновника торжества на паркет...дульф снисходительно улыбаясь в своем жакете вечернего костюма всех успокаивает но подтверждает СУХОЙ факт...то есть что от одного его присутствия ВСЁ что в музее В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ МОЖНО ВИДЕТЬ стало ДУЛЬФАНСТВОМ...

-----шурик... я хорошо понимаю тебя может беспокоить кое что...но я тебя чистосердечно уверяю...здесь нет с моей стороны никакого подвоха...даже йоты моих проблем с дульфиком... это просто я тебе ОТ ДУШИ дарю парадокс...ты хочешь разрешить ПОСКОРЕЕ этот парадокс так я тебе советую обратиться к гиришохету... чтобы твой гириш не знал как выпутаться из этого парадокса я себе плохо представляю...

•

Сталкиваясь с фактом кончины не столько что то понимаешь сколько извлекаешь уроков...

умершего не беспокоит не только что о нем думают но и неприятности в связи с тем что к нему могут иметь частные лица или органы правопорядка...чувство полного равновесия в застывших чертах может означать только одно...не существует морочащих голову фиктивных проблем ложно понятых иллюзий...неизвестно улетела ввысь его душа или нет но то что он уже лежа стоит на голову выше всех треволнений очевидно...

что является мучительной заботой для каждого из нас в повседневности включая крышу над головой и пропитание вероятно мертвого тоже не интересует ни в первую ни во вторую очередь...

Это в принципе касается всех простых смертных без исключения...но обращая должное внимание на крупных деятелей похороненных под внушительными стенами мавзолеев также отдаешь отчет что не так уж обязательно было для гёте корпеть над последней частью фауста...коварный мефистофель палец об палец не ударил чтобы хоть что нибудь сделать для тайного советника именно тогда когда он в этом особенно нуждался...

Теперь предположим кто то имел огромное удовольствие проводить нью йоркскую зиму в щадящих условиях теплой флориды...спустя какое то время он скоропостижно скончался...никто меня не убедит что приятные воспоминания о проведенных часах в

роскошных условиях он бережно унес с собой в могилу...скорее всего самые лучшие впечатления продолжают хранить собственники отелей где он провел блаженные дни заслуженного отдыха...но и им придется писать завещание...

Это отнюдь не надо понимать что я решительно против хорошего времяпрепровождения... единственное что не стоит делать на этом большой фокус...

Пастернак думал серьезно постоянно об жизни и одновременно синхронно об смерти...я не уверен он теперь считает жизнь по прежнему сестрою но возможно предполагать смерть ему приходится в настоящее время всё таки близкой родственницей...если она для него стала мешухой родни то естественно думать и гёте тоже не обижен и пользуется такой же привилегией...отсюда следует отрадный неопровержимый факт...и гете и пастернак нынче полноправные члены одной крепкой семьи...

Исследовать все возможные бенефиты коими пользуются нас покинувшие не входит в настоящий момент в мою задачу но первый шаг в этом направлении имеет определенное значение...человек обычно зря не занимается тем что его в данный момент остро не касается... нечто в воздухе носится и привлекает настороженное внимание...



на мой адрес всё чаще поступает специфическая почта посланий от организаций работающих в области захоронений...они уже озабочены как бы мне лучше и полегче устроиться в связи с приближающейся неумолимо датой смерти...простительно когда религиозные представители делают всё что возможно для души в этом направлении...но позволять ушлым предпринимателям действовать на мои нервы я полагаю излишним оставляя их приглашения без должного внимания...они себе выбрали несокрушимый бизнес...но я за себя еще могу постоять...

средства рекламы различных загробных удобств звучат заманчиво...тем не менее эти посулы оставляют меня равнодушным...об покушать и выпить они не заикаются храня гробовое молчание...выдвигая на первый план чугунную ограду...кусочек мрамора и вечнозеленое насаждение...но я могу позволить себе пока предпочитать центральный парк проводя осмысленные часы подшофе непосредственно возле памятника гёте...они хотят чтоб я как можно скорее...делая хорошую мину при гадкой игре на моем бо-

лезненным воображении...они могут подождать...ничего с ними не случится...пока это не входит в мои кровные интересы я не спешу им навстречу должным образом оценивая их благие намерения...я еще точно не знаю но у меня уже растет идея подать в суд...если подумать отбросив всяческие нежности и эвфемизмы то слышно только одно...чтобы ты уже сдох... мало того что они мне такое желают так они при этом требуют чтобы я выложил уже сегодня на стол им последние сбережения...

что же это такое как не посягательство на индивидуальное право жить и принимать участие в общественной жизни независимо от расы происхождения и религиозной принадлежности... это таки достаточно серьезное дело и при везении я могу выиграть процесс...пока я себе еще как то тут мешкаю лишние деньги мне тоже не помешают...

кроме нормального я здесь ничего не вижу в том чтобы они понесли наказание...подрывая почву под теми остатками оптимизма которые я еще имею они мне заговаривают шарики об том что у них для меня уже вырыта земля на самом красивом участке с видом на манхетенн...с каждой минутой что я думаю мое раздражение пропорционально растет...и мне не надо быть до мозга костей шмойсом чтобы испытывать крайне справедливое возмущение...любой на моем месте чувствовал бы то же самое...

уже нет тех сил но раньше я бы пошел бы на чтобы создать общество по борьбе с поползновениями гробокопателей под видом услуг цивилизации...это же самая настоящая язва частной предпринимчивости...закон в принципе должен стоять на стороне еще живущих налогоплательщиков...позволить алчности расшатывать устои так очень скоро можно дожидаться катастрофы и тогда уже действительно костей не соберешь...

•

прогнившие корни шмойса нескромно вылезают наружу поверхности в самых неожиданных местах...и в нем даже не просыпается стыдливость...в принципе он не виноват поскольку сталь закалялась в том дворе где на что-нибудь чуть-чуть необычное обыкновенно говорили усратья можно...в этом его винить было бы несправедливо...но предъявлять ему другой упрек можно отталкиваясь от того что он делает с этим булатом южной чеканки...это же просто смехотворно и в то же время отвратительно наблюдать как с лезгинскими коленцами выкрутас он кружит над дульфом раз-

махивая кинжалом дамасской шашки со сверкающим клинком... иногда думаешь что идет премьера мурадели танец с саблями...и что особенно смешно и комично что он же только всегда промазывает все и промахивается зря...ему конечно кажется он бьет прямо в пик...но что вообще ему не кажется позвольте спросить...он мне сам когда то однажды признавался что давно перестал понимать что вокруг происходит...однако ему это не кажется серьезной причиной не продолжать пороть глупости допуская зрелые ошибки чуть ли не в каждом случае...у меня всё тело кровотоцит в синяках от этого крошечного безумия но что свалилось на голову то уже не снимешь и следы шрамов остаются навсегда...

в риме был сенатор свои выступления кончавший неизменно одной фразой чтобы карфаген был разрушен как можно скорее...к примеру он мог начать за здравицу цезаря и кончить всё равно за упокой этого города хотя прямой связи между первой и последней частями доклада даже Цицерону трудно было найти...у всех есть свой конек...или же одна излюбленная фраза...люди сами не подозревая повторяют некоторые мысли и поступки... это так же как бывают характерные жесты или разновидность походки... всякие фобии и так далее...одни не могут мимо пройти чтобы что-нибудь не стибрить...кое кто доходит даже до того что спускает штаны перед дамами...причем без предварительного согласия с общественными представительницами слабого пола...что касается меня то на служебном месте подвизается шмойс...о чем бы ни пожелал говорить сам того не сознавая прежде всего со шмойса начинаю разматывать колобок...иной раз это меня заводит неизвестно куда и мне трудно припомнить о чем собирался говорить... хорошо что теперь это уже без разницы в виду того что не только в доме полонских все смешалось в малакучу...но на этот раз я кажется слабо припоминаю о чем решил распространиться...

когда вы идете по улице сильно проголодавшись и из рестораника чудно пахнет чахохбили ваш рот наполняется здоровой слюной аппетита...когда вы слышите грустную хватающую за сердце печальную историю у вас на ресницах может повиснуть слеза...пока мы живые мы реагируем...один умник однажды с важным видом заявил что не хлебом единым еврейский народ мог бы жить с русским народом...и потом он еще сказал что за двести лет уже можно было бы на просторах чужой родины иметь какие то возвышенные идеи чтобы стать на должном уровне вровень с доминирующей массой законных поселенцев...возразить ему я не нахожу возможным потому что это таки правда что одним белым хлебом трудно обойтись если на рынке сплошное изобилие или у вас есть проверенные пути к значным местам где обычно и в порядке само

собой понимающим дружные нации моют руки друг дружке чистой и хрустальной водой с гор карабаха...

странно но я опять за собой замечаю как систематически отклоняюсь в ненужную сторону...я уже начинаю побаиваться что это предварительные признаки...



Если доступные данные не вводят в заблуждение то эйнштейн отрывая время от научных занятий на шуры-муры с избранницей сердца старался в период кульминации держаться как можно дальше от своей теории относительности...одно дело прогресс физики и совсем другое реализация заложенной потенции...то же самое относится к наполеону и к боре пастернаку...и я не сильно ошибусь в отношении карла маркса если буду придерживаться точно такого же мнения...так что же это за такой феномен который делает всё что ему угодно даже с выдающимися личностями типа гете или печального изгнанника байрон...более того...что это за такой общий знаменатель который сводит на один уровень и дульфу и шмойса несмотря на огромную дистанцию в смысле весомости значительности...почему природе нужно было придать либидо такую силу характера перед которым бледнеют от стыдливости возвышенные состояния вызывающие у нас законную гордость...слава богу...ангелам не нужно было бороться с соблазном...имея просторные крылья они не могли похвастаться тем что составляет законную гордость рядовой массы мужественного населения...я не могу точно утверждать и не в состоянии найти в трудах арзуньяна точные подтверждения что дьявол наверняка имел всю эту машинерию в избытке...но только гормоны могли его провоцировать на такие предосудительные действия...другого объяснения трудно найти...можно сослаться на борьбу света и тьмы...но это конкретно ничего не объясняет...

Берешь лев толстой и видишь ту же проблему...за пушкин мы промолчим...об нем он сам достаточно грамотно рассказал и не только в мадригалах...смотришь сейчас вокруг и видишь даже пожилые туда же...всюду бурно течет активная чувственная жизнь несмотря на многочисленные препятствия уже не первой молодости...немножко неловко признаваться что у меня не проходит ночь чтобы я не терял свое лицо погрузившись во сне в самый разнуданный разврат который может себе представить только испорченное воображение...



утром мне неловко смотреть в глаза соседям...если они меня спросят не знаю что им ответить...сказать что я низко опустил так они перестанут со мной вообще разговаривать...возможно даже общественное мнение поднимет вопрос об принудительном лечении...пускаться во все тяжкие это же не дело...идти по стопам маркиза де сад это же последний шаг падения для нормальный идише мальчик который уже далеко не юноша...мне буквально становится стыдно перед собой...

в этом возрасте такого рода вещи не должны беспокоить...гораздо уместнее посвящать силы эмоций более вечным проблемам...

чем по ночам якшаться непристойным образом мне бы лучше сохранять энергию для изучения хотя бы французского языка...

главная проблема что не с кем посоветоваться...от гиришыхета ждать помощи в этом аспекте я могу до второго пришествия...лучшее что он мне может посоветовать это опять петь советские песни тридцатых годов...

я конечно не единственный такой экземпляр...тут в нашем доме среди пенсионеров это занимает в большой мере практически всех...кого ни спросишь у тех кто имеет приходящую женщину их обслуживать все говорят одно и то же...она хорошо готовит но не дает...мне не к лицу равняться на этих паразитов...но порывы меня не оставляют на заслуженном покое...я хорошо могу понять что не всё может найти какой то выход...если вы сидите в камере смертников то никто не снизойдет к вам чтобы вы обрели покой удовлетворив свои низменные притязания...не имея статус славы и известности трудно обхмутать изящную девушку...никто не польстится на эту несчастную пенсию и ограниченный доход от вашей мудрости приобретенной с таким трудом...молодой женщине нужна яхта а не сплошные жалобы...

только что мне пришло в голову что об этом даже стыдно говорить...теперь меня будет мучить еще и это...мне мало было того что я уже имел...люди приходят и думают что они имеют дело с порядочным...они даже не могут допустить мысли что этот внешне приличный человек имеет только одно на уме...что бы он не говорил за этим стоит то что уже не так стоит чтобы можно было этим хвастаться...азаюров мир...я слышу из одессы людей волнуют мировые темы...они пребывают на передовом фронте взыскующей мысли...обращая внимание на себя я прихожу в оторопь от презрения к тому что из себя представляю в настоящий текущий период...

•

теперь окончательно понимаю...шмойс и шурик-пурик ведь именно те близнецы брата...

оказывается...думая про шмойс я подразумевал шурик и наоборот...то что другим с самого начала было ясно до меня только сейчас медленно со скрипом дошло...хотя наверное и раньше всё таки что то такое подозревал но очевидно старался тщательно отталкивать от поля внимания...и это мое идише счастье находиться между ними...но что еще хуже потому что без хуже не бывает...хуже всего что я тоже если не совсем в практике то по теории тот же такой же красавец сам собой...и меня мало утешает что мы трое взятые одни из многих...необязательно рядом...где угодно живет и здравствует огромная родня нашей мешпухи и причем разного калибра...среди них есть даже народные артисты и как ни странно академические круги их содержат тоже...не все от и до полностью шмойсы но почти каждый в себе имеет больше половины...чаще всего эта половина берет вверх и кладет на лопатки даже самых-самых...

я даю коп на отрез что шопенгаур тоже из этого полку...не всегда но больше чем желательно...и если мы можем такое сказать про одну светлую голову то нас ничто не удерживает чтобы точно же это сказать за другие не менее светлые...в таких случаях легче назвать непричастных чем тех кто в этом отношении прямо копия...но что касается непричастных...то где это видано...архимед может быть если бы прожил дольше мог бы дожждаться той точки опоры чтобы переворачивать...я же вряд ли дождусь такого особенного чтобы в нем не было ни зги...это все равно что столкнуться лицом к лицу с идеалом...что в принципе даже невозможно...

•

кое кто скажет а как же гиришохет...разве он имеет нечто родственное шмойсовскому началу...как это может быть если тако-го быть не может...поверьте...я сам удивляюсь но он мне лично в этом неоднократно признавался...как это ни горько но приходится ему доверять...если он говорит он лучше знает...когда в первый раз он мне об этом поделился я почувствовал что для меня всё кончено и мир рушится...

несколько дней я себе буквально места не находил...с дру-

гой стороны на меня повеяло духом примиренчества...что же ждать от других в этом отношении...чего же лишь бы фыркать и ехидно посмеиваться недружелюбным образом...неужели от этого немножко будет тебе легче...необязательно злорадствовать что все такие же как ты...что это за плебейская психология...тебе давно должно было быть стыдно...таким образом гиршойхет меня невольно поднял на ступеньку выше...только грустно что ступенькам ни конца ни края...

•

в те...это уже можно сказать с полным правом...в те старинные годы раннего детства каждый с нас имел счастье изредка по праздникам получать петушок на палочке...такой рубиновопрозрачный леденец...такой сладкий задорный но несколько хрупкий боевой петух из сахара...когда на ребенка с этим лакомством смотришь только одно слово годится чтобы счастливое дитя описать...сластена...у крошки по щекам текут слюнки восторга и детка не может оторваться...

даже не хочется переводить этот образ смешливого кондитерского изделия на предмет не заслуживающий того...но уже вот как прошла целая неделя а в моей голове кружится соображение...что и я...и шурик-пурик...и конечно же наш милый друг шмойс в принципе те же петушки на палочках в некотором смысле...в данном случае метафора за невинный петушок об нас говорит в уничижительном тоне жестокой насмешки...но за что себя так бичевать я хотел бы знать...

почему в мозгах зарождается такое сравнение...странно что не горный орел или звезда первой величины или скромный но с достоинством хранитель священного огня...

это было бы гораздо приятнее пусть даже далеко от реального положения дел...но зато это бы не носило такой оскорбительный характер...пусть некрасиво быть знаменитым но быть петушком на палочке это не менее уродливо и кроме того смехотворно...

мало у кого могла бы возникнуть идея что великолепный наш земляк и еще к тому же огромный художник люсьен дульфан является из себя как петушок на палочке...такого человека бы засмеяли не дав ему даже момент как то объясниться...ведь если без сопротивления идти в этом ложном направлении то наряду с солженищкером... киссинджер...элвис прэсли и известный поэт юпп... не упоминая вскользь при этом азнавур и арзуньян в компании с

глубоковским и не считая других еще портосов...все они будут также сравнимы с этим продуктом для детского наслаждения...а ведь уже же было сказано что живущий не сравним даже с дерьмом...

помимо того что это слишком далеко заходить...это уже выглядит немножко слишком...а то что слишком это уже не хорошо...демянова уха когда она слишком моментально и мгновенно теряет тот вкус...

и кроме этого зачем поднимать вопрос так высоко когда речь идет в сущности о пустяках...что с того что в основном мы петушки на палочках...ну какое то время мы петушимся...ну какие то маленькие петушиные схватки боёв имеют место...ну так что же...неужели всё это нужно так серьезно воспринимать...

время постепенно вылизывая нас с поверхности оставит голое место которое тут же будет занято...так стоит ли поднимать ненужный шум...явно что это не стоит серьезного разговора...

откровенно говоря я не знаю что собственно меня побудило об этом говорить...

очевидно что свято место не может быть опустошенным...туда сразу же забирается очередная чушь и с гордым видом на что то претендует...

стоит осмотреться и находишь без промедления действительно бередящее самый сокровенный участок сердца...

настолько все эфемерно что даже когда встречаешься с чьим то маленьким счастьем душу мучит сознание недолговечности...волосы начинают шевелиться наряду с ознобом гусиной кожи когда понимаешь что всё держится на одном волоске...ой...мне даже трудно и больно продолжать...

на ночь не стоит погружаться в такие вещи...зачем себе обеспечивать бессонницу...



квартира и улицы...магазины и учреждения...автобусы и поезда...всё это не те места чтобы себя заживо закопать...для этого отведены определенные участки кладбищ...и сначала нужно иметь право трупа домогаясь места под солнцем в пределах кладбищенской ограды...живьем туда нечего соваться...мертвых тоже следует уважать и не вносить беспокойство...каждый пока существует обязан только гордиться этой позицией...быть хранителем самого себя не менее почетная должность чем у хранителя государственной печати...это можно сказать наше настоящее призвание всяческим

образом тщательно беречь мерцающее пламя пребывания в неблагоприятных условиях где недопонимание и вредные импульсы искажают картину мира создавая впечатление что крошечный ад почему то поменял адрес...



в полгода ребенку досаждают прорезывающиеся зубы...но это не так печально как когда начинают прорезываться зубы смерти у пожившего...сидишь истуканом нахохлившись наблюдая за этим процессом...глупее трудно придумать...дитя выращивает зубки чтобы грызть ходы и выходы в его будущей одиссее...но зачем старцу зубы смерти...я не вижу особого смысла отгрызаться будучи на том свете...и тут это мало что дает...тем более там...



лев николаич имел счастье предпочитать шекспиру себя... не меньшее счастье шекспир сам того не зная имел в свое время не иметь оснований углубляться в тексты толстого... теперь ты в более выгодных условиях чем они вместе взятые у тебя выбор на их фоне просто сплошная роскошь...только подумать ты можешь перебирать чем сегодня в первую очередь любоваться и у тебя не останется желания переживать чувство неустроенности или нехватки хорошего умонастроения...

возьми самую неказистую деталь своего домашнего окружения...положи свой доверчивый глаз без пылинки ненужного скепсиса...как березовый сок из надрезанной коры клена медоносные струйки чистого наслаждения зальют целебной влагой иссохшие лабиринты мозговых извилин...пыльные собрания сочинений достоевского могут погрузить в неожиданное возбуждение от токов электричества каким тебя било при первом чтении его преступления...наказание испытанное необходимостью дочитывать до конца все таки было оправдано...никто не мешает тебе провести пальцем по кожаным переплетам в тихой задумчивости оставляя очевидный след своего пребывания...

переводя медленный взгляд из угла в угол ты можешь или остановиться посреди комнаты в самозабвенном состоянии полной пространности или решительно взяв себя в руки активно кружить на

месте сосредоточенно углубляясь в благостное состояние апатии...

не нужно думать что более необходимо...грызть ногти или ковыряться в носу никто не заставляет предаваться бескультурным привычкам...постукивать нервными пальцами по краю стола также не нужно...можно немножко побарабанить по оконному стеклу но тоже не очень долго...

ты хочешь лечь...воля твоя...ты не хочешь стоять бессмысленно торча так продолжай валяться...

некоторых бедняг жизнь уже окончательно сломила но они бы отдали свое будущее не задумываясь чтобы пребывать в той стадии которая у тебя на руках...



Поздно ночью дернуло посмотреть в окно...человек уже совсем обалдел...можно вообразить ему было мало в течение дня искать новых горизонтов...что тут увидишь в потемках...картина мерцающих огней в части города далеко от центра мировой культуры нынешнего века...но это всё равно...внизу огромный участок из лысых газонов и автомобильных стоянок...кое что занесено старым серым снегом...в темноте резко светят фонари настойчиво освещая самые темные места закоулков...фонарики не те ахматовские но тоже желтоватые...одним словом типичная сцена...и среди всего мечется и реет то возносясь то низвергаясь светлый пластмассовый мешочек совершенно пустой внутри...ветер идет с моря и создает воздушные потоки...мешок делает движения плисецкой и сарры бернар когда их берут вместе...бедный мешочек не знает куда его вихорь загонит в следующую минуту...

Сейчас я вижу он уткнулся в угол современного здания и дрожит весь как цуцик которого выгнали на мороз...свежий приморский воздух его то раздувает то прижимает и кажется что мешок захлебывается от безудержных рыданий...он себе тут устроил новый ершалаим...биться об стенки мало что дает...

не знаю...почему мне подумалось что это я на его месте...неужели такая идентификация имеет право на существование...раньше люди себя отождествляли с белеющим в одиночестве парусом...или в крайних случаях с ястребом черной молнии подобным...на самый худой конец люди себя представляли в более выгодной позиции когда голова даже выше александрийского столпа...но дойти до того чтобы себя считать изделием из пластика уже выброшен-

ным за ненадобностью это надо таки иметь крайности романтических слабостей...

могу уже себе вообразить гиршойхета горестно разводящего руки от того что я говорю... если так будет продолжаться неизвестно с чем я еще себя буду сравнивать в недалеком будущем...



я еще не совсем закончил потому как это достаточно серьезное дело и только одним рецептом трудно ограничиться... корица с медом это конечно прекрасно но это не на все панацея... гораздо важнее как мне кажется обратить внимание на новейшее исследование за геронтологию недавно предпринятое известным доктором цурес...впрочем кажется точнее это врач цыцас...мне придется освежить память найти точно как его зовут...вполне возможно его имя цуцыс...но это на втором плане...этот лекарь между прочим в одессе был в КВН и показывал себя как композитор легкой песни преимущественно за огромную любовь...будучи в эмиграции он расширил горизонты и нынче имеет плоды в качестве огромной резиденции за которую с помощью благодарных пациентов он уже досрочно расплатился...а ведь речь идет за миллионы здешних купюр...он поставил здравоохранение на такую широкую ногу что ничего не остается как просто им восхищаться...

но перейдем к существу...всё у доктора цацкис началось как у бога с одной простенькой идеи явившейся к нему под эгидой озарения...он обнаружил что возрастные изменения прокладывают маршрут в направлении вниз по склону горы...то есть с пика жизненной энергии нехотя идешь вялой походкой на свалку...врач уже хорошо усвоя азы английского назвал этот жуткий вид страданий даунхил синдром...

что вам сказать...толпы даже коренных американцев нахлынули в офис приемной позволив эскулапу выпустить за свой счет собственную пластинку с общедоступными мелодиями южно-русской песенной культуры...теперь я чувствую что вы горите скорей узнать что же он придумал в смысле борьбы с этим ужасным синдромом...бросьте думать за таблетки...тут речь идет за альтернативное лечение...пускай скепис и цуцкис вас провоцируют на излишки культа в смысле аллитерации я вам советую не идти по ложному пути...мало ли как кого зовут...что в имени моем...нам к счастью остается довольно часто не только имя но и признанные заслуги того кто с гордостью его носил...

лично мне доктор цукрыс признавался что основная точка исхода как помочь людям стукнула ему в голову когда он игрался со своим новорожденным ребенком...пухлые ручки дитяти все время простирались ко всему что бы не попадало в поле зрения...ребенок каждую секунду тряс ладошками перебирая крохотными пальчиками...интерес к жизни был буквально налицо...глядя со счастливым выражением родителя доктор вдруг подумал об своем дедушке которого невроко уже десять лет не было...сейчас в одессе на кладбище покоятся его останки...но память об нем сыграла роль в становлении крупного светила медицины уже в новом свете тут в бруклине...

живой еврейский ум способный находить связи между тем и между этим в тот же день привел к блестящим результатам...

дедушка в свои преклонные годы держал руки всегда за спиной...причем они были чистые...стесняться не было никакой причины...он их не замарал ничем на протяжении всей своей праведной жизни...он тоже был склонен к музыкальному выражению чувств но эти чувства носили целомудренный характер...ни у кого не могут возникнуть претензии к чудной песне типа об балкончике где росли желтая лимончики...дедушка любил даже итальянскую оперу...грустно подумать что в последние годы он уже не вынимал рук из под спины сгорбленной вроде бы от пережитых тягот честно прожитой жизни...

почему же руки дедушки были за спиной...они находились там только потому что дедушка перестал тянуться ко всему что раньше его привлекало и давало импульс достичь благополучия в личной жизни его семьи...дедушке стало всё равно хотя это отнюдь не носило характер наплевательства...иногда он извлекал пару пальцев ущипнуть племянницу которая расцветала всеми красками южной красоты...

но мы не должны отвлекаться сходя со стези развития большого шага вперед в области скорой помощи страдающим от естественного хода событий...

делая отступление прежде всего хочется внести известную ясность...если вам думается я не отдаю отчета в своей пошлости так вы еще это недодумали до конца со всеми вытекающими выводами...и я это не говорю чтобы вас обидеть...но когда требуется нужно ставить точки над и...когда мы хотим понимать друг друга мы просто обязаны считаться... теперь возвращаясь к тому что надо иметь в виду в первую очередь...доктор цукрес обнаружил что причина всех бед именно в том где мы держим наши руки...

уже к сорока у людей руки висят параллельно к туловищу... это еще не так страшно... потом спустя еще пару лет руки всё чаще закладываются за ту спину...об чем это образно говорит...это дает понять что человек уже думает в равной степени за прошлое и то будущее которое ему остается...проходит еще парочка лет и пальцы рук за спиной всё время беспокойно шевелятся перебирая дебиты и кредиты прошедших лет...то что жизнь перед человеком бурлит ему не приходит в голову оставляя хронически равнодушным... отсюда следует что важнейшие функции жаждущего организма не имеют достаточно импульсов пребывать в постоянной готовности что в дальнейшем грозит полной атрофией всех органов в том числе и тех об каких в приличном обществе не принято говорить во всеуслышание...чтобы зря вас не утомлять общими разговорами я вам сразу скажу... когда сегодня к доктору цацкис приходят он тут же перевязывает руки пациентам таким образом чтобы они были скрещены на груди в позе наполеона...тут происходит тот феномен обратной связи...в каком бы завале депрессии вы не находились прилив амбиций и желания самоутвердиться автоматически работает на повышение витальности что несомненно влияет и на другие стороны интимной жизни...вы не представляете какие потоки благодарности имеет каждый день наш знаменитый врач...он поднял на ноги почти всю третью эмиграцию и многих из тех которые приехали уже в недавние годы...

итак суммируя...если вы действительно хотите жить и радоваться так примите во внимание что ваши руки это первое на что нужно обращать внимание...каждый ребенок вам может дать яркий пример...конечно это не значит что вы можете заниматься самолечением...наш доктор дай бог ему здоровья принимает всех кто заинтересован в повышении своего коэффициента полезных действий...кстати всем кому нужно они могут в журнале свежее русское слово найти его адрес как приехать или пройти на своих ногах...



В свое время пушкин меланхолически пером гуся начертал набросок где в неловких позах висели фигурки декабристов повешенных царским режимом...сбоку на полях...очевидно считаясь с суровой реальностью фактов он рядом приписал пробежавшую мысль...и я бы так мог...то есть он хотел сказать что и он так мог бы кончить...

Лично мне не очень был близок пафос прекрасной песни

в исполнении одного из кончаловско-михалковых когда он в молодом возрасте поет и я пройти еще готов далекий тихий океан и тундру и тайгу...но в такой же степени я могу сказать мне теперь гораздо ближе идея пушкина в том же смысле но наоборот с твердой уверенностью...проезжая в собее мимо одного из городских кладбищ обычно похожих на макеты нью ерка в виду преимущественно серого цвета памятников разного калибра я безмолвно шевеля губами между прочим себе говорю что я тоже так смогу...то есть буду лежать в одной из этих могил...при возникновении такого соображения уже неясно куда еду и зачем...но выскочить на ходу из поезда это не ответ на конкретно заданный себе вопрос и я еду дальше только потому что собрался куда то приехать...точно то же происходит в настоящую минуту...было некое соображение но потерял всякое представление что имел в виду произнести как только закончил вступительную фразу насчет пушкина...

Мозги уже не так цепляются за возникающую мысль...как ласточки мандельштама из головы всё улетает на ходу...вероятно всякого рода идеи теперь для мозгов одно и то же... мозги уже хорошо знают чего стоят эти мысли и чтобы сохранить себе энергию не очень щепетильно относятся к задаче вовремя снять их с конвеера и положить в такое место где можно зафиксировать...

•

то что шмойс способен передвигаться уже само по себе повергает меня в ничем не омраченное восхищение...

он умудряется сохранять равновесие баланса на двух ногах...вы только попробуйте взять какую то вещь и поставить на двух точках контакта...она же сразу свалится на бок... потому что как минимум нужны три точки соприкосновения удержаться в вертикальном положении...а шмойс совершенно не задумываясь может спокойно идти себе вперед почти не шатаясь...кто мне скажет что в этом мало чудесного тот наверняка ничего не понимает и не пытается понять...

•

куди ни глянешь или что ни вспомнишь тоже заставляет испытывать высокое удивление... каждая мелочь при правильном

взгляде это же огромный неопознанный мир...вот только сейчас пришло в голову что уметь плакать это не такой пустяк...это скорей всего удивительное богатство...и пусть не подумают что я какой то циник если скажу что пописать тоже не так уж мало чтобы пренебрегать думая об этом как об чем то незначительном и не стоящим внимания...я вас могу уверить если бы лев николаич имел затруднение мочиться ему бы не пришло в голову себе самому плести лапти не говоря об том чтобы пахать целину земли его усадьбы...вагнер имел тяжелый желудок и ему не помогало его умение создавать драматизм в опере...он страдал не меньше чем гейне хотя у гейне были другие недостатки ничуть не мешавшие лермонтову переводить его стихотворение на родной отечественный язык...

•

только наша лень мешает нам ежечасно испытывать эйфорию эпифании...стоит только дать себе волю и сплошные радости нахлынут на вашу душу в каком бы отчаянии вы не пребывали...

допустим в настоящий момент вы испытываете страшную жажду...так вы идете открыть кран на кухне испить аш два о...вы себе представляете какое это наслаждение или вы себе не представляете...если вы себе не представляете то мне вас просто жалко...

теперь вообразите что вы углубились в текст лев николаича...и спустя пару минут в сердцах захлопнули страницы книги...это же роскошь такое себе позволить...у гете больше оснований возмутиться солженищкером но ему уже это не дано..даже если он начал читать солженищкера ему нельзя отбросить книжку испытывая законное возмущение...почему ему нельзя совершенно ясно и не требует объяснения...

•

лев николаич не стеснялся описаний своей русской природы...что бы другое его серьезно не терзало в текущий момент он всегда находил время великолепным образом словесно изобразить наступающую грозу или же утренний рассвет над пахучим летним лугом...он беспощадно не жалея себя обращал творческие усилия на чтобы выразительнее показать самым убедительным образом как роса на травинке в целом отражает мироздание в своей

прозрачной капле...будучи буревестником зеркала будущей революции он был вправе посвящать целую крупную главу описывая горизонты уходящие вдаль...чехов в этом отношении проявлен вероятно скромнее но и он тоже иной раз бил прямо в точку и давая одну острую деталь ландшафта понятным чудом добивался виртуального показа...гоголь богатым народным языком шикарно описывал обильное застолье и его ничто не останавливало перечислять многочисленные блюда вплоть до последней галушки вареников...вообще что я хочу сказать это то что в мире помимо грандиозных событий и отвлеченных тем существуют довольно незатейливые и приятные вещи и иной раз об них не надо забывать...крошка хлеба когда очень нужно может быть поставлена на один уровень с глыбой пронизательной мысли...



скажу что именно конкретно натолкнуло на эти размышления...меня всегда что то сдерживало лезть в чужие дела и совать нос в то кто чем занимается...я слишком предпочитал кружить вокруг да около возле так сказать возвышенного над обыденностью...романтизм во мне без спросу ночевал снимая угол в качестве квартиранта...лишь в избранных случаях когда меня органично задевало я пускался во все тяжкие стараясь навести порядок...безумная история отношений между дульф и шмойс живо трогала за трепетное сердце и возможно зря но я отдал этому достаточно много лишнего внимания...нечего говорить что когда то я должен был очнуться и критично отнестись к излюбленной манере пускать пыль себе же в глаза...

короче говоря на днях неторопливо беседуя с гиршой-хетом я вдруг правильно позволил себе поинтересоваться какие у него имеются мысли сообразить насчет текущего обеда... отнюдь совсем не потому что собирался рассчитывать воспользоваться его безотказным гостеприимством...на этот раз мой вопрос был абсолютно бескорыстен...гирш весьма охотно... правда не без нотки простительного тщеславия...со мной поделился сообщив что планирует готовить куриные печеночки на жареном луке...пребывая систематически на скудном меню мне теперь много не надо прийти в восторг...печеночки на жареном луке...я себя обнаружил почти снова в трогательно любимой одессе...всем свойственны определенные ассоциации...домашняя кухня...домашний уют...домашняя атмосфера...что может быть отраднее...память моя всколыхнулась

и мне даже как бы померещился слабый луч минувшего счастья...



я был изумлен...оказывается в мире еще сохранилось такое заповедное место где собираются готовить куриные печеночки с жареным золотистым луком...как будто ничего такого не произошло с тех пор как мы оказались в новом свете...чудесно что благодарная способность не забывает торжествовать сохраняя себя на торном пути пребывания уже в других довольно таки далеких краях...несомненно гириш еще по хорошему помнит чем давился в недрах южной красавицы но это ему не помешало сохранить вкусовые ощущения той поры когда основное время он еще щедро уделял полету мысли и вдохновения...

признаться я даже не подозревал что могу так растрогаться...действительно никогда не знаешь из какого угла на тебя дунет теплом...кажется мелочь...свежая куриная печеночка в жареном луке...но она подняла бурю нежных воспоминаний и волна благодарности тут же нахлынула перекрывая будничные невзгоды...я весь окунулся в блаженство и долгие счастливые часы вновь прекрасно сопереживал всё что доставалось мне на долю в этом аспекте...в результате несколько позже мне стало очевидно что мой фокус внимания насчет полетов в дебрях виляний между всякими противоречиями не стоит того что может дать даже воображаемый умозрительно аромат только что деликатно пожаренной куриной печеночки вместе с янтарю приготовленным луком...



теперь если мне вдруг захочется серьезно рассуждать я трижды подумая что ответственно выбирать и чему уделять напряженное внимание...хотя уже понятно что я бы многим не рискнул ограничиваясь домашним кругом...мне было бы только легче если бы чаще крутился рядом с тем что меня непосредственно касается...в конце концов я тоже готовлю из той же курицы и тот же лук в моей пищевой продукции играет такую же подобную роль... жаль что мне не пришло в голову стать пионером и предупредить гиришойхета в этом блюде из печеночки...но я ему уже столько раз уступал пальму первенства что мне уже не привыкать...на поприв-

ше кухни быть первопроходцем почетно но не так уж слишком... это меня не очень задевает...другое дело что он всё еще уверен что первый заранее меня сказал что он слепо считал себя идиотом не подозревая тот же симптом за большинством идущих навстречу... тут мой приоритет остается в силе что бы он мне не пытался доказывать прибегая к передергиванию явных фактов...



при всем уважении к вершинам пиков горных хребтов нельзя жить все время среди заснеженных скал вздыхая разреженным воздухом...в долине среди лужаек и прогалин рядышком с журчащим ручьем тихого озера всецело наслаждаясь гамом певучих птичек гораздо естественнее проводить дни нашей жизни...

находясь в городских условиях тоже можно сузить круг интересов не слишком растекаясь мыслию по древу...никто не запретит никому готовя себе куриную печеночку между прочим думать об судьбах или путях...одно другому нисколько не ставит палки в колеса... вполне возможно иметь прилив озарения именно тогда когда ешь селедочный паштет... ньютон был в вишневом саду когда ему пришла в голову идея гравитации...герцен на подмосковной горке случайно задумался и перед ним раскрылись перспективы будущего самоотверженно любимой россии...

неважно что затрагиваешь но крайне важно что из этого вытекает...всё как известно в одном и связано между собой...в альпах достаточно оступиться задев пару снежинок сугроба чтобы началось извержение обвалов...

нечего стесняться маленьких задач даже только в границах быта...шмойс находил со мной общий язык не тогда когда терзал дульфика а тогда и только тогда когда позволял себе прослезиться перед тихим натюрмортом шардена...если настоящее существует то это далеко неважно в какой частичной форме разновидности... хорошие стихи пастернака чаруют не хуже куриной печеночки в кусочке поджарого лука...я что то не припомню чтобы меня в последнее время даже из классики так тронуло как это облако высокого гуманистического уюта когда гирш мне сообщил что куриная печеночка с жареным луком у него на примете...

не побоюсь сказать что в ряду других дорогих воспоминаний я бы хотел унести с собой в могилу и это ничем особым непримечательное но изумительно благотворное впечатление... неиссякаемые источники радостей нас ожидают где угодно и нам только

нужно дать себе волю с открытой душой погрузиться полностью во власть ответной благодарности...

•

Дело прежде всего не в чистом разуме который применительно к практически живому человеку имеет только сугубо теоретическое значение...

сам кант в быту предпочитал чистым разумом не пользоваться оставляя его на рассмотрение исключительно в те академические часы когда он мог сосредоточиться на том что его касалось в основном на умозрительном уровне...

чистый разум при посещении таверны где ученому нравилось попивая пиво слушать басни моряков дальнего плавания был бы мыслителю в качестве и роли потребителя непреодолимой помехой для такого рода времяпрепровождения...

шопенгаур при всем почтении к канту тоже не терял голову на этом заурядном уровне когда ему припекло от одной соседки настолько что он ей нанес повреждения спустив с лестницы...даже потом выплачивая ей пожизненную пенсию он если и осуждал себя за поспешную реакцию то только исходя из предпосылок простого здравого смысла...и это не удивительно потому как чистый разум все равно бы не позволил себя вмешивать в процедуру самобичевания...

В данную минуту я нисколько не пытаюсь привлечь чистый разум к решению накипевшей задачи коя принципиально относится лишь в категории проблем решаемых обычным головным мозгом специально созданным природой для преодоления насущных требований...

•

думаю что не ошибаюсь...если бы я эту головоломку поставил перед чистым разумом то он бы даже бы не понял что от него хотят настолько это далеко от бескрайних просторов абстрагированного мышления...

единственный выход поручить это здравому смыслу...но только на первый взгляд можно на него сразу положиться потому что он в такой позиции что никогда ничего не делает без оговорок

постоянно взвешивая все да и нет...

простейший вопрос только что ему заданный пойти купить шкалик или не пойти купить шкалик вызвал почти бурю дискуссии...и вот я уже целый час жду когда здравый смысл разберется между двумя противоречащими тенденциями...

•

уже в первую минуту половина здравого смысла потребовала от меня причин желания себе замутить голову...я с полной готовностью тут же подробно перечислил весь реестр своих чувств не упуская массу эмоций...эта часть здравого смысла весьма доброжелательно выслушав проголосовала в пользу пойти купить шкалик...но вы уже заранее поняли что вторая половина здравого смысла настроена против даже не потребовав от меня документации оправдывающей мое стремление воспользоваться шкаликом...

и вот в результате они вырывают друг у друга весы правосудия а я тут должен сидеть и молча дожидаться вердикта...

•

кто то может скажет что-нибудь насчет компромисса...но где его найти в этом мире контрастов где черное это черное а белое наоборот...принимая пожелания обеих половин здравого смысла я одновременно должен лететь как на крыльях в винную лавку и сидеть на месте не смея даже рыпаться...гамлету было легче...у него все таки был выбор...или или...

•

тем кому несколько любопытно чем же кончилась конфронтация я скажу только одно... чем меньше в таких случаях знают тем лучше для консолидации общественных отношений...помимо всего это совершенно неважно и уж во всяком случае вне компетенции чистого разума...

•

лучше всего вообще не говорить...и если уже молчишь так молчать о том что как то греет душу...найти что греет душу не всегда так легко как кому то может показаться но при всем при этом в какой то степени это возможно и нужно не упускать момент внутренней готовности стараясь охотно без сопротивления быть настолько отзывчивым насколько это пребывает в разумных границах...

главное не смотреть в пропасть...иначе спустя короткий момент пропасть начнет смотреть на тебя и гипнотизировать магнитным взором угнетающего ужаса с которым не всегда есть возможность справиться...молитвенно поднимать очи страстные гораздо надежнее сразу тут же погружаясь в бездонное небо где очаровательные скопления облаков вселяют если не надежду то определенное количество терпимости к преходящим превратностям обычной повседневности...

•

у небес не всегда все ажур...синь да гладь долго не держатся...там идет все по их распорядку и к вечеру при всей тяге к возвышенному невозможно отыскать в зените ничего кроме крошечной темноты созревающей ночи особенно если туманы туч затмевают яркие звезды...

это уже не купол а крышка которой придавлен остаток вечера...

остается только открыть канта и уйти в беспредельность чистого разума...но это легко сказать...здравый смысл ставит препоны ссылаясь на более неотложные вещи...как ни крутись надо что то делать для себя лично...где то требуется иногда сводить концы с концами не имеющими непосредственно отношения к вечности...

•

кажется выхода нет...или пойти в пивнушку образно говоря так про социальную жизнь или же наконец то таки спустить с

лесенки соседку...

опять здравый смысл начинает качать права растягивая в разные стороны...

в результате ты снова грустно смотришь на дорогу не только в стороне от подруг...ты сидишь отчаянно выжидая время когда глаза начнут слипаться чтобы света не взвидеть и не чувствовать что трагизм жизни у тебя висит прямо на руках тяжелой поклажей и большим грузом...

•

в тягучей тишине сначала тоненько но потом все громче и мощнее начинают звучать звуки вроде неземной музыки постепенно через визуальный ряд туманных видений переходящие в формулу благодарности когда все элементы конкретики освещаются лучезарным светом...

оркестром маленькой любви с большой буквы управляет не кто иной как гиришохет...он стоит спиной к твоему зрительному залу но чисто интуитивно чувствуешь что его лицо светится...и вероятно те мельком пробегающие рефлексы на тяжелом заднике бархата это следы гиришохетного озарения во всей протяженности...

на душе становится как никогда спокойно...боже мой...на щеках слезы...они струились а я даже не знал...

•

утречком я себя обнаружил крепко выпавшимся в полном обмундировании...странно почему прежде чем лечь в постель я не позаботился снять одежду...это уже некрасиво и говорит о пренебрежении к чистоплотному поведению...

•

Так холодно что зябко не то слово...зачем же говорить если трудно найти подходящих выражений...а зачем спрашивается мол-

чать если не та ситуация когда это идет на пользу... кстати между прочим кто знает когда человек таки говорит а когда он таки молчит... подавленное молчание может быть так же красноречиво как невразумительна торжественная речь...и разве всегда себе понятно что сам изволишь говорить вслух...и разве не бывает что звука не слышно а губы шевелятся...и разве вообще дело в словах... когда холодно лучше всего просто содрогаться в полном безмолвии...зачем нужно констатировать...зачем нужно обязательно высказывать что и так достаточно ясно...тебе холодно так сиди и радуйся что ты это еще чувствуешь...гёте мог бы довольно красочно не лазя в карман столько поведать как ему сейчас студено...но он на это не идет потому что он хорошо знает ему уже больше никто не поверит...более того...представь себе что твой холод для гете выйдет как теплая ванна...какая бы причина не была но не слышно чтобы гёте хотя бы пикнул...надо же что то понимать прежде чем дать себе разрешение на примечания к своему самочувствию...ты уже не в положении ребенка которому кажется стоит ему заплакать и помощь обеспечена...ты уже зашел так далеко что имея бубу какого то неприятного ощущения никакие утешения со стороны старших тебе ничем не помогут... я тебе скажу тихо без нажима что при страдании сегодня только поцелуй смерти может тебе принести настоящее удовлетворение...если ты этого жаждешь то так и скажи...а если тебе еще не печет так нечего пускать на ветер свои жалобы...

ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВ
УСТАВ ОТ ИСТОКОВ ДО УСТЬЯ

• • •

Олегу Охаткину

Среди полночной стрекотни существ незримых
вдруг ужаснёшься – как они проводят зиму?
Когда безмолвием объят весь мир подлунный,
где эта армия цикад живёт бесшумно
и прячет простенький мотив от всех на свете
под слоем снега, схоронив рулады эти?

Где затаилась красота? В пустоты? В щели?
Какие тайные места мы проглядели,
пещерный опыт затаив внутри сознания,
себя навек отгородив от мироздания?

Не плачь и слёзы оботри в преддверье стужи,
на всё, что знаешь изнутри – взгляни снаружи.
Никто нигде и никогда не ставил точку...
Слоится воздуха слюда, и оболочка
сползает, больше не нужна, как слой хитина.
Ведь лишь душа обнажена, лишь сердцевина.

Нас время пестует, оно почти бесплотно,
пока в себе заключено бесповоротно,
и бесконечно, словно взгляд в такие дали,
где нет препон и нет преград.
И жизнь – в начале...

• • •

Ключок земли с водою вровень,
настил из почерневших брёвен...
Гляжу сквозь зелень тростника
на белый столбик поплавка...

Край неба ало набухает
и солнце явится вот-вот.
Оно не всходит, а всплывает
из глубины Онежских вод
по всем законам Архимеда...
И начинает пришекать.
Вокруг такая благодать!
Куда, зачем я завтра еду?
В Санкт-Петербург, потом в Москву,
на Переделкинскую дачу...
Здесь я воистину живу.
А там – я ничего не значу.

• • •

Магия чисел. Воистину магия –
сколько же раз выводил на бумаге я
странные палочки, крестики, нолики...
Вспомнится счёт ресторанный – за столиком
долго сидел наскребал чаевые...
Нам не впервые

Вспомнятся корни – такие квадратные.
Вроде извлёк, а попробуй обратно, и –
сумма начальная не получается.
Так уж случается.

Вроде в уме перемножил – всё правильно.
В столбик проверишь, чтоб было по правилам, –
вновь не стыкуется, снова не сходится.
Было в уме, да никак не находится.

Вот вам итог – обязательно прописью.
Подпись. И новый итог, вслед за подписью,
всё зачеркнув, доверяю бумаге я...
Магия... магия...

• • •

Ты не пишешь день, ты не пишешь два,
ты не пишешь месяц... Твои слова
застревают где-то. Былая взвесь
выпадает в осадок. И вот ты весь
подсыхаешь строчкой черновика.
Только строчка твоя – не строка пока.
Ей ещё до строки расти и расти.
Не размером, Господи упаси,
но чтоб даже осадок усох, тая
заострившиеся свои края.

Совершенство это и есть – предел.
Сколько ж строк я в жизни не дотерпел,
не сумел спасти, не довёл до ума,
чтоб усохли так же, как жизнь сама,
усыхая, делается судьбой...
Боже мой!

• • •

Ночной грозой разбужен, прогнав кошмарный сон,
лежишь... А там, снаружи, – ревёт антициклон.
Колеблются основы смещением лавин,
рождая звук и слово – причину всех причин.
Весь мир, ещё безликий, пока не изречён,
колеблется на стыке разрозненных времён.
Превозмогая хаос, молчание и смерть,
что жизнью притворялась, подрагивает твердь.
Живёшь, но в пол накала под молнией сквозной...
Прошло...
Отгрохотало...
Промчало стороной...

• • •

Вспомнится первый урок труда –
из дому я принёс тогда:
ниток клубок,
рванный носок,
перегоревшую лампочку, как велела
Анна Петровна. И ведь сумела –
за один урок научила нас штопать.
Этот опыт
всем пригодился с годами...

Помню – показывал маме
носок, заштопанный собственноручно.

Нынче в школах такому не учат.
То ли перегоревших лампочек мало,
то ли дырявых носков не стало...

А всё ж – вспоминается иногда
Первый Урок Труда.

• • •

Устав от истоков до устья,
подобно негромкой реке,
в себе отразишь захолустье
с церквушкою на бугорке,
и каждой проточной минутой
попробуешь втайне понять
тень берега, где почему-то
течение движется вспять.
Потом ощутишь, что невольно
и сам замедляешь свой бег,
поскольку и стыдно, и больно...
А ты – человек...

ЕФИМ БЕРШИН

ВНЕЗАПНО РАЗРЫВАЯ ТЬМУ

• • •

1

Самоубийство
длиною в апрель,
прыганье в окна,
печатные лица,
дни, близорукие, как нонпарель,
с полуистлевшей газетной страницы.

Женщины – вскрытые вены весны.
Кровью – в тумане,
как в смоченной вате,
падают вниз на качелях вины,
определяя, кто виноватей.

Кто виноватей, безжалостней?
Кто молча уходит в разбухшее поле
так, как с крючка опадает пальто,
не достигая заветного пола.

2

Женщина в доме – ни дочь, ни жена.
Дочь и жена в двуедином наряде.
Бродит по дому живая волна,
словно сирень в придорожной ограде.

Бродит свобода, как бродит вино,
распространяя божественный запах.
Все облака улетают на запад.
Или уже улетели давно.

Женщина в доме. Апрель. Кутерьма.
Я задыхаюсь в свободном полете,
не осознав, что свобода – тюрьма,
скрытая в камере собственной плоти.

Впрочем, ни дома уже, ни жены.
Все растворили апрельские воды,
вдруг обнажившие лик сатаны
на оглушительной свадьбе свободы.

• • •

Я в луже на Тверской разглядываю гордо
четвероногий стан, посадку головы –
нет, весь я не верблюд, а лишь – верблюжья морда,
жующая туман на улицах Москвы.

Я прячусь за стеклом,
и в телефонной будке
меня уже никто на свете не найдет,
хотя пустой трамвай трезвонит о побудке,
и гонится за ним вихрастый идиот.

Нет, весь я не верблюд!
Еще душа под утро
блуждает за окном, отбрасывая тень.
И обещает ночь разливом перламутра
и старый Новый год, и скорый новый день.

И первый солнца луч выглядывает справа,
как розовый язык – назойливой судьбе.
Свершается рассвет.
И, как былая слава,
болтается фонарь на спиленном столбе.

• • •

Виталию Дмитриеву

Внезапно разрывая тьму,
прохожий освещает полночь.
«Бог в помощь», – говорю ему.
Он откликается: «Бог в помощь».

Пересекая грязный двор,
мы разбредаемся степенно
по городу,
где каждый – вор,
а нет – так станет непременно.

Где пьет с собаками поэт,
где отрешенно каждый вечер,
войдя в квартиру, гасят свет,
а уходя – вздувают свечи.

Где женщина меж двух витков
судьбы,
среди вселенской стужи,
на переломе двух веков
спокойно собирает ужин.

Бог в помощь, город у реки.
Бог в помощь, друг мой.
Жизнь прекрасна!
И я не протяну руки
тебе для помощи напрасной.

Ты знаешь, что не превозмочь
больную,
страшную свободу,
что Бог не в силах нам помочь –
мы сами помогаем Богу.

1998

• • •

Воры – воры.
И судьи – воры.
Судьи – воры.
И воры – судьи.
Или судьбы – как приговоры,
или сроки длинней, чем судьбы.

Или улицы – как темницы,
или комнаты – как остроги,
а любимые – как убийцы
с кистенем на большой дороге.

Храмы – тюрьмы.
И тюрьмы – храмы –
серебром горят тополиным.
И луна – как зрачок охраны,
зарешеченный майским ливнем.

И, насаженная на палку,
голова безнадежно спит.
Господа, заберите пайку.
Я сегодня по горло сыт.

• • •

Григорию Померанцу

Загадка снега – теорема духа.
Не доказать за недостатком формул.
Мир занедужил.
Суть его недуга –
размытость формы.

Все принимает форму снега. Ибо
без снега все – бесформенная груда
предметов.
Так бесформенная рыба
к рассвету принимает форму пруда.

Так мать с годами примет форму сына.
Так стынет в форме инея дорога.
Так ходят в лес молиться на осины,
застывшие под снегом в форме Бога.

• • •

Затхлый запах бездонности –
сквозняком – по душе.
Ощущенье бездомности
не покинет уже.

Но как ветер за ставнями
или пес в конуре,
как случайно оставленный
патефон во дворе,

я играю и вроде бы
я пою и верчусь -
певчий пасынок родины.
За нее, как юродивый,
я еще расплачусь.

1998

• • •

Опять горнист исход трубит,
подталкивая к землям дальним.
Но тополем пирамидальным
я насмерть к берегу прибит.

Пространство – фикция. Оно
к себе притягивает страстно
лишь тех, которым не дано
перемещаться вне пространства.

И лист тускнеет, как медаль,
в грязи родного бездорожья.

Но он не улетает вдаль -
он умирает у подножья.

1999

• • •

Пока во мгле, подобно чуду,
звезда над Сретенкой горит, -
допить вино,
разбить посуду,
все распродать иль подарить,

и, пальцы в голову вонзая,
прощаться,
плакать без стыда,
купить билеты у вокзала
и... не уехать никуда,

допить вино,
глядеть покорно,
просить прощенья в темноте,
захлопнуть дверь
и спать спокойно
с вязальной спицей в животе.

1992

• • •

Покуда снег белил ворону
на самой маковке креста,
затягивала, как в воронку,
пугающая пустота.

И слепленные, как из ваты,
из этих снежных облаков,
белели в поле две кровати,
ночник и пара башмаков.

Мы были временем без места.
И, дотянувшись до небес,
шумел, как праздничная месса,
еще не вырубленный лес.

Мы долго елку наряжали.
Шел снег. И ночь сменялась днем.
И стыли на снегу скрижали,
начертанные вороньем.

• • •

Я только гость на этой снежной
земле.
И до исхода дней
я вечно тот, кто вечно – между
чужих бунтующих огней.

Но мне понадобились годы,
чтобы понять наверняка,
что в детстве пил пустую воду,
взамен грудного молока.

Что мне по праву первородства
не горсть досталась ячменя,
а злая участь инородца,
в ночи укравшего коня.

Что унесла меня не вера,
не мысль случайная, не цель –
я унесен порывом ветра
в слепую белую метель.

Уже не знаю: был ли, не был,
или придуман был тобой.
Как звук, исторгнутый трубой,
блуждаю в опустевшем небе.

Я выпадю тебе, как иней,
как снег, летящий в створ фрамуг, –

красивый, кареглазый и не
принадлежащий никому.

Чужие небеса

Маргарите Крапчан

Ты помнишь старый сквер на берегу лимана?
Сочился из окна задумчивый кларнет.
И пахло сентябрем.
Но из-за океана
ты помнишь этот сквер?
Его сегодня нет.

Ты помнишь этот дом? И за забором, рядом, –
еврейские зрачки продолговатых слив?
И плакала лоза осенним виноградом.
Ты помнишь этот дом?
Его уже снесли.

Ты помнишь тихий Днестр в эпоху листопада
и лодку, что тайком забила в камыши,
и девочек в трико... и мальчиков...
Не надо.
Не надо вспоминать.
Они уже ушли.

Ушли. И никуда от этого не деться.
И тополиный мир, пропоротый насквозь,
как тот футбольный мяч, что мы гоняли в детстве,
скукожился и сник, насаженный на гвоздь.

И стайки воробьев, трещавших без умолку,
как взрывом отнесло за близлежащий лес.
Ты думаешь легко бездомному осколку
рассеянно скользить среди чужих небес?

А надо мной – сугроб. И тучи – как из стали.
И чудо из чудес: коты загнали пса.
А, впрочем, напиши. Я думаю, доставят
по адресу: Восток, чужие небеса.

ФЕЛИКС ЧЕЧИК**ЭСКИЗЫ**

1.

оскоминный зелёный
антоновский налив
резонно думать склонный
скорее мёртв чем жив
не белый скороспелый
сентябрьский почти
огрызок жизни целой
вставанием почти

2.

паутинная заплатка
на малиннике в лесу
совершенство беспорядка
в память сердца занесу
из июля в август дверца
приоткрытая слегка
сладко тает льдинка сердца
в жарких лапах паука

3.

белая кружка с каёмкой
как небеса голубой
музыкой светлой негромкой
ангел парит над тобой
детство но вдребезги кружка
непроизвольно сама
жизни утруска усушка
и горизонта кайма

4.

лоза орешник ива
апаши чингачгук
и дефавская дива
и прерия и стук
копыт в конце июля
по пыльной мостовой
где разминулась пуля
с горячей головой

5.

я речной песок
заклучил в сосуд
и проснулся в срок
но уже не тут
а проснулся там
а очнулся – где? –
и с отцом считал
ряби на воде

• • •

Переливающихся рос
осеннее стекло
я утром из лесу принёс
в домашнее тепло.

И наяву увидел сон
о том, что жизнь прошла,
под бесконечный перезвон
разбитого стекла.

• • •

Е. Елагиной

Это – не ветер и холод, –
Ветр – скорее и хлад;
надвое – взят и расколот
временем Санкт-Ленинград.

Время. Ворованный воздух.
Еле заметный дефис.
И через тернии к звёздам, –
лестницей Якова – вниз.

• • •

слова растерялись не зная куда
идти очерёдность забыв
уселись как вороны на провода
и перевирают мотив

растаяли знаки которые «пре»
пеняя теперь на меня
как путник в ночи и как снег в ноябре
как хворост в объятьях огня

• • •

Говорить на весеннем, на птичьём,
на оттаявшем языке,
и своим поступившись «величьем», –
стать воробышком в детской руке.

От любви и от страха зажатым
чуть не до смерти. И не дыша,
дорожить равновесием шатким,
как последним причастьем душа.

• • •

Хлеба и зрелищ.
Зрелищ и хлеба.
Ты не поверишь, –
это всё – небо.

Небо июня
в доле мгновенья
от полнолуны
или затмения.

ОЛЕГ ДОЗМОРОВ
ОДНА ДВЕНАДЦАТАЯ ДНЯ

• • •

Ночь. Два ноль пять. стакан кефира.
В стихах несовершенство мира.
Пленявшее романтиков
ничто. Случайные детали:
на вешалке пальто, сандалии
в углу, пакеты ботишков.

Да, мир есть хлам. Как этот пластик.
Как бог, поэт лишь ономастик.
Он номер два и он умрет.
Слова, как правило, случайны.
“Жизнь”, “тайна”, “сон” - необычайны
и пошлы, Пушкин – идиот,

болтун, языковая личность.
Всем правит выручка, наличность.
Есть книжный рынок и язык.
Его мы проходили в школе.
Стихи мы пишем поневоле.
Наш мир – финансовый арык.

Язык – он совершенство, дети,
посредством гения-поэта
он разбирается с собой,
он улучшается. В квартире,
в семье, на производстве, в мире
я одинок. Ночь. Три. Отбой.

ARS POETICA

Александру Леонтьеву
Когда четырехстопным ямбом
долдонит муза по мозгам,
когда икеевская лампа
лучом стреляет по глазам,
не буду врать, что нету денег
(к чему художественный свист?),
что романтический бездельник
успавился на чистый лист
мерцающего монитора,
что там стихи, а раз стихи,
то башли, видимо, не скоро...
Все это вроде чепухи.
Но если так, пора на службу!
Писать от двух до четырех
элегий в месяц, к черту дружбу
с девяткой встрепанных дурах.
Смирись, все это, в общем, тоже
есть форма жизни на земле,
где ты прохожий, а прохожий
мечтает только о тепле.

• • •

Живу в Перово нехерово,
на самом первом этаже,
проснувшись, различаю слово
прохожего и страх в душе.

Иду в облупленную ванную,
одновременно туалет,
живу свою пустую, странную
и ем пельмени на обед.

Все это ради экономии
душевных сил и прочих средств,
а вовсе не из антиномии
души и тела, тьмы и звезд.

Метафизически оправданной,
онтологически простой,
порой ритмически предзаданной,
порой лирически пустой.

• • •

Гори, аптечное стекло,
бог вывесок, неона тлен.
Косноязычие всего.
Реклам и вывесок Верлен.

Набор наличествует: ночь,
аптека, улица, фонарь.
Он тавтология точь-в-точь.
Все повторяется, как встарь.

Свет круглосуточных аптек,
ночных киосков хоровод,
где человек не человек,
но бутерброд есть бутерброд.

Я на автомобиль смотрю,
плеснувший грязью из-под шин,
пивной бутылке говорю:
как ты, разбита только жизнь.

Дезориентирован сперва,
перехожу скорей на ту,
где зажигаются слова.
Все прочее – литература.

• • •

Пойду пройду в Перовском парке
как молодой пенсионер.
Начну октябрьский день с помарки –
стихотворенья, например.

Такая за спиной эпоха
из поэтических эпох,
что кое-что припомню плохо,
а многое припомнить мог.

Вину, досаду и обиду,
долготерпенье, наконец,
существовать, не выдав виду,
что в каждом зеркале мертвец.

Все как-то поздно начиналось,
а ты и вовсе не помог.
«Будь проклята моя усталость», -
произношу под говорок

детей, ворон, аттракционов,
что будут скоро на замке.
Зима наступит. Время оно
все вертится на языке.

• • •

Ежик и божья коровка,
две черепашки - фарфор.
Есть меховая тусовка:
заяц, мартышка, трезор.

Есть симпатичный лосенок,
впрочем, он мне надоел.
Видел сегодня спросонок:
на пианино сидел.

Впрочем, из всей камарильи
он-то единственный мой,
а не жены: подарили
на день рожденья. На кой?

Он одинок и несчастен,
взор его мрачен и сер,
словно лосенок причастен
к кукольной музыке сфер.

• • •

Как публики унылы лица,
что опускается в метро.
Ей срочно нужно изумиться,
но всё как минимум старо:

я, жлоб с журналом, дама с книгой,
две школьницы, трудяг семья,
опять читательница Кинга,
с журналом жлоб и снова я.

Мне это тоже надоело:
разглядывать рекламу, ныть.
Да, в мироздании заело
колесико. Вам выходить?

• • •

Живу меланхолическим маркизом:
встаю в обед, включаю телевизор,
жду новости, а тех приличных нет,
на завтрак ем, что должен есть в обед.

Пью кофе, сочинительствую, рифмы
нанизываю, но звонят из фирмы,
«Когда придешь?» коварный свой вопрос
мне задают, свой любопытный нос

суют куда не просят, мне забавно,
жена шлет смс про сапоги,
потом напоминают про ОГИ,
куда мне неохота и подавно.

Разрушен поэтический досуг,
который я не покладая рук
выстраивал, распался мир поэта,
разгневано дитя добра и света,
бьет кулаком и плачет Лалла Рук.

• • •

В Петровском парке люди и машины,
и никаких тебе самоубийц.
Ну что ж, ну что ж. Ошибся Ходасевич.
Два-три собаководы на поляне
выгуливают каждый своего
четвероногого товарища. Укусит?
Нет, не укусит. Слишком занят делом
своим собачьим. Важные дела!
Подробен разговор собаководов
о корме, вязке, дрессировке. А
вверху переговариваются
бесчисленные черные папахи
ворон. Аллеями автомобили
бегут. Парк состоит из островков
травы, кустов, асфальтом отделенных
друг ото друга. Очень скучный парк.
Здесь нет скамеек и пенсионеров,
мамаш с колясками и выпивох.
Здесь не сдаются нормы ГТО,
влюбленные здесь встреч не назначают.
Парк очень темный, потому что кроны
плотнейшие у пожилых деревьев –
тяжелых лип, дубов и мрачных вязов.
А в общем-то вполне нормальный парк.
Удобен ли он для самоубийства?
Я не берусь судить. Пожалуй, да.
Хотя б в том смысле, что, когда задумал
всех напугать и удивить изрядно,
то лучше уж действительно сюда,
тем более, когда уж все равно,
как, чем, при ком, чего посредством, где
разыгрывать безволия спектакль.
Ведь суицид есть равнодушие
и злость? Собаководы помешают?
Они не помешают никогда.

• • •

Одна двенадцатая дня
в метро проходит у меня.
Прилежно два часа сижу
и на таких, как я, гляжу.

Итак, выходит, месяц в год
в вагоне у меня пройдет,
а из шестидесяти пять
чудесных лет пройдет опять.

Мы едем, едем под землей
туда, седой, где нам с тобой
за стопроцентно рабский труд
раз в месяц деньги выдают.

• • •

Накарябать великий роман,
на худой конец – хрупкую повесть.
Зависть, дружба, любовь и наган.
Смерть героя и чистая совесть.

В тридцать лет возвращаешь билет –
глядь, последняя касса закрыта.
Хмурым утром сварганишь сонет –
строк четырнадцать, сердце разбито.

Поздно, поздно. Святое нытье.
Никому оно на фиг не нужно.
Нужно слово. Любое. Свое.
По возможности чтоб ненатурно.

Нет, чужая какая-то грусть,
интонация, темы, мотивы.
Лучше в прошлое снова забьюсь,
где мы все гениальны и живы.

Самолетик по небу летит.
Клонит лирика в честную прозу.
Дай мне, муза, последний кредит –
злые мысли и чистые слезы.

• • •

Топчись под балконом Джульетты
в толпе европейских зевак.
Культура – большая конфета,
особенно если за так.

Как девка, красива Верона,
наносит всем чувствам урон.
Уходит японка с балкона,
чухонка спешит на балкон.

Какой-то он маленький, низкий,
и рядом косое окно.
Зачем-то пускают туристов,
а впрочем, не все ли равно.

Кого-то волнует пыланье
и смерть через тысячу лет.
А в общем-то глупость, преданье.
И где тут вообще туалет?

• • •

Сидят рядком у автоматов,
кольцом стоят вокруг столов
простые русские ребята,
священнодействуют без слов.

Сюда захаживаю часто,
так, мимоходом, посмотреть,
шутя, на пыл энтузиастов,
на скуку смертную, на смерть.

Все тщетно, ну а то, что выиграл,
ты проиграешь все равно,
в какие бездны бы ни впрыгнул
в районном нашем казино.

• • •

А.Пермякову

Хрестоматийная аптека,
разлитый в воздухе бензин,
поэт пластмассового века
идет в ближайший магазин.

Он созерцатель, меланхолик,
снов наблюдатель наяву,
слов развязавший алкоголик,
лелеет новую строфу.

Общеизвестные секреты,
общесформатные грехи.
Раз в месяц считывает где-то
очень хорошие стихи.

• • •

Предметам, где душа и слезы,
меня брат Пушкин обучал,
однако в денежных вопросах
всегда Набоков выручал.

В зеленом томе деньги прятал,
а синий за полночь читал,
над строчкою бесценной плакал,
а днем о «зелени» мечтал.

Всерьез мечтал, а не игриво,
не так чтоб чувством обеднеть,
но как-то весело, красиво
разбогатеть, разбогатеть.

• • •

В египетском заныла голова,
а в греческом так ноги заболели,
что, милые товарищи, едва
доковылял до Рима, в самом деле.

А нечего, блин, жадничать. Иди,
Вермеера найди отдельный зальчик
и там одну картину погляди,
гордясь самим собой, культурный мальчик.

И правильно. Ведь что есть красота,
и почему все на нее глазуют?
Музей она, в котором суета,
или поэт, гуляющий в музее?

ЕЛЕНА ТИНОВСКАЯ
ЗДЕСЬ, В КОМНАТЕ, В ЗАРЕ И ДУХОТЕ

Дверь в потолке.

«о метафизике
и метафизиках..»
Б.Рыжий

«Небесный мёд почувяв,
Цветов забыли дань мы.»
Мартинус Нейхоф

Ганновер.

Проклятый грипп! В жаре и духоте,
Еще накрывшись ватным одеялом,
Читать, читать... Философы – все те,
Чьих книжек здесь навалом,
Мечтатели, податели идей,
Герои независимых воззрений.
Совсем как этот.. короля чертей
Из преисподней выманивший гений..
Упорный Фауст, бодрый пешеход!
Куда идешь? Уж города не видно.
Там впереди никто тебя не ждет,
А с полдороги возвращаться стыдно.
Раскинь умом, чтобы понять того,
Кто создал мир и миром управляет.
Ты должен стать величиной с него.
(Чего нам всем как раз и не хватает...)
Вернись домой, скажи: «Мне скучно без
Живых цветов на влажных луговинах.
Без звонов колокольных, даже без
Окорочков в колбасных магазинах,
Без ярмарки зимой под Рождество,
Где всюду продуктовые палатки

Ты сам загадка. Как понять того,
Кому земные радости не сладки?
Что разве мало славы и ума,
И девушки со строгими глазами?
Ох, мало..Мало.. Обступает тьма.
Ты вдаль спешишь. И нет тебя меж нами.

Екатеринбург.

Небосвод уральский влажный,
Дом двенадцатизтажный,
Из окошка вид неважный:
Парк и стройка на углу.
В парке – урки и маньяки.
Из подъезда – вонь клоаки:
«Алконавты» и собаки
Вечно гадят на полу.

Ну и что? Вы это бросьте...
Все же мы не гложем кости!
Все же к нам приходят гости!
И особо по ночам...
Открывают двери сами.
Самодельными ключами
И за лунными лучами
По циклёванному полам...
Входит Шестов в мятой «кипе»
С инвалидной коляской,
А в коляске кто-то Бледный,
Знаменитый и больной...
Шестов говорит поспешно:
«Ах, он болен, зол, конечно!..
Не суди его поспешно.
Ты какой-то сам такой...»
Бьют куранты. Входит банда
Почитателей таланта.
Два каких-то дилетанта,
Кто-то с пивом, со стиха...
Девки прыгают на шею:
«Разводися со своею...»
Бледный в кресле: «Поздравляю!

Обложили, как лоха!»
И опять же, вы не правы
В том, что нет на них управы,
Я их вызвал для забавы,
Ну-ка, встали в хоровод!..
И пошли с носка на пятку!
Ты – юлой! А ты – вприсядку!
Покажи свою тетрадку...
Наша школа, так-то вот!
Утром в доме тихо-тихо,
Спит жена под одеялом,
Над уродливым кварталом
Солнце серое взошло.
Человек идет умыться,
Мылит руки жидким мылом,
Смотрит в зеркало, где Бледный
На него кривится зло.

Письмо.

«Мой добрый Ницше, чем не выход?
Порой болезни и нужда
Так ограничивают выбор,
Что выбрать нечего, тогда...
По эллиптической орбите,
Промчавшись сквозь небытие,
Вернуться «в этом самом виде»
В живое прошлое свое,
Впервые встретить возле дома
Свою красавицу-жену –
Не инженершу из «Газпрома»,
А просто школьницу одну,
В крахмальном фартуке с бантами.
И, одурев от тех бантов,
Под ручку с ней пройти «с понтами»
Мимо завистливых кентов,
Которые – опять живые – стоят и курят за углом
В «доперестроечной» России
В уютном будущем быллом.

Снова Екатеринбург.

А почему тогда он приходил
И мне с такой тоскою говорил,
Что совершил ошибку, обманулся?
«Ну да... Поторопился, совершил
Ошибку. Я бы к вам теперь вернулся,
Когда бы мог». Молчали полчаса.
Тут постукал он пальцем по запястью,
Мол, время, мол, какой-то высшей властью
Отпущен он всего на полчаса.
Звучали в коридоре голоса.
Спросила медсестра: «А Ивановой
Прописан что ли галоперидол?», –
У медсестры другой. А та в столовой
Подносами гремела. – «Ивановой?
Прописан, да...» И тихо он ушел.

Сны

Когда вспомнишь дорогих умерших
И с ними цепь событий безвозвратных,
Годами ищешь к ним путей обратных
В тяжелых снах. Поэтому, во-первых,
Ты пьешь немало дорогих снотворных,
А во-вторых, прилично заливаешь «за воротник».
Напрасно призываешь... Лишь иногда
Цепочка теней черных мелькнет в глазах,
Когда опустишь веки...
Далёкие, родные человеки,
Вернитесь, пожалуйста, разделите мою любовь,
Утрите слезы эти!
Когда мы были глупыми, как дети,
Нас призраки загробные пугали.
Мы, трусы, даже не предполагали,
Что будет день, настанет час, когда мы
Любимых призывать из черной ямы
Начнем и обращаться к ним с мольбою,
Чтоб, уходя, забрали нас с собою...
Не забирают. Видно, не желают

Нам зла и сны такие присылают,
Где солнцем ослепительным залиты
Весенний сад, где зеленью увитый
Высокий куст, осыпанный сиренью.
Без тени. Друг! Ты мог хотя бы тенью
Куста в свой сад, по моему хотению,
Войти в мой сон о дорогих умерших,
В желанный сон, один из самых лучших
И горьких снов.

ЕВГЕНИЯ РИЦ

МОЯ СТРАНА, ПОКРЫТАЯ ЛЕСАМИ

• • •

Храни нас, некрасивых и немолодых,
В твоих ладонях узловатых
И некрасивых, и немолодых.
Куда мы денемся на запятых
Из виноватых?

На небе – точки, точки и тире,
В воздушном тире,
В праздничном припадке.
Всё плотное, как водится, тебе,
А нам – осадки.

Оса и шмель, и прочая трава –
Что там ещё томится в арсенале?
Храни нас, как предметы и слова,
Под именами.

• • •

Лёд зимой стоял, а летом бежит река,
Так же после то, что бежит – встанет.
А что со мной станет,
Когда меня не станет,
Я не знаю пока.

– Пока, пока, – кричит небо облаку,
Пока то проливается, улетаю,
А я иду по земле, по её суховатому облику,
И она подходит мне, как влитая.

• • •

И темнота, плывущая вдоль края
Ещё земли, уже другая,
И дождь другой, и даже дрожь другая,
Ещё дороже, но уже не дорогая.
На самом горизонте догорая
Летит Земля в пространство от земли,
Ещё чуть-чуть, и кажется пора и
Тебе и мне ложиться, как легли.
Легки, легки, но сонный воздух легче,
И подбородок, ищущий плеча,
Ещё не колет, но уже калечит
И прожигает на манер луча.

• • •

Потому что завтра уже июнь,
И деревья, взвившие парики,
И нестойкий мусор стаями по реке,
И какой-то первый теперь тополиный прах –
Жестяное время, сплошной трамвай,
Только свет и держится, недвижим,
Только стрелочник виноват, но прав –
Вон как гонит – вставай, вставай,
А куда мы встанем, когда лежим?

• • •

А он всё знал
И падал в лёгкую,
Как море, пенку,
А рядом время билось о коленку,
И небо билось,
И гудел вокзал;
И города, такие города,

Которых не бывает и в помине,
Куда-то уезжали навсегда
От-
Ныне

• • •

Моя страна, покрытая лесами,
Как здание, покрытое лесами,
В окно щебечет разными листьями,
Щекочет голосами.

Я буду плыть за окнами страны,
Как человек, как облако вины,
Я – человек, и в этой мягкой плоти
Иголки и крючки растворены.

Раскрой мне рот пошире, аладдин,
Мой оловянный мальчик, раб сортира,
У здания сжимается квартира,
Кишка прихожей девять на один.

• • •

Бог и Природа дышат ноздря в ноздрю,
Движение останавливается на мосту,
Всё погружается, тонет, снова всплывает, и вот
Это дерево плодоносит и только
На будущий год цветёт.
Это черемуха плодоносит на склоне лет;
И сирень – кто она, дерево или куст?
Ботанический сад расцветает на склоне век,
А зачем, и узнать боюсь.

• • •

Потому что ты сиднем сидишь в темноте,
Как в воде,
Как в нигде
Распускаются пальцы,
Как сад,
Только это не сад,
А другое пространство земных насаждений –
Там, где дышат, пердят,
Там, где воздух и прочих небес звукоряд,
И пушистые корни растений.
Расстегни эту пуговку, кнопку, липучку, замок –
Оно всё поддаётся,
Чего же ты взмок?
Это справа восток,
Это слева восток,
Нам не надо знамений
И знаний, и ног
Не коснётся снаружи чужой потолок.
Потолкуем о том, и о сём, и о всём –
Это сеятель нежный засеял дома,
Значит, вырастет город
И будет страна,
Только это не будет другая страна,
Это будет со всем не страна.

• • •

Кто мой любимый? Никто, никто.
Мой любимый песок и порох, и прочее нет суда.
Над восточными городами восходит то,
Что само по сути восточные города.
Потому что когда поднимаешься над землёй
По старинной башне, и круглые купола,
Только это и будешь вспоминать зимой,
А до этого как жила.

Мы, наверное, тоже бы здесь могли
Постепенно, как восточные города.
Ты выходишь за край пространства, как будто за край земли,
Потому что пространство – это и запахи, и вода.

• • •

У всех этих мальчиков у бассейна
Такие тонкие кисти ног,
И пока всё, что посеяно,
Собирает Бог,
Они пишут по плиткам и по газону,
И брызги, и жёлто-зелёный свет;
И так здесь все четыре сезона,
Не исключая пятый, которого нет.
Если я когда-нибудь в жизни буду
Жить у большой воды,
Забери меня отовсюду,
Собирая меня повсюду,
Незаметную, как следы.

• • •

И ты слушаешь, как что-то щёлкает в голове себя,
И начинается не музыка, но музыка,
И всё плывёт, но пока любя,
Говоря иначе, бережно, безъязыко.
Всё пространство – ворох, перина, мех,
Говори иначе, синева и зелень,
Наугад выбирая верную из примет,
В глубине земли глядишь и окажешься безземлен.
Но пока оно качается и плывёт,
И ни маятник, никакая другая стрелка,
И в зобу дыхание, и других забот
Наугад руки замедленная пристрелка.

• • •

Написала бы ты мне хоть что-нибудь,
Хоть какую траву или ртуть,
Потому что мне её греть,
Мне её говорить,
Мимо самого рта спугнуть.
Поле брани, нива шёпота или какой молвы,
И какие ещё хлеба?
Так мы ехали. Мимо окон глазели лбы,
И рука, стирающая со лба
Не испарину, но какой-то внешний, не влажный, след,
Так старалась, как нету других усад,
Ни других обид,
Только этот сад,
Этот стандартный вид.

• • •

Говорит, вот здесь какая штука,
Пособи, мол, сделай меня живой,
И мечется, как очаг и сука,
Над головой.
А я такого маленького размера,
Меня не больше, чем пальцев одной руки,
Этой мелочи хватит для сдачи или размена,
Но голос, запахи, позвонки –
Посчитай их все до седьмого пота,
До не бывшего, то есть восьмого, дня,
И как снег на Якова, как ягода на болото,
И так далее не видна,
Как сбиваясь со счёта в грудной коморке,
Как сама грудная, а ведь в чём-то даже и не жива,
Изнутри, как катышки, жёванные комочки,
Забывается в новые существа.

• • •

Историк читает новейшее время,
Дрожащие стёкла в твердеющей раме.
Ты выйдешь на улицу. Выдохнешь. Время
Останется. Ты не останешься. А под ногами
Октябрь, девяносто четвёртый и пятый.
Мычит МММ, дребезжит M&M's;
Уже не отечества дым сладковатый
И мокрые листья срываются с мест.

АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ
ВСЛЕД ЗА КИСТЬЮ. ФРАГМЕНТЫ

• • •

Мысль и мнение

«У меня нет мнений, у меня есть только нервы» – красивая фраза и не более того. У меня нет мнений, но у меня бывают мысли. Эти мысли изменчивы, они движутся, перетекают одна в другую, отрицают друг друга, отрицают временами и себя же самих, спорят с собою, вновь с собой соглашаются. Эти мысли словно примеряют на себя – или к себе – разные мнения, как маски. Иногда им даже нравится в этих масках, они ходят в них подолгу, щеголяют ими, показывают их знакомым, незнакомым, просто прохожим. Но они всегда знают, что маска есть маска, что рано или поздно они ее снимут... «Я не воробей, чтобы чирикать всегда одно и то же», говорил, якобы, Лев Толстой. А между тем, записать мысль практически невозможно, записать можно лишь мнение. Поэтому все записанное – написанное – всегда предварительно. Записанное оставливает некое мгновение мысли; мысль между тем идет дальше. Окончательными бывают стихи, вообще тексты, к высказанной в них мысли не сводимые, перерастающие мысль, тем более мнение, уходящие в другую сторону, увводящие в иное пространство.

• • •

Гете говорил, что разорение крестьянского двора – это трагедия, а гибель Отечества – пустая фраза. А вот теперь сидишь на какой-нибудь, например, конференции и слушаешь разглагольствования разных умников о какой-то там гибели западной цивилизации. А что мне эта западная цивилизация? Смерть автора? Смерть литературы? Как не стыдно рассуждать о такой чепухе. Вот смерть М., с его глазами, с его улыбкой... Да потому и стыдно рассуждать о такой чепухе, что М., всегда, умирает. С его улыбкой, с его глазами.

• • •

Мысли в музее

Ничего прекраснее ранних нидерландцев, ван Эйка, Рогир-ра ван дер Вейдена. Ван Эйк и Рогир кажутся мне абсолютной, с тех пор никем не достигнутой, недостижимой, самой сияющей, самой снежной вершиной... Откуда следует, что вершина – в начале, что взлет происходит не, как мы обычно думаем, в середине пути, но сразу после первых, робких, шатающихся шагов. Мы заморожены органическими метафорами. Нам кажется, что созревание происходит медленно, расцвет равняется зрелости. В жизни отдельного человека это, может быть, и так, но не в жизни «культуры» или, скажем, определенной «культурной традиции». Здесь расцвет наступает гораздо ближе к началу, к исходной точки, в юности, в полудетстве. Когда мне было восемнадцать лет, говорил Гете своему Эккерману, Германии тоже было восемнадцать. И в самом деле, что там до Гете? Ну, Клопшток, ну, Лессинг... А сколько лет было России при Пушкине? Даже и восемнадцати не было. «Паж или пятнадцатый год...» И какие итальянские поэты до Данте? Где, у какого де Санктиса искать их забытые имена? И значит – что же? Значит – расцвет очень рано, почти у начала, сразу после начала, и затем долгий, нескончаемый, бесконечный упадок, в котором тоже могут быть свои маленькие, свои – упадочные расцветы, но который того первого, первоначального расцвета не достигнет уже никогда. И вот стоишь в музее перед Рогиром, перед ван Эйком, понимая, что самое главное утрачено, едва появившись, что лучшее потеряно давным-давно, безвозвратно.

• • •

«Черный силуэт»

Говорить хочется только о любимых стихах. Все прочее – совершенно, в общем, неинтересно. Вот «Черный силуэт» Анненского, на мой взгляд и вкус – один из его шедевров. Перечитаем его для начала.

Пока в тоске растущего испуга
Томиться нам, живя, еще дано,
Но уж сердцам обманывать друг друга
И лгать себе, хладея, суждено;

Пока прильнув сквозь мерзлое окно,
Нас сторожит ночами тень недуга,
И лишь концы мучительного круга,
Не сведены в последнее звено, –

Хочу ль понять, тоскою пожираем,
Тот мир, тот миг с его миражным раем...
Уж мига нет – лишь мертвый брезжит свет...

А сад заглох... и дверь туда забита...
И снег идет... и черный силуэт
Захолодел на зеркале гранита.

Самое поразительное здесь, конечно, терцеты, катрены как бы лишь подготовка к ним, но без этой подготовки и терцеты не были бы самими собою. Логически стихотворение отчетливо распадается на две части, катрены и терцеты отделены друг от друга ясной разделительной линией – линией тире, между прочим, тоже. Это тире после «звено» – одно из самых глубоких тире, мне известных, здесь раскрывается смысловая и экзистенциальная бездна, через которую стихотворение перелетает со необычайной смелостью и скоростью. Есть, правда, еще одно тире – после слова «нет», в одиннадцатой строке – тире не менее глубокое и решительное, но о нем чуть позже. Итак – «пока»: пока жизнь длится, жизнь, описываемая как мука, «мучительный круг», как растущий испуг и «тоска испуга», как обман и самообман, страх болезни, страх смерти..., но все же – «пока»: пока все это еще длится и тянется, я, говорит «субъект стихотворения», хочу понять. Я не всегда хочу понять, но я иногда хочу этого, бывает, что хочу. «Хочу ль...», говорит он. То есть ставится как бы второе условие. Первое – это «пока»: пока жизнь, то есть мученье, длится; второе – если: если я, что со мной бывает, хочу. «Хочу ль понять...». Что я хочу понять? «Хочу ль понять, тоскою пожираем, / Тот мир, тот миг с его миражным раем...». «Тоскою пожираем» – самое, на мой взгляд, слабое место всего стихотворения, единственное клише в нем. Это «пожираем» потребовалось, кажется, для рифмы с «раем». Да и тоска была уже в первой строке – и там она была не просто так себе тоскою, но была тоской «растущего испуга» – оборот неожиданный и сильный, после которого тоска

просто кажется блеклой, случайной. Но все же, еще раз – что я хочу понять? «Тот мир, тот миг с его миражным раем...» Почему – тот? Кажалось бы – этот? Этот мир, вот этот миг, вот сейчас? Но его, мига, а вместе с ним, значит, и мира, всегда «уж нет» – «уж мига нет» –, он всегда улетает, всегда неуловим, всегда уже, значит, не «этот», всегда уже «тот». «Хочу ль понять...» Понять – поймать. Хочу ль поймать... но его не поймаешь. «Остановись, мгновенье...» Не останавливается. А еще слышится мне здесь тютчевское «вот тот мир, где жили мы с тобою». Для нее, ушедшей возлюбленной, к которой обращается Тютчев, «этот» мир уже, разумеется, «тот», тот мир, где мы – жили, где уже не живем, где я, один, бреду, вот сейчас, вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня... Так и Анненский смотрит уже отсюда, не из запредельного «оттуда», но из «оттуда» ближайшего будущего, из следующего за всякий раз уже промелькнувшим, неуловимым, недостижимым мгновением мгновения, из еще живого времени в уже мертвое время, в уже совсем мертвое время из времени, которое у него на глазах умирает, вот сейчас умирает, всегда умирает. «Тот мир, тот миг с его миражным раем...» Почему – раем? Потому что вот этот миг и есть, разумеется, рай, вот это «настоящее мгновение времени», это «здесь и сейчас» и есть рай, было бы раем, если бы – длилось, не улетало, не умирало, если бы – было. А его нет, его всегда «уж нет». Жизнь была бы раем, если бы в самом деле – была. Но ее нет, есть лишь исчезновение, утеkanie времени, «тоска растущего испуга», да «мучительный круг» бытия. Поэтому и рай – миражный, не настоящий. Не настоящий рай настоящего... До слова «раем», до первого многоточия, длится, прошу заметить, одно предложение, растянутое на десять строчек. Фактически – логически – и одиннадцатая строка – «Уж мига нет – лишь мертвый брезжит свет...» – еще к нему относится. Два вышеупомянутых условия в этой одиннадцатой строке выполнены, их результат высказан. Пока мученье длится и если я хочу понять, то вот что получается – мига нет, а мертвый свет брезжит. «В книгу, говорит Поль Валери, нужно заглядывать через плечо автора». Это длинное сложно-подчиненное предложение, эта развернутая логическая конструкция – как она создавалась? неужели с начала, с тоски растущего испуга, чтобы затем, проделав такой долгий и трудный путь, поставив столько условий, прийти к своему беспощадному выводу? Или первым пришел сам вывод? миг? мертвый свет? Или первой вообще пришла концовка, с силуэтом и садом? Мы этого никогда, наверное, не узнаем. Но оценим работу ума, необходимую для написания такого текста, оценим это твердое, уверенное в себе, рациональное начало, не отрицающее поэзии, как думают пошляки, но ее создающее, этот логический скелет, этот костяк силлогизма... «Уж мига нет – лишь мертвый брезжит свет...»

Вот это второе тире, за которым, как за пропастью, начинается нечто уж и вовсе необыкновенное – начинается, в сущности, описание утраченного рая, погибшего рая, мертвого рая. Свет потому и мертвый... Кто еще, кроме Анненского, способен на такой эпитет? И эта рифма внутри строки: «нет – свет»... Мига уже нет, лишь свет чуть «брезжит»... не тот свет, что дарует жизнь всему, что ни есть на земле, всем плодам ее и цветам, и не Тот, что во тьме светит, «и тьма не объяла его»... но мертвый свет, но противоположность всякому свету, но «тот свет», отрицание света. Потому и сад, конечно, «заглох». А сад ведь всегда – рай, Эдем, райские кущи. Всякий сад есть сад райский. «А сад заглох... и дверь туда забита...» Ладно бы только дверь была забита, а за ней, за этой забитой дверью, оставался, в целостности и сохранности, прежний рай, живой сад, прохлада, солнце, волшебные тени. Кто из нас не верит, что есть где-то «дверь в стене», которую однажды найдем мы, и войдем в нее, и все, кого мы любили, пойдут нам, по чистой росе, навстречу... Сад, говорит Анненский, «заглох», сад мертвый, и свет в нем мертвый, снежный, зимний, холодный. Даже сам «черный силуэт» – «захолодел» на своем гранитном пьедестале, на этом «зеркале», ничего, наверное, кроме пустого неба, не отражающем. Что это за «черный силуэт»? Бронзовая статуя в (царскосельском) парке? Возможно, даже скорее всего. Но что бы ни было, этот «черный силуэт», не случайно вынесенный в заглавие, кажется то ли стражем, не допускающим нас в утраченный рай, черным ангелом, охраняющим вход в него («черные ангелы» у Ахматовой не отсюда ли?), то ли чем-то – кем-то – еще страшнейшим: не губителем ли этого рая, не властителем ли этого погубленного, мертвого, бывшего рая, уже, значит, не рая, уже обратного раю? В его черноте есть, конечно, что-то демоническое, «демонское», говоря языком эпохи... И эти «з», эти «р» в последней строчке звучат с той окончательностью, какая дается, наверное, лишь очень большому отчаянию и, наверняка, лишь самым совершенным стихам. Каковы, разумеется, о каком бы отчаянии ни говорили они, отчаяние это, внутри себя же, в своих «з» и «р», в своих незабываемых многоточиях, перемальвуют, перерабатывают, куда делятся – преодолевают. А делятся они долго, так долго, как никакому мигу, с его миражным раем, продлиться, конечно же, не дано.



Вена – один из самых непоэтических городов, мне известных. Третий раз оказываюсь я здесь, и третий раз чувствую то же самое – отсутствие поэзии, даже как бы противоположность поэзии, разлитую в воздухе. Как в других местах бывает разлита «стихия поэзии», так стихии антипоэзии – здесь. Что, собственно, «сие означает» и можно ли как-то объяснить это – вполне, конечно, иррациональное чувство? Вот одно из объяснений, среди прочих возможных. Всерьез принимать его не следует, но все-таки, вот оно: в Вене есть река, но ее как бы нет. Город стоит на Дунае, но Дунай не играет в нем никакой роли, Дунай всегда где-то там, за домами, высокими и чудовищными. Между тем, из всех четырех стихий поэзии наиболее, на мой взгляд, родственна – стихия воды. Все четыре нужны, конечно, поэзии и в поэзии, а все же наиболее поэтична – вода. Поэтому такая поэзия есть в Петербурге, в Венеции (где ее, впрочем, уничтожает туризм), в Амстердаме, в Копенгагене, вообще в морских городах. Одной большой реки достаточно, чтобы город ожил и зазвучал, но такой реки, к которой то и дело выходишь, как выходишь к Сене, к Темзе и Тибру. Здесь к реке вообще не выходишь, ее нет. То есть этот город создавался людьми, которые имели все возможности обыграть в нем реку, дать реке заиграть в нем и городу заиграть от соприкосновения с рекою, все возможности окунуть его в эту струящуюся и сверкающую стихию, наполнить его отражениями, отблесками и бликами – что, конечно же, существо поэзии и составляет – но которые ничего этого не сделали, не удосужились, не захотели, загородили Дунай домами. Людьюми, следовательно, которым до поэзии дела не было, которые к меланхолическому созерцанию склонности не имели, игре отражений не предавались. Даже набережной порядочной не построили. Знали толк в имперских побрякушках, во всем этом показном и мишурном, опереточно-вальсовом, целую ручки, садитесь, сударыня. Но никакой глубины не чувствовали. Глубины и нет в этом городе, безнадежно прозаическим, холодным и трезвым, не просто трезвым, но, что еще противнее, фальшиво-поэтическом, опереточно-поэтическом... Впрочем, все это рассуждения раздраженного туриста, не более, игра ума, которой предаешься по пути на вокзал... целую ручки, действительно, до неувстречи, до никогда больше, вот и поезд уже отходит...



Маленькая ошибка, но все же

В замечательной, умнейшей и остроумнейшей статье Ходасевича о стихах капитана Лебядкина читаем: «Потому-то и сам Смердяков, принципиальный отрицатель поэзии, желая предстать перед Марьей Константиновной в своем лучшем, светлейшем аспекте, не только помадит голову и надевает лакированные ботинки, но и поет куплетцы собственного сочинения:

Непобедимой силой
Привержен я к милой.
Господи поми-и-луй
Ее и меня!
Ее и меня!
Ее и меня!»

В самих «Братьях Карамазовых» это место выглядит так: Алеша, сидящий в беседке, слышит, как кто-то садится на «низенькую старую скамейку между кустами». «Один мужской голос вдруг запел сладенькою фистулой куплет, аккомпанируя себе на гитаре; [следуют те же стихи]. Голос остановился. Лакейский тенор и выверт песни лакейский.» Через несколько строк следует второй куплет: «Ужасно я всякий стих люблю, если складно, продолжал женский голос. – Что же вы не продолжаете?»

Голос запел снова:

Царская корона
Была бы моя милая здорова.
Господи поми-и-луй
Ее и меня!
Ее и меня!
Ее и меня!

– В прошлый раз еще лучше выходило, заметил женский голос. – Вы спели про корону: «была бы моя милочка здорова». Этак нежнее выходило, вы верно сегодня позабыли.

– Стихи вздор-с, отрезал Смердяков.»

Нигде, как видим, не сказано, что это были куплетцы его

собственного, смердяковского сочинения; наоборот – сама возможность в них что-то забыть, перевернуть строку, перепутать слова намекает – хотя лишь намекает: перевернуть можно ведь и свой собственный текст – на то, что куплетцы вовсе не Смердяковым сочинены, но что существует, до и помимо смердяковского исполнения, их как бы канонический текст.

И в самом деле – стихи эти не смердяковского производства; не сочинены они и самим Достоевским (как сочинены им за и для капитана Лебядкина его, Лебядкина, несравненно интереснейшие вирши). В «Старой записной книжке» Вяземского читаем: «В начале нынешнего столетия была в большом ходу и певалась в Москве песня, из которой помню только первый куплет:

Непостижимой силой
Я привержен к милой.
Господи помилуй
Ее и меня.

Ее приписывали одному важному духовному лицу. Сохранилась ли она где-нибудь? Вот вопрос, который часто задаешь по поводу литературных и поэтических преданий... и т.д.»

На вопрос этот ответить нетрудно: да, хотя и с лакейским вывертом, сохранилась.

• • •

Набоков, как известно, терпеть не мог Томаса Манна. А Томас Манн никогда, наверное, и не слыхал о Набокове. И что же мне теперь делать, если я люблю их обоих?

• • •

Спорные мысли

Нынешние модные, да и не модные, авторы – и в России, и на Западе – пишут, за редкими исключениями, так, как будто ни Пруста, ни Джойса, ни Томаса Манна, ни Набокова никогда не было. Как будто не было двадцатого века. Бытовая проза. Воспо-

минания детства. Из жизни нашего института... Из жизни солдат, бомжей, новых русских... Причем все это – простым, прозрачным, как правило никаким языком. Без ухищрений, но с юмором. При наличии какого-никакого таланта, получается – мило... Читатель улыбается, умиляется, иногда грустит, не думает почти никогда. А думать и незачем, не над чем. Никаких сложностей, никакой игры на повышение... А только так и можно писать. Потому что писать, зная – не рационально, но органически зная, то есть зная тем органом, которым пишут – что двадцатый век был, писать действительно после Пруста, Набокова, Томаса Манна оказывается невозможно. Невозможно и доказать, что – невозможно. Невозможно объяснить, почему – невозможно. Просто те, кто действительно живет после Пруста, Набокова и т.д. – а таковых, разумеется, исчезающе мало – знают, по личному горькому опыту, что прозы после них быть не может, что проза исчерпала себя. Стихи – могут быть. Эссе – могут быть. Прозы, увы, не может. Хода нет, тупик, до свиданья. Остается, значит, писать так, как будто ничего и не было, как ни в чем ни бывало... В детстве я увлекался шахматами, а в институте у нас был доцент, который говаривал, шепелявя... Вопрос лишь – зачем? Писать так можно, но – нужно ли? Читателю, разумеется, нужно. Читатель такую литературу потребляет охотно, даже, случается, покупает. Однако, к собственно литературе – в которой все-таки был ведь Томас Манн и т.д. – все это отношения не имеет. Это какой-то не пространственный, но временной провинциализм. Тихая провинция, в которую выплеснулось время, стоячие воды, в которых оно гниет...

• • •

Мысли в музее

В Москве, в Музее имени Пушкина, есть крошечная, вверх вытянутая работа Лоренцо Коста (Lorenzo Costa, 1460 – 1535, имя, которое мне, по невежеству моему, не говорит почти ничего), озаглавленная (администрацией музея, надо думать) «Двое у колонны» – не картина, но фрагмент картины, «другие части которой (как сказано на висящей рядом табличке) находятся в зарубежных собраниях» (каких – не сообщается, зарубежных и все тут). Сюжет этой картины (отсутствующей) – «история Сюзанны» (и значит, надо думать, сластолюбивые старцы, облапившие добродетельную

красавицу, или суд над нею, или пророк Даниил, восстанавливающий попорченную справедливость). Ничего этого мы не видим; имеющийся фрагмент изображает (цитирую все ту же табличку) двух мужчин, «наблюдающих за событиями, которые разворачиваются в основной сцене». Основной-то сцены и нет, вот в чем дело. Есть только эти двое, стоящие, действительно, у колонны, один, совсем молодой – «молоденький» – лицом к зрителю, в красном берете с длинным тонким пером, другой, постарше, изображенный со спины, но с повернутой в профиль к нам головой, в зеленом костюме с розоватой накидкой, какой-то почти, что ли, тогой. Легко стоят они оба, как будто готовые, вот сейчас, оторваться от земли, как будто уже, вот-вот, взлетая над нею. Виден, за колонною, угол, кажется, какого-то дома и, разумеется, тот задний план, тот неизвестно куда, в какую даль и глубину уходящий пейзаж, с рекой, горами, ступенями синевы, оттенками голубого, который, кажется мне иногда, составляет едва ли не главную прелесть, вообще, Ренессанса. И вот – что же? – вот, посреди разнообразнейшей сюжетной живописи, со всеми ее мифологическими мотивами, античными или библейскими историями, пересказанными в красках, посреди, следовательно, всей этой литературы, наводящей на нас, почему не сказать правды, непробудную скуку, сия крошечная картинка, фрагмент большой композиции, случайный ее обрывок, воспринимается как нечто, до странности современное, «наше», нашему – когда начавшемуся? – времени родственное. «Основная сцена» нам вообще не нужна; нам если и нужно что-то, то – «побочное действие». Нам интересен фрагмент, схваченное мгновение. Сторонний взгляд на отсутствующую главную сцену, на незримое какое-то действие, примечание к несуществующему сюжету, комментарий к нерасказанной истории – вот что нам надобно, вот что нас вдохновляет. Мы хотим иметь возможность сами домыслить не сказанное, не показанное напрямую. На что они смотрят, эти летящие двое? На Сюзанну и старцев? Да какая разница, на что они смотрят? На что угодно могут они смотреть, на «Ваханалию» или «Положение во гроб». Сюжет неинтересен, предлог и повод не имеют значения. Они таинственны, эти двое, эти – «какие-то двое», неизвестно кто, непонятно почему здесь стоящие, таинственны, как персонажи на картинах, к примеру, Кирико. А нам и нужно таинственное, мы ведь и сами не знаем, зачем стоим у колонны, всю жизнь глядя на происходящее что-то, чего смысл нам давно уже не понятен, на то уже безымянное, никак не названное, что зияет на месте когда-то имевшего имя события. Имя и смысл утрачены; где искать их убегающие следы? И нужно ли их искать? И – опять-таки, как всегда, как во всем – выводы, выводы... Такой, как вот эти «Двое у колонны», фрагмент по природе

своей лиричен, это в сущности – стихотворение. Отсутствующая же «основная сцена» была, конечно, эпической, даже если в ней был выхвачен лишь один какой-нибудь эпизод (Сюзанна, значит, купается, сластолюбивые старцы подсматривают за нею...), но эпизод, во всяком случае, связного, осмысленного, не безымянного, легко домысливаемого зрителем действия, момент определенной истории, с ее завязкой, развитием, завершением. Ничего этого мы, как сказано, не хотим больше; все это уже невозможно. Нам нужны, значит, стихи, что бы мы ни писали? Поставим здесь знак вопроса, оставим фрагмент – фрагментом...

• • •

В Англии свобода ощущается как некое положительное начало. Свобода в отрицательном смысле, то есть отсутствие несвободы, чувствуется, конечно, повсюду в Европе (и по-прежнему не чувствуется в России, где любой мент может сделать с тобой что захочет). Ты свободен потому что не – не свободен, потому что не отдан на произвол государства, потому что у тебя есть права и гарантии этих прав, потому что законы не только пишутся, но и соблюдаются. И ты это знаешь, и свободно шагаешь по жизни. Все это замечательно. Но в Англии, и по моему ощущению только в ней одной, к этому прибавляется что-то еще – и существеннейшее. Ты свободен в Англии еще и в каком-то другом, положительном смысле, свободен так же, как можешь быть, например, счастлив (или печален, или простужен...). Ты идешь по улице и ты – свободен. Ты смотришь на Тауэр или Лондонский мост и – свободен. Ты едешь куда-нибудь по невероятным, петляющим, живыми изгородями обсаженным английским дорогам – и свобода кажется тебе неким свойством света, или качеством воздуха, или тем особенным преломлением лучей, которое только здесь и бывает, которое континентальной Европе неведомо. Объяснить это чувство я, конечно, не в состоянии.

• • •

«Закон искусства»

Почему-то в «настоящем» художнике всегда очень много от Шопенгауэра и ничего нет от Ницше. А в «поддельном» наоборот – все от Ницше, от Шопенгауэра ничего...

• • •

Ещё Ницше о Шопенгауэре

Кто сказал, что болезнь делает человека умнее и интереснее? Я сомневаюсь в этом. Я думаю, что болезнь упрощает и обедняет. Поэтому то, что легко объяснимо в психиатрических терминах, что сводимо к патологии и напрашивается на такое сведение, мне не интересно. Пример – Ницше. Какое дело мне до всего этого, в буквальном и банальном смысле, бреда (белокурая какая-то бестия, вечное непонятно куда возвращенье)? До этой мании величия? До этого подросткового пафоса? Все это слишком легко объяснить прогрессивным параличом мозга (или как там звучит диагноз)? Предполагается, что Ницше надо читать как-то иначе, «не буквально». Это как же, интересно узнать? Я пробовал, у меня не выходит. Совсем другое дело, например, Шопенгауэр, которого «не буквально» читать не надо, с которым возможен поэтому «диалог» – а что же и есть чтение, если не диалог с автором, если не разговор двух разумных, себя и собеседника уважающих, взрослых людей? – который, наконец, никакой такой детской, подростковой чепухи а la Ницше не нес, вообще думал, что говорил. А стиль? Какая прелесть спокойный стиль Шопенгауэра по сравнению с истерическим, крикливым, площадным стилем Ницше. А кто читает теперь франкфуртского отшельника? Три человека на планете... А Ницше по-прежнему зачитываются сотни тысяч. Из чего мы делаем вывод, что человечество вообще не взрослеет, или взрослеет с трудом, или взрослеет – тоже, конечно, с трудом – лишь в отдельных своих представителях. Которым, конечно, нелегко приходится на земле.

• • •

Плохая погода

Однажды Гегель, выходя из дома, пожаловался на погоду. «Какая плохая погода...» Служанка, подававшая ему зонтик, сказала на это: «Будьте довольны, господин профессор, что есть хоть какая-то». Трудно отделаться от ощущения, что эта служанка была уж по крайней мере не глупее самого Гегеля.

• • •

За чтением журналов

Московская «тусовка», выдающая себя за русскую литературу. Скучно жить на этом свете, господа...

• • •

Малер; случайности...

Я полюбил Малера если не сразу, то почти сразу, не «с первого слуха», так с первого вслушивания. Вслушался сначала в Девятую симфонию, потом в Пятую, навсегда оставшуюся любимой. В магазине «Мелодия» на Новом Арбате продавались тогда, в начале 80-х годов, чудесные, еще на виниловых, конечно, пластинках, записи симфоний Малера в исполнении оркестра Баварского радио с Рафаэлем Кубеликом (знал ли я, что проживу потом целую жизнь в Баварии? Каким-то предвечным знанием, теперь мне кажется, знал...). Какой еще композитор так сильно повлиял на меня? столь многое во мне разбудил, всколыхнул? столь многому научил меня, наконец? (А вот попробуй, скажи, чему именно ты у него научился? Не длинным же фразам... Какому-то ритму, может быть, какой-то растяжке дыхания... Самое важное, чему учимся мы у других людей, у книг, у музыки, названия, видимо, не имеет – мы учимся ведь не только и не столько умом, но прежде всего душою, душе

и учимся, не приемам, не технике, тем более если служим совсем другой Музе...). Это все я писал всерьез, а вот не очень, конечно, всерьез. Потому что вот – даты. Малер родился в 1860 году, я в 1960, ровно через 100 лет. А умер Малер в год рождения моего отца (1911) и в день рождения моей матери (18 мая). Вот так-то. А вы говорите – случайности... Никаких нет случайностей.

• • •

Авангард и соцреализм

Если авангард сам по себе – бесчеловечен, если он есть, как писал Бердяев о Пикассо, – «разложение человеческого образа», погружение в «космические вихри», «распластование» Богом данных форм мира, то авангард революционный бесчеловечен, конечно, вдвойне, втройне, в десятой и сотой степени. Дегуманизация искусства, помноженная на антигуманность мировоззрения, политической программы, на готовность к прямому насилию, согласие с этим насилием. Вот почему столь излюбленное эстетамы «искусство» ревангарда все-таки ужасней, отвратительней, мерзостней простого и честного соцреализма. В соцреализме человек хоть отдаленно, а все-таки похож на себя самого, в ревангарде от него остаются углы и крики, изломы и маски. Как отдыхаешь душой, когда после Эйзенштейна и Дзиги Вертова, смотришь, к примеру, «Чапаева». Чапаев, Петька, картофилины на столе, «Митька-брат помирает, ухи просит»... ну, конечно, все это пропаганда, и пропаганда подлого, богомерзкого дела, кто ж спорит, а все же какой-то... ну, хоть какой-то «человеческий образ» здесь есть, какой-то, пусть дальний, ответ на этот «образ» все-таки падает, не все – беспросветно. Точно так же отдыхаешь душой от безнадежного ужаса и, между прочим, несусветной скуки фильмов Лени Рифеншталь, когда смотришь, например, популярнейший и, наверное, лучший нацистский фильм «Гитлеровский мальчик Квекс», с великолепным Генрихом Георге, с замечательно, вообще, подобранными актерами. В соц- и даже, как ни странно, ни страшно, в национал-соцреализме есть все-таки, бывает все-таки, какое-никакое, человеческое лицо. А какие лица в «Потемкине»? Только «массы» и «ракурсы». Человек, растворенный в «массе», и человек, разрезанный «ракурсом»... Вот от чего надо бы бежать не оглядываясь... А разные умники по-прежнему восхищаются каким-то там «искусством монтажа».

• • •

Какое разнообразие интонаций у Достоевского, не говоря уж о Пушкине. Какие переходы от серьезного к смешному, от важного к пустякам и обратно, какие разные регистры, оттенки. Наоборот – есть авторы одной тональности и одной темы. Например, Кафка. На каком месте его ни откроешь, все одно и то же, тот же отстраненный кошмар, бюрократический бред. Или – Гельдерлин. Всегда один и тот же «высокий штиль», патетический тон. Никакой иронии, никакой игры, никогда никакой усмешки. Почитав Гельдерлина, хочется немедленно взять в руки Гейне, отдохнуть душой от патетики, отвести душу на многообразии мыслей, интонаций, стилистических, а значит и человеческих возможностей. В двадцатом веке похожий поэт – Целан. Все всегда – безнадежно, беспросветно – всерьез. Просто сил нет. Всегда о главном, всегда тоном оракула. Замечательно, конечно, что все они, и Целан, и Кафка, и Гельдерлин – люди, в общем, больные, кончившие безумием, или прожившие жизнь на границе с ним, в предместьях безумия. Вот я и говорю, при всем сочувствии к чужому страданию, что болезнь, увы, не обогащает, но обедняет человека, упрощает его.

• • •

Многие мысли не имеют продолжения. Это не значит, что их самих – нет. Они есть – но продолжение у них отсутствует. Вот эта мысль, к примеру.

• • •

Умберто Эко, небезызвестный автор популярных романов, излагал «суть» так называемого «постмодернизма» следующим образом (цитирую):

«Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать ей «люблю тебя безумно», потому что понимает, что она понимает (а она понимает, что он понимает), что подобные фразы – прерогатива Лиалы. Однако выход есть. Он должен сказать: «По выражению Лиалы – люблю тебя безумно». При

этом он избегает деланной простоты и прямо показывает ей, что не имеет возможности говорить по-простому; и тем не менее он доводит до ее сведения то, что собирался довести, - то есть что он любит ее, но что его любовь живет в эпоху утраченной простоты. Если женщина готова играть в ту же игру, она поймет, что объяснение в любви осталось объяснением в любви. Ни одному из собеседников простота не дается, оба выдерживают натиск прошлого, натиск всего до-них-сказанного, от которого уже никуда не денешься, оба сознательно и охотно вступают в игру иронии... И все-таки им удалось еще раз поговорить о любви».

Лиала, как я выяснил из комментариев, это псевдоним некой итальянской писательницы, сочинявшей тоже весьма популярные - очевидно, «бульварные» - романы («Люблю тебя безумно», прошептал Джузеппе, крепко сжимая ее своими сильными мужскими руками. Франческа почувствовала себя так, словно наконец-то вернулась домой...». Что-нибудь, поди, в этом роде...). Но дело здесь не в Лиале, конечно, и не в прочих поставщиках развлекательного чтения. А дело в том, что именно это чтение и служит здесь точкой отсчета. Признание поразительное! Как! разве в том прошлом, «натиск» которого «постмодернисту» якобы приходится выдерживать, разве в том «уже-сказанном», с которым он, видите ли, «вступает в игру иронии», были одни Лиалы? Разве Мандзони, Монтале, Унгаретти, д'Аннунцио, Павезе или Петрарка писали когда-нибудь «люблю тебя безумно»? Или Толстой, Бунин, Набоков, Ходасевич и Мандельштам порождали в порывах вдохновения те глянцевики книжки, которыми зачитываются маникюрщицы? Флобер и Пруст были, разве, создателями грез для манекенщиц? Разве об этом вообще идет речь? Значит, чтобы оказаться в «ситуации постмодерна» надо прежде всего свести «уже-сказанное» к «люблю тебя безумно». Надо прошлое сделать пошлым... Вот это опошление, банализация мира и есть, очевидно, первый, изначальный акт постмодернизма. Настоящие писатели не говорили и не говорят, конечно, банальностей, они... мысль сама по себе не очень оригинальная, так что прощу, в свою очередь, прощения за банальность... находили и находят свои слова для выражения своего, всякий раз особенного, видения мира. «Своих слов» у постмодернизма нет и по определению быть не может. Чтобы оправдать «ироническую игру» с чужими, ему нужно и эти чужие опошлить. «Все исчерпано», видите ли, ничего уже сказать нельзя, остается только играть словами и смыслами. «Все исчерпано», если в прошлом одна Лиала, если нет никакого принципиального различия между Лиалой и Леопарди, если Достоевский приравнивается к автору детективов, а Пушкин ставится на одну доску с Булгариным... А что, говорят нам, романы Досто-

евского разве не детективы? А Булгарин что – не писатель? Ну так чего ж вы волнуетесь? Так Булгарин, наконец, торжествует... Апофеоз пошлости, мутная месья мещанства... Это подготавливалось, кстати, давно. Постмодернизм не случайно ведь вырос – не только из, но и в том числе из – так называемого «литературоведения» (семиотики, структурализма...), тот же Эко не зря один из столпов сих сомнительных дисциплин. Дисциплин, изначально отрицавших всякую иерархию, не отличавших и, главное, отказывавшихся отличать «хорошее» от «плохого», «высокое» от «низкого», литературу от беллетристики, поэзию от массовых развлечений. Что, впрочем, есть частный случай общей энтропической, анти-иерархической, уравнительной, и значит, в основе своей, мещанской, тенденции двадцатого, в двадцать первое перевалившегося, столетия.

• • •

Из литературных разговоров

«Постмодернизм, знаете ли, это горизонталь. Он отрицает все вертикальное, иерархическое. Он располагает явления на одной плоскости, горизонтально. Они для него равноценны». – «Вот в том-то и ужас». – «Почему ужас?» – «Да, как же, помилуйте, ведь то, что мы называем культурой, и создается вертикалью, неравноценностью явлений, иерархией, выбором. Культура есть там, где сапоги не дороже Шекспира, где мексиканский телесериал не равняют с греческой трагедией. Там, где все равноценно, культура гибнет. Горизонталь – это энтропия, «вторичное упрощение», конец культуры. Да что культуры! Конец личности, конец человеческой, не животной лишь, жизни. Личность тоже – не тоже! но в первую очередь! – есть выбор и вертикаль. Личность есть возведенная вертикаль: отсюда, из земного и здешнего – к высшему, лучшему, большему, чем она». – «Эк вы куда хватили. Не надо ж так волноваться. Оно даже как-то, знаете ли, смешно...» – «Пусть смешно. Смейтесь, сколько вам будет угодно. Я отлично знаю, что отстаивающий традиционные ценности, вроде «личности» и «культуры» обрекает себя на всеобщую насмешку». – «А все-таки не стоит так уж сильно переживать. Вам нравится вертикальное, а другим нет, что ж тут такого? Одни мыслят так, другие иначе. О вкусах не спорят. Есть разные точки зрения, позиции, мировоззрения. Вы же сами против того, чтобы всех гребли под одну гребенку». – «Нет. То, что вы сей-

час говорите, само по себе – горизонтально. Вот одна позиция, вот другая... Вот две точки зрения, они для вас равноценны. Тогда нет и не может быть ничего истинного или ложного, все одинаково истинно и одинаково ложно. Не существует истины... что постмодернизм, между прочим, и утверждает. И с чем я никогда не соглашусь. Так что ваш призыв к терпимости проникнут тем же духом. Так враги демократии пытаются ее свергнуть, прикрываясь демократическими же ценностями, свободой мнений и волеизъявления... А на самом деле, «история движется борьбой», как писал Ходасевич, борясь с Маяковским. Примирение невозможно. «Постмодернисты» – враги мои. Не личные, разумеется, до них самих, как людей, мне дела нет. Но это мои «идейные», как раньше говорили, враги. Потому что это враги всего того, что для меня ценно и дорого, отрицатели личности, разрушители культуры. А впрочем... не хотите ли кофе?» – «Кофе нет. А чаю – да, с удовольствием».

• • •

«Конец красоты»

Когда умер Гете, заговорили о конце исторического периода, стоявшего под знаком искусства (Гейне объявил об этом заранее, в конце 20 годов). «Красота» уходила из жизни, наступала эпоха «пользы», надвигался прозаический, трезвый, буржуазный, «настоящий» девятнадцатый век. «Век шествует путем своим железным, / В сердцах корысть, и общая мечта / Час от часу насущным и полезным / Отчетливей, бесстыдней занята. / Исчезнули при свете просвещения / Поэзии ребяческие сны, / И не о ней хлопочут поколенья, / Промышленным заботам преданы» (Баратынский, 1835 год). Пятью годами ранее Пушкин отмечал примерно то же самое: «Свидетелями быв вчерашнего паденья, / Едва опомнились младые поколенья. / Жестоких опытов сбирая поздний плод, / Они торопятся с расходом свесть приход. / Им некогда шутить, обедать у Темиры / Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры, / Звук лиры Байрона развлечь едва их мог». А между тем, сам Гете уже в 1791 году писал о том, что «время прекрасного прошло»... А может быть, оно всегда – уже прошло? Может быть, оно еще – не пришло? Может быть, потому что – не пришло, и кажется, что – прошло? Время для прекрасного всегда не подходящее, для пользы – да, для прекрасного – нет. Прекрасное – против времени, наперекор вре-

мени, вопреки всякому времени. Мир никогда не бывает готов к искусству, мир не место для красоты. Красота всегда – не ко времени, всегда – неуместна... И так далее, и так далее, и так далее...

• • •

Бидермайер

Эта эпоха – тридцатые-сороковые годы девятнадцатого века – одна из тех, когда убывание поэзии в мире ощущалось особенно болезненно и остро. Что делает ее, не правда ли? похожей на нашу. Да и вообще есть некое, пускай отдаленное, но все же очевидное сходство между нашим временем и всем этим историческим отрезком, начинающимся в Европе с Венского конгресса, окончательно становящимся собою после революции 1830 и заканчивающимся революцией 1848 года, в России же, в общем и целом, совпадающим, пожалуй, с николаевским царствованием – отрезком, получившим в немецкоязычном мире характерное наименование эпохи бидермайера, то есть эпохи самодовольного мещанства, обывательского уюта, филистерского благополучия. Материальные ценности доминируют, царство рынка повсюду – как это нам знакомо... *Enrichissez-vous!*, «Обогащайтесь!» – вот лозунг эпохи, сформулированный, между прочим, не последним ее представителем, историком, литератором и политиком Франсуа Гизо, фактически возглавлявшим французское правительство при Луи-Филиппе (бедняга Бухарин попытался этот лозунг повторить на исходе НЭПа – вместо обогащения наступил, как мы знаем, голод). При всем том относительное – относительное, конечно! – спокойствие, Священный Союз, которому ничего, в общем, до поры до времени не противостоит, однополярный мир, говоря по-нынешнему, хрупкое, но все-таки равновесие. Тогда Россия была «жандармом Европы», за что ей никто спасибо не сказал, теперь Америка сделалась «мировым полицейским» и благодарности тоже не заслужила. Жандармов и полицейских вообще не любят. Опять же – при этой относительной стабильности и страсти к наживе, относительная деполитизация общества. А ведь и вправду надоела политика, насмотрелись мы и революций, и мировых империй, оставьте нас в покое, дайте, наконец, просто заняться своим делом, своим скромным обогащением, своим мирным гешефтом – вот самочувствие эпохи, и той, и нашей. За этой видимостью покоя уже готовились

новые потрясения. Даже в России, где все, как всегда, протекало не так, как в остальном мире, за грубошинельным, тяжелокаменным фасадом николаевского царствования зрели силы, приведшие впоследствии и к реформе, и, увы, к революции. Как зреют они, на-верное, и сейчас.



Вообще, жалобы на невнимание мира к поэзии, шире – к литературе, еще шире – к искусству, изобилуют, как известно, во все времена и на всех широтах. «Обывателю» искусство не нужно, оно ему правда не нужно, вот ведь что поразительно. «Филистер» прекрасно обходится своей земной жизнью, без небесных отсветов и потусторонних, говоря по-набоковски, сквозняков. Собственно, это довольство земным и здешним, обыденным и материальным, «своим обедом и женой» и есть, видимо, простейшее, самое общее определение мещанства. Всегда и всюду разыгрывается, увы, пошлая пьеса под названием «непризнанный гений». Исключения бывают, но редко. Как правило, современники не ценят лучших людей своего времени. Причина проста – люди эти своему времени не современны («нет, никогда ничей я не был современник», писал Мандельштам), своему времени «несозвучны», а потому и не нужны («нэ трэба», как, помните, говорил тому же Мандельштаму какой-то советский редактор). Искусство, еще раз, никогда не востребовано, красота неуместна в мире, не к месту и не ко времени. Искусство – зачем оно, в самом деле? Нужна – польза, или нужны – развлечения, шумиха и скандал. Нужно ощущение своей причастности к чему-то. Вот это ощущение очень нужно очень многим. Это ощущение своей причастности к какой-то группе, движению, «тусовке», интеллектуальному поветрию нас ведь поддерживает, закрывает от нас исконное наше одиночество, придает некую устойчивость эфемерному нашему существованию. «Он в дискурсе или не в дискурсе?», как, рассказывали мне, спрашивают о новом человеке в неких московских «постмодернистских» кругах. Надо быть «в дискурсе» – на миру и смерть красна. А искусство – что искусство? Искусство ведь, в конце концов, всегда продельвает над нами страшную паскалевскую операцию по удалению иллюзий, по обращению читателя (зрителя, слушателя...) к тому, что действительно есть, к неотменяемой экзистенциальной реальности. Оно же дает и силы, пусть не всегда, пусть не – навсегда, но все же дает силы ее вынести, посмотреть ей в лицо. Дает, может быть, и шанс

заглянуть за ее и свои же пределы, в те запредельные области, откуда «сквозняки» и приходят, откуда и лучшие наши звуки, лучшие наши строки залетают к нам, может быть, всегда незаслуженно.

• • •

Поэт умирает от голода. Затем поколения «литературоведов» пишут о нем свои статьи и диссертации, делают академическую карьеру, предаются университетским интригам, живут, вообще, безбедно и весело. Что ж, это разве плохо? Нет, конечно, пускай себе пишут. Вздора пишут порядочно, но пишут ведь иногда и не вздор. Все лучше, чем молчанье, забвенье... Пускай один мертвый Мандельштам кормит согни живых «славистов»... Это не плохо – это страшно.

ЛЕНА ВИТЕНБЕРГ

ГОРОД, В КОТОРОМ НЕ ТАНЦУЮТ

К поездке в Лас Вегас нужно готовиться долго, заранее запасаясь всем необходимым. Пристальное внимание стоит обратить на выбор подходящего спутника, особенно если ты сама - хорошая, добрая, честная девочка. Вовсе не обязательно, чтобы человек этот подходил тебе, главное - его соответствие требованиям Лас Вегаса. Ехать надо с патологическим лжецом, неудачником, алчным и ограниченным. Только тогда хоть что-нибудь поймешь про этот городишко и будешь чувствовать себя там в своей тарелке.

Лучшего экземпляра, чем Рон, при всем желании было бы не найти. Он полностью доказал правильность своей кандидатуры многочисленными предварительными обманами. Поводы для вранья были самыми разнообразными. Способы - какими-то незамысловато-подростковыми. Например, из-за мнимых болезней себя или ближайших родственников давнишние договоренности отменялись в самый последний момент. Обстоятельства жизни, образование, имущество были для него не устойчивыми фактами, а легко изменяющимися дополнениями к человеку в зависимости от настроения, желания и выгоды в тот или иной момент. Иногда хорошо представиться богатым, образованным и знатным, иногда - бедным полуграмотным сиротой.

В свободное от гольфа и тенниса время Рон изображал заботу о своем каком-то необременительном бизнесе. Каждое его последующее показание по поводу размера и тематики бизнеса никогда не совпадало с предыдущим.

Рон был потомственным игроком. Родители его на протяжении последних тридцати лет ежемесячно сдавали примерно по тысяче долларов в месяц в фонд процветания Лас Вегаса. Однажды они даже что-то такое значительное выиграли в блэк-джек, компенсировав тем самым, видимо, затраты первой Лас Вегасской пятилетки. Несмотря на свои ежемесячные путешествия в страну дураков, родители умудрились скопить некоторые средства и сделали невероятно выгодное приобретение. Был куплен дом - в Лас Вегасе, конечно. Дом цены немалой, но на такое сокровище и уладу сердца никаких денежек не жалко. И к тому же расходы на гостиницы в Лас Вегасе свелись к абсолютному нулю. В этот самый домик я и была приглашена на несколько дней.

Пятичасовая дорога от Сан Диего до Лас Вегаса помещена в пространство между двумя ровными поверхностями - океаном и пустыней. Наверное, кусок этот не очень втискивался в отведенные ему границы, поэтому промежуточную между водой и песком землю пришлось помять и сплющить, так что образовались складки гор и каньонов. Сначала горы похожи на шкуру леопарда - рыжие с темными пятнами кустарников, а каньоны - со змеями на дне, поэтому никто там не живет и не гуляет. Потом леопардовые бесформенные горы постепенно переходят в точеные, чудесно подходящие для проекции на них разных состояний солнца и атмосферы, как глухие брандмауэры домов - для цветных слайдов. Пустыня за горами начинается сразу во всех слоях биосферы - воздух разрежен и прозрачен, к категории «растительность» относится только мясистое дерево гисперия в позе «руки вверх, ноги на ширине плеч». Единственное регулярно оживленное место - хай-вэй, в попутную сторону окрашенный белыми фарами, а во встречном направлении - малиновыми.

На границе Калифорнии и Невады имеется предмет радости и гордости местных жителей - самый высокий в мире градусник. Наглая вертикаль с зашкаливающей ртутью на фоне окружающей горизонтальности призвана помогать людям падать в обморок. И так-то жарко, а взгляд на все эти трехзначные градусы по Фаренгейту гарантирует потерю сознания.

Первое казино - отель находится в метре от границы. Это вам показывают три основных источника и составных части процветания Невады : гостиничные интерьеры - шедевры кича; шведские столы для обжор и уж конечно все игорное - фишки, шарики, тройки, семерки и тузы. Потом вдруг как-то под вечер, прямо посреди пустыни начинается Стрип, главная Лас Вегасская улица, идеальное место для испытания пустынных эмоций . Выиграл, проиграл, повторил ,еще раз проиграл - все равно всю пустоту этим не заполнишь. Укольник радости или огорчения игрока - как сам Лас Вегас, полоска электрического света, нарисованная в безвоздушно - бездушно пространстве.

Домик родителей Рона - белый с золотистыми украшениями, новый, абсолютно искусственный и окружен точно такими же жилищами. На прилегающей к домику земле создана маленькая каменистая пустынька из кушленных в магазине кусочков сформированной в виде гальки массы.

Вот здесь я буду спать. В окно показывают луну в виде игорной фишки. Ах нет, это круглый сделанный фонарь на улице. Ну и ладно. Вот сейчас отдохнем полчаса, попьем кока-колы, поедем чипсов, да-да-да посмотрим бейсбол по телику и поедем играть.

Сегодня вечером я представляю из себя особенную девственную ценность. Я ведь еще ни разу не трахалась с этим городом, не играла в его игру. А все эти рассказы про удачи новичков, должно быть, сильно бередят примитивно-романтических жадюг вроде моего хозяина. Итак, мы готовимся. Рон бросает на меня испытующие взгляды - оправдаю доверие или нет, принесу ли наживу?

Приезжаем мы не на описанный в моей толстой книжке про Америку Стрип, а в Старый город, где в доисторических гангстерских казино ставки ниже, а публика начисто лишена туристических помыслов. Все кроме меня сильно заняты делами. Я веду наблюдение. Крупье делятся на три группы. Самая многочисленная группа больше всего похожа на продавцов супермаркетов. Никакого таинства. Просто швыряют карты и отбирают фишки, отпускают шуточки и называя всех подряд лапочками и дарлинггами. Ко второй группе относятся естественно-необычные люди, например, очень старая очень рыжая женщина или очень красивый азиатский мужчина, почти марсианин. Самая малочисленная группа, к которой я смогла отнести всего одного человека - настоящие крупье, медиаторы между картами и людьми, при взгляде на которых сразу думаешь: «Вот она, безразличная судьба, слепой случай в человеческом облике». Девушка с черной челкой, единственный истинный представитель третьей группы, обладала самой заурядной внешностью. Отличало ее от всех остальных коллег абсолютно полное, беспрекословное отсутствие любых контактов с игроками. Ни взглядов, ни прикосновений, ни слов она не третила на всех этих анонимных двуногох по ту сторону стола. Взгляд исподлобья устремлен только на карты, движения рук по сути стандартны, как учат, видимо, в школе начинающего крупье: щелчок пальцами - полет карты - приземление карты прямо перед носом дрожащего от нетерпения испытателя судьбы. Но щелчок в ее исполнении чуть четче, параболическая траектория полета карты чуть круче, а приземление чуть более явно ставит на место получателя очередной шестерки. Сиди себе тихонько, не высовывайся, ожидай своей очереди, получи карту, узнай, что на ней нарисовано. А узнал, вырази адекватную эмоцию - умри от счастья или от горечи разочарования. Игроки в этом всем процессе - деталь самая безынтересная и наименее постоянная. Реже всего меняются колоды карт, чаще всего - эти самые игроки.

Вскоре благодаря моему девственно-игровому состоянию Рон выиграл на каком-то аппарате двадцатку и пригласил меня на рыбный шведский стол, где я моментально объелась дыней, чизкейком и холодными креветками. Так выразилось ухаживание за

мною и желание наконец-то подумать о личной жизни. Амплуа небогатой русской девушки, обучающейся каким-то таинственным социальным наукам в заморских университетах, идеально соответствовало рисунку роли Рона - доброго американца, который вот угощает ужином и при этом еще на Лас Вегасе собаку съел. Ничего нельзя было придумать лучше надписи «инженю» во весь лоб, чтобы у Рона даже язык не повернулся заговорить о чем-то таком, что слово-за-слово, жест-за-жестом, прикосновение-за-прикосновением привело бы меня к просыпанию Лас Вегасским утром при свете мимикрирующего под спутник Земли фонаря не в желаемом одиночестве, а в нежелаемой компании. Нужно было проявлять необычайную сноровку в туповатом похлопывании глазами и использовать специальные приемы отвлечения внимания, чтобы общение было дружески-интернациональным.

Больше всего меня тревожило, что мы проводим время не на описанном во всех моих книжках знаменитом Стрипе, а в каком-то захолустье. Хотя, как выяснилось позже, зря я сердилась на Рона. Захолустье туристическое было самым что ни на есть правильным местом для путешественника, желающего познать чужбину такой, какой знает ее местный житель.

Рон пробует удачу - присаживается на краешки стульчиков за разными столами, поглаживает морды «Одноруких бандитов». Он все знает: и что играть надо за самым ближайшим к входу автоматом - там вероятность выигрыша запрограммирована чуть больше, чтобы все время звенели монеты и завлекали, завлекали все новых и новых двуруких бандитов и не бандитов. Он знает и то, что самое ответственное место за столом при игре в блэк джек - последнее на сдаче карт. От того, кто там сидит, чуть-чуть зависит, победит ли крупье или игроки. Знает он и что при входе в некоторые рестораны выгодно упомянуть, что ты - гаваец. Тем более что место рождения и национальность в понимании Рона факты тоже весьма относительные. Рестораны эти принадлежат гавайцам и своих могут пустить бесплатно. Рон на этом трюке уйму денег сэкономил. Так мы блуждаем, кружим, смыкаем кольца то вокруг стола, то вокруг металлического ящика, Рон периодически вставляет 25-центовики в дырки. Однажды он по ошибке засунул монету в автомат с минимальной ставкой пятьдесят центов. Второй монеты не было, пришлось дать ему квартал. С точки зрения Рона мы находились в эпицентре счастья. Так думали его родители тридцать лет назад и так научили думать его. С видом адского соблазнителя, предлагающего невинной жертве в первый раз попробовать марихуаны, я высказываю идею доехать все-таки до Стрипа и посмотреть, что же делается, например, в классическом «Цирке-Цирке»,

в самом распоследнем «Луксоре» или в историческом «Фламинго», с которого вся эта история и начиналась. Рон впадает в смятение. Бывал он в том микрорайоне первый и последний раз лет десять назад и ручаться ни за что не может. Здесь вот все предельно ясно - любимый рыбный шведский стол, над всей улицей - пронизанный электричеством потолок, по которому каждые полчаса пускают длинную цветную волну. Пришлось применить шантаж в жестком стиле: «Рон, honey, мы должны туда отправиться ради меня и моего любопытства». Подкреплять уверенность его в правильности выбранного решения приходилось придуренными вздохами восторга по поводу нарастающей с каждым километром интенсивности цветового и светового мелькания Стрипа.

«Цирк-Цирк» и «Звездная пыль» - два самых ближайших к Старому городу заведения. А значит, самые старенькие из новеньких, худшие из лучших. Внутри «Цирка» воздвигнута огромная американская гора. Один-единственный раз я испытала длинный тахикардический приступ движения по такой горке. Дело было в крошечном тexasском городишке. Добрый десятилетний бойскаут угостил меня выданными в школе уцененными билетиками в луна-парк. Ужас двух мертвых петель, длинных вертикальных подъемов, отвесных падений в бездну был так силен, что глаза приходилось все время передвижения держать закрытыми. Позже нестерпимо захотелось света дня, я открыла глаза - но вокруг была абсолютная тьма. Потом бойскаут объяснил мне, что краткий участок маршрута проходит в туннеле, где я и пожелала солнца. В тот раз я не успела прокатиться на спокойной викторианской карусели, где несколько лет назад катался со своим младшим братом Джоном совсем маленький, тогда еще даже не бойскаут Сэм. Младшего брата больше нет. Стоя рядом с отцом двух мальчиков - живого и неживого - я видела, как видит он каждый раз, стоя на этом месте, проплывание зеленого дракона с Сэмом на спине и лохматой ретивой лошадки с Джоном. А рядом в карлсоноподобные пузатые вертолетки производили посадку совсем крохотные человечки, готовясь к своему первому в жизни полету.

В Вегасовском «Цирке» все было иначе - прежде всего потому, что отсутствовали дети. Собственно, карусели внутри казиношной гостиницы засунуты были и не для детей вовсе, а для подвыпивших вдавшив в детство игроков. Впрочем, эта категория посетителей тоже здесь отсутствовала, предпочитая проводить время в местах, более отвечающих взрослым потребностям - то есть где есть тетеньки с золотистыми волосами в серебристых платьях и где наливают спиртные напитки. Мы были абсолютно одни во всем этом необитаемом пространстве. Каждые три минуты ухал вниз с какой

-то водной горы, страшно при этом брызгаясь, пиратский кораблик - призрак без единого человека на борту. Резиновый динозавр выпрыгивал из кустов с целью напугать кого-нибудь еще, кроме нас, но не было дополнительного готового затрепетать от страха сердца. Захотелось домой. Понятие дома в данном случае было каким-то собирательным - от пластилиновой избушки на окраине Вегаса до Питерской родной кровати, в которой я уже не ночевала год почти в связи с дальним странствием.

По дороге в дом ближайший пришлось пообъяснять Рону, что руку на колено мое класть совсем не стоит, что не в жанре это нашей интернациональной дружбы. Рон затаил обиду. Оно и понятно - ощущение одуроченности неизбежно преследует отвергнутых мужчин, даже если глубокие слои чувств не затронуты.

Вечерняя обида к утру переросла в легкую злобу, что было уже несколько более неприятно. Мы пришвартовались где-то посередине Стрипа, где и предполагалось провести весь день до наступления сумерек, когда надо будет отправляться на дальнейший игорный промысел в тот же самый Старый город. Наконец-то начало осуществляться мое желание увидеть эту своеобразную интерпретацию всей мировой культуры.

Странный прятничный домик в эстетике Диснеевской Бело-снежки, подвесной мост, меню времен короля Артура, дрессированный попугай, выкаблучивающийся под менестрельские напевы - это такое средневековое, отель Excalibur. Именно это заведение то ли от любви, то ли от ненависти к искусству спонсировало недавно что-то значительное про многострадальное, российское. В замке с глазированными крышами и шпилями я поняла, в чем будет выражена месть мне. Голод. Да-да, я буду пытаться голодом. Рон посмотрел на меня взглядом готического палача и произнес восхитительный текст: «Знаю, что ты еще не успела проголодаться, поэтому предлагаю тебе посмотреть на фокусника с попугаем, а я пока позавтракаю».

И тут мне захотелось борьбы, движения, опасности - как гончей или норной собаке при звуке охотничьего рожка, как боевой лошади при бое военного барабана. Самостоятельно есть не буду, а когда одержу победу - пока еще не знаю, какую и как - и Рон станет меня умолять принять пищу, легко и презрительно откажусь.

Между Роновским завтраком и обедом мы бродили по разным отелям, и воображение мое постоянно потрясалось. Особенно нравились мне «живые картины» - в древнеримском «Форуме» вращался на креслице гипсовый император с открывающимся под фонограмму ртом, в венецианско-карнавальноном «Рио» по рельсам на потолке ездили гондолы и монгольфьеры с разряженными

навигаторами и авиаторами, на улице каждые полчаса извергался вулкан, а каждый час флибустьеры захватывали мирную каравеллу. В «Острове сокровищ» повсюду помещались сундуки, из раскрытых пастей которых свисали бусы, ожерелья и дорогие ткани. А в засвечивающемся по вечерам таинственным желтым светом «Мираже» жил тигр. Животное содержалось в белой-белой комнате под белоснежной искусственной пальмой. Одну из стен кто-то украсил сильно увеличенным лесом с картины Анри Руссо. Так Рон узнал кое-что про французскую живопись. Окружающая белизна, аиe?ii аиоц, нарушала самоидентификацию тигра и заставляла его думать, что он в большей мере полярный медведь. Да и в чем вообще можно быть уверен зверь в наше время, когда и люди - то не все уверены даже в том, какого они пола. Вот в Сан Диегском зоопарке есть полярные медведи совершенно обалдевшие от радости жизни в хороших бытовых условиях с постоянно доступной едой и поленьями для игр. Белый медведь должен быть нелюдимым, опасным и непредсказуемым. У калифорнийских же экземпляров характер испорчен абсолютно. Благополучная жизнь превратила их в милейших и добрейших существ. Самцы вместо того, чтобы сжирать своих детенышей и рыскать по округе в поисках автомобильного антифриза, от которого, как известно, животные эти имеют наркотическую зависимость, нежатся в чистейшем бассейне, обнимаются толстыми шерстяными лапами друг с другом и приплюсцовывают черные любопытные носы к отделяющему их от зрителей стеклу. Подобные трансформации тигров в медведей, а медведей в приятных бегемотиков подтверждают тезис о значении окружающего и окружающих для человеческой или зверской личности.

К позднему обеду мы прибрели в «Луксор». Рон отправился на очередной шведский стол, проникательно предположив, что я еще до сих пор не голодна. Любимый мой Египет, в котором даже самая высокая пирамида все равно какая-то человеческая, был проинтерпретирован неизвестными дизайнерами со страшной жестокостью и даже ненавистью. Легкое искажение идеальных пропорций классических строений и памятников превращало все в безжалостную карикатуру. Строители явно придерживались концепции о внеземном происхождении древнеегипетской цивилизации, поэтому внутренность пирамиды - отеля больше всего походила на интерьер космического корабля, прилетевшего к нам на планету с целью порабощения землян. Обед я решила заменить купанием в бассейне. Непреодолимое желание плыть - одна из моих ярчайших личностных особенностей. Плаваю я крайне медленно, но зато подолгу и с ощущением полного счастья. Прошлым питерским энергетическим летом, удивительно жарким и располагающим к купа-

нию в озере с торфянистым мягким дном, я думала, что в жизни моей есть лишь две истинные цели :минимум - плыть, максимум - плыть с ластами. После этого я переместилась в другой водоем - естественной формы огромный гостиничный бассейн на берегу Тихого океана, над которым шелестели пальмы и заходили на посадку в Сан Диегском аэропорту самолеты. Аэропорт находится в самом центре города, так что серебристые брюшки просматриваются идеально четко. В бассейне обычно я была единственным пловцом. В прибрежной пальме свили гнездо утки, вывели утят и стали их учить плавать в моем водоеме. Однажды вечером я обнаружила в самом укромном уголке бассейна десяток попискивающих новорожденных птенцов. Утка атаковала меня желтым клювом в плечо, отстаивая права на использование акватории в собственных интересах. Но я врзала ей рукой по щеке, показав кто тут царь природы. Потом утка успокоилась и больше не возражала против совместного существования птиц и человека в одной акватории.

«Луксорский» бассейнчик был очень мелок и до отказа заполнен купальщиками. Слиться с природой было здесь невозможно. Ни одна нормальная желающая размножиться утка на пушечный выстрел не приблизилась бы к этому месту. Плавание и жарение на солнце окончательно притупило голод. Рон еле выполз из буфета «У фараона» - корм-то на шведских столах в количестве не ограничен. Беседа не клеилась совсем. Нелепость нашего совместного пребывания с каждым часом становилась для Рона все более явной. Наживы ни денежной, ни сексуальной от меня ждать было нечего. Рону так хотелось бы провести день в инкубаторском домике, а вечер - в старом казино. Я же нарушала его привычный распорядок дня. Представления наши о романтическом, интересном и красивом были совершенно разными. В насковзь искусственным «Луксоре» не было практически ничего настоящего и хоть скольконибудь близкого по духу Египту. Неожиданно мы набрали на небольшую лавочку, чудом пролезшую в щель между двумя рядами игровых автоматов. На полках были вещи, сделанные в любимом мною Египте. Неужели и верблюдики завезли?

Да, конечно же, история с верблюдиком «Egyptian kiss» случилась именно в Луксорской лавке. Подросток-копт продавал все то же, что продается в сотнях других лавок - расшитые галабеи, алебастровых жучков, каменные пирамидки. Там были и кожаные верблюдики, но не такие, как везде. Верблюдики отличала уверенность и гордость. На мой вопрос о цене юноша ответил: «Egyptian kiss» и показал на свою щеку. Деньги его категорически не интересовали, на все мои предложения - только легкая улыбка, покачивание головой из стороны в сторону и показывание на свою щеку.

Верблюдик был так желанен, что я сдалась. Копт взял меня за руку и совершил одновременно два невесомых быстрых прикосновения - своими губами к моей щеке и моей рукой к низу своего живота. Нет, еще третье - взгляд прямо в глаза. Странно, но жесты эти были чисты и платоничны. Потом - приглашающий разворот в сторону благородных животных. Я выбираю одного с красной уздечкой и выхожу, прижимая мой результат натурального обмена к груди.

Верблюдики завезли и в Лас Вегасский «Луксор». Я сжимала в руках сахарское, африканское кожаное тельце, как вернувшийся на землю после скитаний в межпланетном пространстве астронавт прижимает к сердцу первый попавшийся на дороге булыжник. Верблюдик этот был бесценен, расстаться я с ним не могла, и он ушел со мной. Ведь все самые замечательные вещи или явления, как океан, ветер, хорошая погода, красота людей и природы - бесплатны и бесценны. Кары за мое единственное преступление не последовало, да я и не задумывалась как-то о возможных последствиях умыкания египетского сокровища.

Рон тем временем присмотрел в соседнем магазине подарок для любимой им племянницы - уродливую стеклянную палочку для перемешивания коктейлей, увенчанную изображением чего-то среднего между Монро и Нефертити. Для приобретения этого шедевра не доставало одного цента. Пришлось раскошелиться. Расходы мои в Лас Вегасе тем самым составили двадцать шесть центов. Рон был очень тронут собственным благородством и щедростью, проявленными по отношению к маленькой девочке. Далее последовал рассказ о его неистребимой любви к детям и предположение, что он будет образцовым отцом. Наверное, критерием образцовости отца была для него способность мужчины периодически покупать своему ребенку палочки для коктейлей. Палочку тщательно упаковали в бумагу с изображением Сфинкса. Мой верблюдик был в отличие от палочки совершенно голеньким.

Близился второй, заключительный вечер, близилось время ужина. Сегодня ночь не таила больше для Рона сакральных обещаний женского тела. Все между нами было ясно. Дружба или платоническая влюбленность не входили в репертуар поведения Рона, а значит я оказывалась для него бессмысленным довеском. Есть мне уже больше не хотелось, галлюцинации от голода имели тематику совершенного мною некоторое время назад круиза по Нилу. Почему-то особенно часто в голове высвечивалась картина вечерних костров на тихих берегах.

Хотелось туда, в финиковые рощицы. Или хотя бы побыть одной. На улице стемнело. Извержения вулкана стали искристее и заметнее на фоне черной ночи. Стены «Миража» с заключенным в

нем тигром засветились желтым.

Перед ужином Рон смилостивился и захотел показать мне уникальное для Лас Вегаса место. Есть некоторые учреждения, представить функционирование которых в этом городе практически невозможно. Кажется, что в Лас Вегасе никто ничему не обучается, не ходит в библиотеки и не... танцует. Для танцев как романтически-эротической человеческой активности Вегас абсолютно не годится. Здесь можно или быстро жениться прямо в казино-отелях или переспать с анонимно-случайным человеком. Женщины как носители прекрасного и эротического никого здесь не волнуют. Город этот в чем-то похож на один модный в советские времена большой букинистический магазин. Там работала очень красивая продавщица. Покупатели, в подавляющем большинстве мужчины, выстраивались в очередь, чтобы зайти в отдел иностранной литературы, а красивая продавщица запускала их небольшими партиями. Во время ожидания мужчины из очереди изгибали шеи и тела, чтобы рассмотреть корешки заветных книжек за веревочкой. На девушку внимание не распространялось совсем.

Для танцев во всем Лас Вегасе есть одно-единственное место, казино «Монте-Карло». Там к большому ресторану приделано крохотное танцевальное дополнение. Играло и пело что-то черноджазовое. Танцующих было человек пять. Рон направился к бару утолить голод и жажду. Танец был моим единственным спасением и шансом на одиночество. Очевидно, что танцы Рона не сильно интересовали, так что во время движения можно было остаться одной.

Двигалась я с потрясающим ощущением легкости, неприкаянности, бездомности и чужестранности. Было удивительно хорошо. Остальные танцующие куда-то незаметно удалились. Мое подвижное одиночество было настоящим полетом без взлета и посадки, как будто так всегда и было и как будто так и надо.

Примерно через час за ближайший стол уселся со страшным шумом очень довольный жизнью человек. Видимо, он выиграл какие-то шальные деньги и теперь активно заказывал еду и выпивку, отпускал свои восторженные комментарии по поводу всего, в частности и моего танца, и даже аплодировал. Я же побаивалась за свой пиджак, оставленный из-за танцевальной разгоряченности на соседнем с веселым дяденькой стуле. Мне казалось, что с одеждой моей должно произойти что-то драматическое - ее по ошибке украдут, истопчут ногами или засыпят жареной картошкой. Потом человек надел большую техасскую шляпу и исчез. Я тоже вскоре покинула свой танец, вылезла из него, как из чудесной норки или шкурки. Когда я взяла пиджак, из него черно-зеленой стрекозой

вылетела пятидесятидолларовая купюра. Добрый везунчик подарил за танец. Красота и женственность - великая сила. Некоторые измеряют эти качества в денежном эквиваленте. Выделяемая мною порция того и другого была оценена в полтинник. Не знаю, много это или мало.

Это был второй полтинник, доставшийся мне в Америке в результате каких-то странных завихрений, переносящих деньги по неведомым траекториям из одного кармана в другой. Первые пятьдесят долларов прилепил к моей ноге Тихий океан, когда я долго шла по его берегу где-то в районе Мексиканской границы.

Прибыль моя в Лас Вегасе по балансу дохода и расхода составила сорок девять долларов семьдесят четыре цента.

Рон ждал меня у бара. В глазах его было что-то новое - человеческое и чувственное. «Есть хочешь? Ты так красиво танцевала. Я все время смотрел на твои руки. Ты часто ходишь танцевать? Можно тебя просто поцеловать?» Сразу так много вопросов. И такое потешение.

Я попросилась домой. Не хотелось ни есть, ни играть, ни вести наблюдение. Дома Рон романтично и грустно пожелал мне спокойной ночи, а сам отправился опять в свою любимую игорную местность.

Утром Рон был необычайно тих и задумчив. Во мне снова пробудилось чувство голода. В Роне оно никогда не засыпало. По этому поводу я была приглашена в мой любимый сетевой ресторан - Международный Блинный Дом. За завтраком я поинтересовалась результатами ночной игры. Рон спросил, не слышала ли я ночью, как он парковал машину. Услышав мое «нет», сказал, что играл три часа, проиграл триста долларов и вернулся домой около четырех утра. Потом Рон вдруг поведал мне ужасно печальную длинную историю о том, как семь лет назад ему изменила невеста, и как ему с тех пор одиноко в жизни. Монолог Рона продолжился в машине. Слегка было затронуто мое отзывчивое и доброе сердце, еще раз вчерашний танец, его любовь к океану и серфингу и общая разочарованность жизнью. В конце Рон неожиданно добавил: «Помнишь, ты говорила, что не выносишь вранья? Прости, я совсем недавно соврал тебе. Я вчера проиграл не триста долларов, а сто. И играл не три часа, а час». Наступило краткое молчание.

С моей точки зрения обман этот был начисто лишен всякого смысла. Я пыталась постичь мотивы вранья. Наверное, он хотел показаться в моих глазах богаче и расточительнее, чем был на самом деле, поэтому прибавил к сумме проигрыша пару сотен. Но вот предположений, зачем соврал про длительность игры, не было ни одного. Пришлось поинтересоваться версией самого Рона. От-

вет последовал совсем уж дикий: «Это потому, что я переспал с женщиной». Ничего не понимаю, бр-р-р. На всех, конечно, по-разному действует сексуальная близость. Но такого я еще не слышала.

«Я играл примерно час, продул сто баксов. Рядом сидела девчонка из Оклахомы. Она мне предложила пойти поужинать на рыбном шведском столе. Я уже знал, что мы будем вместе. Вернулся я домой в пять утра почти. Ты не слышала, когда я приехал. Но если бы даже слышала, то пять и четыре - это почти одно и то же. Не то, что час и четыре. Если бы я сказал, что играл так долго, а проиграл всего сто долларов, ты бы не поверила. Сто долларов проигрываются за час примерно, и я должен был бы вернуться гораздо раньше. Поэтому пришлось соврать насчет денег - это менее заметно, чем насчет времени».

К этому времени пустыня вокруг кончилась. Оставшиеся четыре часа дороги по зеленым каньонам до Сан Диего мы молчали.

МАРИЯ ЧУРСИНА

РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ

Предисловие переводчика

Публикуя перевод статьи Марии Чурсиной, необходимо сказать несколько слов об авторе.

Мария Чурсина родилась в Москве, в 1969 году. В 12-летнем возрасте с матерью эмигрировала в США, где с отличием окончила Нью-Йоркский университет, после чего недолго проучилась в аспирантуре Иерусалимского университета по специальности «востоковедение». В 1991 году она возвращается в Москву, живет там и работает до своей трагической гибели в 2000 году.

Статья «Разговор с самим собой» написана в период углубленного изучения восточных религий и попыток реализации некоторых практик на собственном опыте, в частности, буддийской медитации. Тем замечательнее остротенное, достаточно рациональное и не лишённое юмора, описание полемики, ведущейся представителями разных мистических направлений. Тем более, что название статьи подчеркивает, что полемика ведется внутри сознания автора, такая мистическая полифония, ведущая к уяснению сходств и различий приверженцев разных течений. Мне кажется, она будет любопытна и читателю.

Изабелла Мизрахи

Индуист: Когда я был маленьким, меня преследовала мысль, что во Вселенной нет ничего, кроме моего разума. Я все время думал, что если смогу достаточно быстро обернуться, то обнаружу пустоту позади себя: пустой, черный вакуум, может, даже и не черный. «Как я могу знать, что я знаю, что знаю», – сверлило у меня в мозгу. С тех пор во мне жило это огромное смутное ощущение – непознанная черная дыра, и время от времени я ощущал ее молчание. Я знал, что она не может выразить себя словами, но способна придавать им значение, она вбирала в себя все известное мне и все же не была ничем из этого. Она всегда ускользала, если я пытался обнаружить ее. Вскоре я понял, что в самом поиске есть

противоречие, как если бы рыба пыталась отыскать аквариум, глядя через его стекло.

Мир – это не конец. Это лишь рубеж. Мы страдаем от безысходности и представляем, что мир с его болью, заботами и вещами реален, тогда как в действительности его нет. Столь многие сочиняют свой мир, а потом страдают, запутавшись в ими же брошенных сетях. Забыв про источник, они бредут пыльной дорогой от смерти к смерти.

Буддист: Мир – это ни конец, ни рубеж. Нет ничего больше и ничего меньше его. И не важно, реален ли он. Не существует ничего, кроме как в отношении к чему-то. Что есть сегодня без вчера и завтра? Что есть здесь без там? И оттого, что мир не имеет ни конца, ни начала, единственно важный вопрос – это страдание человека.

Существует Бог или нет – не важно. Идея Бога во многих случаях усиливает человеческое страдание, ибо в ней, как и в идее иного мира, отражается присущая человеку жажда чего-то отличного от того, что есть. Однако, желание быть другим поощряется и называется раскаянием. Чувство вины, мне кажется, единственный грех для последователей буддизма.

Еврейский мистик: Прежде всего, я считаю, что христианство и иудаизм существенно различны в своих представлениях о Боге. Еврейский Бог если прощает, прощает сразу, нет нужды настаивать на греховности. Возврат к Богу – вот все, что нужно. Знакомы ли вы с идеей Тшувы?

Буддист: И все же это не имеет отношения...

Суфий: Что ж, быть отделенным от Бога – единственный грех, и именно в этом причина человеческих страданий. Когда мы живем отлученными от Бога, наша жизнь наполнена несчастьем заблуждения и то, что нам кажется знанием, лишь усугубляет наши заблуждения.

Даос (прокашлявшись): Стена, которую ты видишь перед собой, кажется целой, но если бы ты был одним из атомов, составляющих ее, ты был бы в постоянном движении с другими атомами, это бы и составляло твою единственность по отношению к ним. И потом существовала бы связь между атомами стены и дивана. Я хочу сказать, зачем выделять Бога из потока движения?

Суфий: Бог включает в себя движение. Бог – это то, что дви-

жется. Атомы – проявление Его вечно-творящей силы. Когда мы соединяемся с Ним, форма больше не имеет значения, нам больше не важно...

Еврейский мистик: Завеса поднята?

(Даос и индуус усмеваются).

Суфий (подняв указательный палец): Если в нас есть храбрость расстаться с завесой знания, принять наше невежество и отдаться Ему с любовью, то – да.

Еврейский мистик: Но не следует ли ценить то символическое строение, через которое он является нам? У нас нет прямого доступа к этой бесконечности и, тем не менее, мы можем видеть ее отблеск в самых простых вещах. Связь между нами и Богом может быть очень личной, но существует пропасть, которую мы не способны преодолеть.

Индуист: Я был воспитан в еврейской традиции. В пятнадцать лет я впервые попытался взглянуть в Бога. Вгляделся – и столкнулся с этой загадкой. Бог не был той частью меня, которую я захотел узнать, но был мною больше, чем любая часть моего существа, чем мое тело и даже разум...

Буддист: Мы страдаем, когда хотим чего-то другого, чем то, что есть. Даже если получаем предмет своих желаний, то страдаем от беспокойства, от возможности потери. Хотеть – значит не понимать природу жизни. Жизнь – это беспрестанная смена, и мы не можем удержать ее ускользающие удовольствия без боли. Каждое мгновение утрачено, как только возникает, и поэтому мы должны принимать перемены без чувства потери или приобретения. Навсегда – это теперь, и когда мы осознаем это, мы больше не тоскуем по «навсегда».

Суфий: Это так, мы страдаем от наших желаний. Но только в том случае, когда они исходят от наших маленьких «я», когда мы самонадеянно верим в то, что знаем, чего хотим. Если мы даем Богу выразить Его желание через нас, то ощущаем бесконечную радость.

Буддист: Радость – это пробуждение.

Даос: В самом деле, Вселенная – священна. Ее нельзя улуч-

шить. Если попробовать ее изменить – разрушишь. Попробуешь удержать – утратишь. Поэтому мудрец избегает крайностей, излишеств и самодовольства.

Суфий: Я знаком с вашей философией Срединного Пути, избегающей крайностей, но, хотя нам не следует быть под контролем наших эмоций, мы все же должны сметь жить страстно, поскольку это есть выражение благодарности Творцу.

Буддист: Как можно быть страстным в благодарности? Если нет чувства совершенной свободы, тогда невозможна и истинная оценка, а лишь осторожное восхваление посторонней силы в надежде на ее благоволение, то есть на то, что она будет удовлетворять наши желания.

Суфий: Чистую благодарность не испытываешь с умыслом. Умысел означает, что ты думаешь только в категориях формы и значит не полностью доверяешься Ему. Когда происходит истинная отдача, все формы исчезают, и при полном слиянии ты возносишься вместе с Ним за пределы времени, пространства и формы.

Индуист: Мне кажется, этот поиск должен быть направлен внутрь, а не вовне. Я испытываю спокойную радость, которой вы жаждете, когда внутренне концентрируюсь и отключаюсь от мира форм. И как можно знать о такой вещи, как вневременность, если она уже не заключена в тебе?

Еврейский мистик: Мы познаем Бога нашим ограниченным сознанием. То, что мы имеем в виду и знаем о вневременности – не есть сущность Бога. На самом деле Он может быть совершенной противоположностью нашим представлениям. Конечно, называть Бога хорошим или плохим имеет смысл только в категориях человеческого мышления. Но разве мы не обращаемся всегда к кому-то или к чему-то в своих сокровенных мыслях? Если бы все наши мысли были направлены на нас самих, мы были бы совершенно исключены из мира. Не так ли?

Буддист: Мысли направлены на нас самих? Но что есть мы? Чем может быть эго, как не автоматом, проигрывающем желания? Мы говорим о нашем эго, что оно есть то или другое, но фактически используем его в роли коллективного имени для различных желаний. Невозможно отключить чувства от мира форм, особенно если принять во внимание, что нет никого, кто бы мог это

осуществить. Перестать взаимодействовать с естественным миром означает отказаться от желаний, от боли и от иллюзий. Есть мир внешний и внутренний: ни тот, ни другой не существует сам по себе. Мы не можем изменить сущность, не изменив ее проявление, или изменить проявление без сущности. Поэтому нет ни сущности, ни проявления. Будда – это просветленный человек, свободный от заблуждений и наблюдающий свой собственный разум и, соответственно, его окружение. И при этом он не привязан ни к тому, ни к другому.

Даос: Но успокойтесь, слишком много страсти, чтобы не иметь страстей или избавиться от них, само по себе лишнее бремя. Слишком концентрироваться на чем-либо не естественно: мысли ведут к мыслям, желания порождают желания.

Буддист: Действовать безразлично не есть в действительности безразличие; не желания ведут к страданию, но наше отношение к желаниям. Два – но не два, и не два – но два, означает, что, если я, скажем, хочу сигарету, то важно, как я ее хочу. Жажда ее и затем выкурить – порождает страдание. Желание поработит меня. Отказаться от нее совершенно и постараться забыть о ней – также поработит: я буду хотеть еще больше. Когда же я осознаю свое желание и отпускаю его, кончается пагубная страсть и начинается наслаждение.

Даос: Рефлексия по поводу качества своих желаний – тоже мысль, не более и не менее ценная, чем остальные.

Перевод с английского Изабеллы Мизрахи

БОРИС КОЛЫМАГИН**РЕКА И ПЕСОК**

Памяти Дмитрия Авалиани

Родился в 1938 году. Учился на географическом факультете МГУ, работал сторожем. Выпустил четыре книги стихов, палиндромов и экспериментальных текстов. Погиб 19 декабря 2003 года.

Дмитрий Евгеньевич Авалиани. Маленький человек с горбом, с большой папкой под мышкой. А в папке – бесконечные листовертни. Прочитаешь выведенные витиеватыми иероглифами слова: «Река и песок». Перевернешь лист на 180 градусов. И вот уже «Адам и Ева». Хотя вроде бы те же самые буквы-закорючки. Интересно. А Авалиани вытаскивает еще один лист и крутит перед самыми глазами, еще один...

Митя любил крутить – в разных местах, в разных компаниях. Ему как воздух нужны были общение, среда, свой круг.

Но круга как такового не возникало. Так, множество разных знакомых, соприкосновений по касательной.

Мы познакомились с ним в издательстве НЛО, куда он вместе с Герой Лукомниковым пришел сторожить. Конечно, на поэтических вечерах я встречал его и раньше, но до разговоров дело не доходило.

Авалиани-сторож появлялся, как правило, в начале двенадцатого. В железной двери скрежетал ключ, он вваливался – заросший, в не совсем чистой одежде – бродил видно где-то. И мы шли с ним на кухню – чаевничать. Здесь он охотно показывал последние произведения: анаграммы, моностихи и даже чашку с запечатленным на ней листовертнем «Выпей» «чайку». Рассказывал – о том, как поднимался вверх на воздушном шаре в Тверской области, как придумал слоган для рекламы, как участвовал в составлении антологии минимализма.

Ночью редакция становилась для него мастерской: Авалиани работал, активно используя принадлежащие издательству бумагу, принтер, ксерокс. На этом однажды и погорел: Ирина Прохорова, владелица сего предприятия, случайно прознала про эту особенность творческого метода Дмитрия Евгеньевича и прогнала, как сокрушенно заметил Олег Асиновский, «батьюшку».

Дмитрий Евгеньевич в редакции не только трудился, но и гулял. С тем же Асиновским однажды они после принятия соответствующих доз пошли проветриться в ближайший лесок и заблудились, Дмитрий Евгеньевич ночевал холодной ночью под деревом. И заболел.

«Ай-яй-яй» - сказали бы мы нашкодившим детям. Но справедливости ради стоит заметить, что с Митей подобные происшествия случались редко. И божемный образ жизни его не увлекал. Во всяком случае, я гораздо чаще сталкивался с другим Дмитрием Евгеньевичем – доверчивым, легко ранимым, по детски открытым.

Помню, как он приехал на самокате в «Библио-Глобус» и зашел к Асиновскому в гости – прямо с самокатом в офис на второй этаж. В этом жесте был весь Авалиани.

По-детски он смотрел на мир, по-детски устремлялся вверх. Как происходило это в доме у священника Стефана Красовицкого. Дмитрий Евгеньевич буквально карабкался по приставной лестнице на чердак, где совершалось богослужение. О. Стефан принадлежал к «зарубежникам», Московский Патриархат считал «безблагодатным» и служил у себя в домово́й церкви. Авалиани жил на даче у брата неподалеку и нередко приходил на службу к борцу за чистоту православия.

Красовицкий был поэтом, о котором ходили легенды. Дома у него стояла пишущая машинка Ахматовой, появлялись многие деятели. И, видимо, не случайно, что пути Авалиани и Красовицкого пересеклись.

Но это пересечение не имело под собой канонической почвы. Дмитрий Евгеньевич заходил «к Стасю» просто потому, что жил рядом и видел в нем собрата по цеху. В духовном плане он был больше связан с кругами о. Александра Меня, хотя церковь посещал довольно редко – раз или два в год.

О духовной жизни мы как-то раз говорили в Фирсановке, на берегу лесного озера. Авалиани только что проиллюстрировал рисунками мой сборник «Прогулки». И мы отправились отметить это чрезвычайно важное для мировой культуры событие в лес. Помнится, я жаловался на одиночество, мол, не с кем даже погулять. И он сказал: «Вот, теперь есть я».

Мы сидим в нескольких метрах от воды на поваленной березе. Авалиани прислонился к стволу. Сгорбился. Я непрерывно вскакиваю, подбрасываю ветки в огонь, помешиваю в котелке суп.

Перед едой читаю русифицированный «кочетковский» перевод «Отче наш» с окончанием «избавь нас от зла» (вместо церковнославянского «от лукавого»). Авалиани оживает: «Это отец Георгий перевел? Меня всегда это место смущало. Так лучше».

Мы едим, пьем пиво, смотрим на чаек над озером. Дмитрий Евгеньевич подробно рассказывает о последней поездке с Аркадием Ровнером на юга. Ровнер – махровейший оккультист, организатор школы духовного совершенствования. После долгого пребывания в Штатах он нашел нужных спонсоров для «проработки» своего проекта. Авалиани поехал в качестве преподавателя, и побывал на море, можно сказать, на халяву. Тогда мне еще было невдомек, что за подобный подарок «мага» придется платить. Авалиани погиб, возвращаясь со свадьбы Ровнера. Его сбила машина в двух шагах от дома.

По пути на станцию заходим к моему знакомому Игорю Эшенбаху. Они ровесники, но живут в параллельных мирах. Впрочем, есть у них и что-то общее: близость кур. Ни Игорь, ни Митя эту живность не держат. Но куры разгуливают в непосредственной близости от места дислокации моих знакомых.

Дмитрий Евгеньевич жил в то время на даче у брата в районе платформы «47 километр» Ярославского направления. Мы с Асиновским однажды добрались-таки до его хором. На участке – ели, березы, к которым привязаны качели, пруд. К дому примыкают сарай и отгороженная площадка для кур. Сосед, присматривающий за домом, заботится о сих созданиях.

Дмитрий Евгеньевич обитает на втором этаже. Здесь он организовал и свой небольшой музей – какие-то свитки, черепки, майки и даже кресло – то ли место для медитаций, то ли музейный экспонат. Недавно здесь побывала съемочная группа из Японии. И Митя, видимо, под впечатлением визита, увлеченно вычерчивает иероглифы.

Мы пьем вино на широкой веранде, читаем стихи. Он почему-то вспоминает Грузию, свою еврейско-грузинскую кровь, говорит, что из мира уходит дружба.

Еще раз мы приехали с Асиновским сюда через год после смерти Авалиани. Постояли перед калиткой. Вышли на мартовскую, покрытую настом поляну. И выпили за Дмитрия Евгеньевича, за Митю.

РОБЕРТ ГРЕЙВЗ (1895–1985)

Перевод с английского Григория Кружкова

Плащ

В изгнание взял он несколько рубаш,
Горсть золотых и нужные бумаги.
Но ветер над Ламаншем дул навстречу
И раз за разом отгонял корабль
В Дил, Ярмут или Рай. И лорд, страдая
От качки, заперся в каюте. Вскоре
Его находим мы, допустим, в Дьешпе,
Где, только лишь баул распаковав
И свой ночной колшак на гвоздь повесив,
Он днями напролет играет в карты,
Фехтует ради упражненья или
Любезничает с горничными. Ночью
Он что-то пишет. Все идет отлично;
Французский для него почти родной,
И местное вино совсем недурно,
Хотя и резковато. Поутру
Слуга приносит свежую газету
И чистит шляпу. Джентльмен повсюду
Как дома, объясняет камердинер,
Заботы об усадьбе отвлекли бы
Их милость от теперешних трудов.
Отъезд на несколько ближайших лет
Он думает, окажется полезным.
Ходатайство? Заступничество друга?
В том нет нужды. Изгнание не страшит
Того, чье правило – быть патриотом
Лишь своего плаща. Должно быть, это
Разгневало высокую персону.

Как снег

То, что случилось с ней, случилось тайно,
Как снег, упавший ночью. Мир проснулся
И сразу же зажмурился от света,
Невольно бормоча: «Ослепнуть можно», –
И потянулся, чтоб задвинуть штору.
Она была, как снег, согревший землю,
Теплей на ощупь, чем ждала рука,
Как снег, укрывший все, что было ночью,
Пока не собирающийся таять.

Любовь, дерзи и яблоко грызи

Любовь, дерзи и яблоко грызи,
Высоко, гордо голову неси,
Купайся в солнечных лучах беспечно;

Не вслушивайся, как во внешней мгле
Хрипит и мечется, грозя земле,
Слепая, злая, бешенная нечисть.

Не бойся – смейся, пой и веселись,
В одежды праздничные облекись,
Пока горячка крови не остыла;

Спокойно шествуй между тьмой и тьмой
Сверкающей, как брачный пир, стезей –
В просвете этом узком, как могила.

Портрет

Она всегда естественна со всеми,
Включая незнакомцев. А другие
Жеманятся и лицемерят даже
С мужьями собственными и детьми.

Она проходит в полдень незаметно
По площади открытой. А другие

Фосфоресцируют - всей толщей бедер -
В любом неосвещенном переулке.

Она обречена, кого полюбит,
Любить безудержно и беззаветно.
А эти называют ее шлюхой
И оскорбленно морщатся при встрече.

Таков ее портрет - упрямый, юный;
Прядь вьется, взор сияет вопрошая:
«А ты, мой милый? Так же ль непохож
Ты на других мужчин, как я на женщин?»

Трофеи

Когда все кончено и бой утих,
Военные трофеи пригодятся:
Оружье, шлемы, флаги, барабаны
Украшают могут холл и кабинет,
А мелкую добычу мародера -
Монеты, кольца, золотые зубы
И прочее - их можно сбывать втихую.

С трофеями любви - другое дело.
Когда все кончено и плач утих,
Портреты, прядь волос и эти письма
Не выставишь публично, не продашь,
Сжечь, возвратить - рука не повернется.
И в сейф я не советую их класть -
Чтоб не прожгли пятивершковой стали.

Очень аккуратно

Когда я прибыл к ней,
Трава лоснилась гладко,
Чуть веял ветерок,
И шутки были к месту,
Картинки на стене

Висели как по нитке,
Все было аккуратно.

Она как раз в грессбухе
Вычеркивала цифры,
Заканчивая счет,
Кудряшки на висках
И лак на черных туфлях –
Все было аккуратно.

Стояла тишина,
Ни музыки, ни шума,
Струился мягкий свет
И тикали часы:
Все было аккуратно.

«В конце концов, логично», –
Я повторял себе, –
Настал и мой черед.
Все очень аккуратно».

Смерть, углубившись в счет,
Меня не замечала,
Ей важен был итог –
Чтоб было аккуратно.

«Неправда ли, – раздался
Невидимый вопрос, –
Все очень аккуратно?»

Застывший, я стоял,
Не в силах молвить слова,
Ни засмеяться вслух,
Ни засвистеть, ни тронуть
Ее за локоток,
Чтобы привлечь внимание.
Все шло обычным ходом,
И я могу сказать:
Все было аккуратно.

Воскрешение

Чтоб мертвых воскрешать,
Не надо быть великим чародеем;
Нет в мире безнадежных мертвецов:
Подуй на угли отгоревшей жизни –
И пламя вспыхнет вновь.

Верни его забытую печаль,
Его увядшую надежду,
И почерк перейми, –
Чтоб стало для руки твоей привычным
Подписываться именем чужим.

Хромай, как он хромал,
Божись божбой, которой он божился,
Он черное носил – и ты носи,
Он мучился подагрой –
Мучься тоже.

Найди служившие ему предметы:
Перо, печатку, плащ –
И на основе их построй жилище,
Чтоб, возвратясь, придирчивый хозяин
Узнал свой дом.

Но, воскрешая, помни:
Могила, давшая ему приют,
Не терпит пустоты;
Отныне в саване его истлевшем
Сам ляжешь ты.

Дону Хуану в день зимнего солнцеворота

Есть лишь один сюжет, достойный песни,
Достойный уст певца
И слуха детворы замороженной;
Одна строка случайно забредет

В обыкновенный рассказ –
И он, как молнией, вдруг озарится!

О чем там речь? Об именах деревьев –
Или о кликах птиц,
Вещающих о Тройственной богине?
О тайнах Зодиака, что кружит
Под Северной Коронай,
Вращая судьбы тронов и владык?

Все повторится – и ковчег, и волны,
И женщина в волнах;
И жертва новая опять пройдет
По кругу неизбежному судьбы:
Двенадцать звездных стражей –
Свидетели восхода и паденья.

О чем та повесть вещая – о Деве
С серебряным хвостом
Чешуйчатом? В одной ее руке –
Айва, другой она призывно манит.
Как устоять Царю?
Он за ее любовь заплатит жизнью.

Или о Змее, вставшем из пучины,
Исчадь адских сил,
В чью пасть он прыгнет, обнажая меч,
И будет биться три дня и три ночи,
Покуда океан
Не изблюет его на берег плоский?

Снег валится на землю, ветер воет,
Сыч ухает во мгле,
Страх заглушает в сердце зов любви,
Печали искрами взлетают в небо.
И стонет пень в огне:
Есть лишь один сюжет, достойный песни.

Вгляни: ее улыбка благосклонна;
Забудь о кабане,
Втопгавшем в прах цветок едва расцветший.
Ее глаза синей морской волны,
Белее пены лоб,
И все обещанное совершится.

Ноги

Сперва была дорога,
Она вела вперед –
То под гору, то в гору,
То прямо, то в обход.

А по дороге ноги
Куда-то шли и шли,
Мелькали их лодыжки
То в глине, то в пыли.

А сверху лился дождь,
В канавах клокотало,
И палки под дождем
Стучали как попало.

Что их тянуло вдаль?
Ей-богу, я не знаю,
Должно быть, участь ног –
Бессмысленная, злая.

Ноги и дороги
Связал, как видно, черт:
Шагай туда-обратно,
А, в общем, никуда.

Мои, по крайней мере,
Стояли в стороне,
Они не принимали
Участия в гоньбе.

Смотрел я, улыбаясь,
И громко хохотал:
Куда они так мчатся,
Как будто на пожар?

Да ноги мои вряд ли
Услышали меня,
Заметили едва ли
Ухмылку на лице.

И вот, на травке стоя,
Почувствовал я вдруг
В коленях содроганье,
В ступнях какой-то зуд.

Я ноги свои тронул –
И в тот же самый миг
Они, рванув, помчались
По лужам напрямик.

Уцелевший

Умереть в безнадежном бою, но воспрянуть опять
От возни мародеров – избежать их гнусных когтей
И вновь стоять на широком парадном плацу
Изукрашенному шрамами и орденами, с оружием в руках,
Правофланговым в строю необстрелянных молодцов –

В том ли счастье? Остаться случайно в живых,
Когда остальные погибли? Ноздрями вдыхать
Аромат утренней розы, расцветшей в саду?
Слушать трели щегла на заборе, поющего так,
Словно он сам только что изобрел этот мир?

В том ли счастье – после самоубийства двоих
(Сердце, разбившееся о сердце) вернуться назад
Как ни в чем не бывало, пригладить прическу, смыть
кровь
И невинную, юную увести в теплый мрак,
Шепчущую впотьмах: «твоя, навеки твоя»?

Перевод с английского Григория Кружкова

МАРК СТРЭНД**Перевод с английского Александра Вейцмана****Бывает и такое**

Бывает и такое. И этом возрасте случается, приходят
внезапная любовь, внезапный пир лучей.
Ты пробуждаешься, заметив свечи в канделябрах наготове.
Акрополь звезд. Звук сновидения, впитавший влагу простыней.
Звук андантино, восходящий в теплый воздух.
Бывает и такое. И пробуждается былой набор костей.
И прежде неизбежный прах уже не прах, а порох.

Элегия отцу**(6. Новый год)**

Теперь зима, и это Новый год.
Среди живых тебя никто не знает.
Вдали от звезд, от светового ливня
лежишь ты под оградой из камней.
Нет нити, чтоб вернуть тебя назад.
Укрывшись тьмой минувших наслаждений,
храпят твои друзья и спит их память.
Среди живых тебя никто не знает.
Ты превратился в стража пустоты.
Ни ливня дикого, ни вольного мужчины,
шагающего прочь, тебе не видно.
Не видно солнца, уводящего луну
в небытие, как незаметный отзвук.
Не видно и израненного сердца,
что взорвалось бессмертием огней.
По прежним улицам несется новый прах.
Ватага черепов сменилась дымом.
Зрачков без света, оттисков толпы:
нет, ничего отныне ты не видишь.
Теперь зима, и это Новый год.
Все кончено. Смирившиеся судьбы

пытаются приблизить просинь неба.
А судьбы безысходные, напротив,
уходят вглубь, к порогу мерзлоты.
Все кончено. Тебя никто не знает.
Над черною водой – горенье звезд.
Под черною водой – белеют камни.
Еще есть берег: там живут и ждут.
И ничего назад не возвращается.
Ибо все кончено.
Ибо – молчание, а в прошлом было имя.
Ибо зима, и это Новый год.

Danse d'hiver¹

Нам всё пришлось познать: тревогу дали,
сны с продолжением, стремление к печали,
гул небоскребов, заглушающий метель.
Познать аллею в центре города, где пламя
костра одних объединяло вечерами,
других же – изгоняло на панель.

Опять луну сопровождает бледность.
Опять жизнь ближнего одолевает вечность.
Есть путь аллеи, но где виден путь иной?
Коль мы уйдем в метель, не ведая о курсе,
кто распознает нас, когда потом вернемся?
Кто встретит нас, когда придем домой?

Ностальгия

Дональду Джастису

Профессора английского сдали в прачечную мантии
и, подобно мантиям, сдались все вместе на волю.
Персидский ковер завораживает комнату кружевами памяти.

¹ *Зимний танец (фр.)*

Вдоль песка проступает грусть граммофонных триолей,
волнуя морские складки и океанные впадины.
Это прошлое. Это только прошлое, не боле.

В зимний вечер

Я появился на вечеринку, где голливудские звезды
Толпились, предавались воспоминаниям и пили.
Одна красотка, сбросив с себя платье, припала
К ковру и вспомнила, как некогда превратился в принца
Супруг, едва приметив теневой цветок ее гениталий.
Скольжение луча торопилось вниз с холмов бюста
К бессвязному плетению ожерелья. И вскоре исчезло.
А где-то на лужайке Platters пели «Twilight Time»:
«Heavenly shades of night are falling...» Это был сон, то был сон.

Затем я долго стоял у окна, на запорошенном поле
Заметив махину розового быка. Заметив шерсть на лунном свете.
И веяние гирляндобразно заволакивало серебряный воздух.
Когда же бык поднимал голову, издавался звук, который доносился
до преисподней из четырех стен. И это тоже был сон. Был сон.

После длинной грустной вечеринки

В ту ночь говорили
что-то о пасторали в полумраке, что-то
о проходящем времени, о снах в преддверьи утра,
о проходящем утре.

В ту ночь говорили,
что ветер затихает, но после возвращается,
что панцирь скорлупы хоронит смертный ветер,
но не вредит погоде.

Была длинная ночь,
и говорили что-то о холодной пасторали,
где сбрасывает свой белок луна, где дальше
всё то же и всё так же.

В ту ночь вспоминали
и довоенный город, и залу при двух свечах,
и вспоминали танцы, взгляды, адюльтеры.
И временем казалось,

что ночь не уходит.

Уже и музыка угасла, и вокруг все зевали,
но разговоры непрерывно продолжались...
о звездах... о планетах.

Мужчина в черном

Бродя по центру, я заметил, как навстречу
мне ввечеру шел одинокий силуэт.
Мужчина в черном: плащ, ботинки – в черном.

Над торсом возвышались жестом руки.
Мерцали кольца в темноте на тонких пальцах.
Он был, как звездами наполненная ночь.
И звездной ночь была. И в летний вечер
стан небоскребов обрамлял тогда тропу.
Мужчина в черном подошел ко мне вплотную.

Его усы блестели, как могли бы
блестеть кинжалы или некие оскалы.
Я поздоровался, а он ответил тенью.

И этой тенью я был принят в черный цвет.
И содрогнулся, и заплакал. Знойный воздух
вращал в пространстве слезы, словно люстры.

Платье

Приляг на хорошо освещенной горе,
так, чтоб стрелка луны на щеке отражалась,
а сама плоть скрылась под белыми складками платья;
и ты уже не услышишь ни звуков крота,
удлиняющего геометрию темноты,
ни суеты свиной, проникающей ночью

в элегию мудрости, ни стихотворения,
набившего твою подушку голубиной перьев.
Но стоит тебе выскользнуть из платья и отойти в тень,
как крот, сова и стихотворение тебя непременно настигнут,
и ты попадешь во владения иной темноты, во владения,
в которых твой поиск совершенства ничего не изменит.

Ночной ужас

под Леопарди

Альцет:

И снова я скажу тебе, Мелисс:
Луна, какой ее я вижу ныне,
О сне вчерашнем мне напоминает.
Стоял я у окна, смотрел на небо,
И вдруг увидел: падает луна.
Она летела на меня – все ближе, ближе,
Все ближе – и, как кухонное блюдо,
Разбилась, наконец, у ног моих.
Покрылась пламенем и тихо зашипела
Углем горящем, что погружен в чан с водой.
И землю выжжела. И чернотой покрылась.
И это был конец для жизни лунной...
Но сну мятежному конец не наступал.
Я вновь смотрел на небо и зияло
Отверстие на нем, откуда прежде
Луна и начала свое паденье.
И снова я скажу тебе, Мелисс:
Мне до сих пор от виденного жутко.

Мелисс:

Твой ужас – для меня он объяснимый.
Луну постигнуть может эта участь.

Альцет:

Конечно. Лишь на звезды посмотреть –
Они все лето падают на землю.

Мелисс:

Но звезд на небе – все же их немало.
И если несколько исчезнут, что с того?
Им тысячи наследуют других.
А что касается луны, ей нет замены.
И падает она лишь в сновиденьях.

Письмо

Люди переходят поле.
Ручки выпадают из карманов.
Другие их подбирают.
И так пишутся письма.

И так крадется чужое.
Мой голос – он тоже крадется,
чтоб вскоре в тени незнакомца
быть принятым или отвергнутым.

Я пишу тебе в этот полдень,
заслышав чужой голос.
Солнце отбеливает фасады.
Это все, что у меня есть.
Я дарю тебе это все.
Искренне твой,

Почтальон

Полночь.
Он поднимается вдоль аллеи
и стучит в дверь.
Я спешу навстречу.
Он стоит в проеме и плачет,
в руке тряся письмом.
Он какие-то принес
мне в нем страшные вести.

И, падая ниц,
«Прости! Прости», он кричит.

Я зову его в дом.
Он утирает слезы.
Его темно-синий пиджак
напоминает пятно
на багровом диване.
Неумелый, боязливый, кроткий,
он вскоре свернется калачиком и заснет,
а я стану писать
все новые и новые письма,
как и прежде, самому же себе.

«Ты будешь жить,
причиня боль.
Но ты простишь».

Семь стихотворений

1.

На краю
ночи телесной
возникают десять лун.

2.

Шрам помнит о ране.
Рана помнит о боли.
И вновь ты рыдаешь.

3.

Когда ты и я гуляем под солнцем,
то призраки наши – что тени молчанья.

4.

Там, где покоится мое тело,
я слышу собственный голос,
совсем рядом, подле тела.

5.

Этот цветок вожделенья
распускается,
чтоб мы вошли,
как входят друг в друга
каждую ночь.

6.

Нашептывая в гладь окна,
я говорю о всем,
и я есть все.

7.

У меня есть ключ
для двери, куда я войду.
Сегодня сумерки и я готов войти.
Сегодня тьма и я вхожу.

У вехи этой

Мы сделали все то, что мы хотели.
Мы отреклись от снов, предпочитая брэнность
друг друга наяву. И пригласили скорбь.
И отказались отказаться от распада.

И вот мы здесь.
Наш ужин на столе едва ли тронут.
На белом перешейке блюда – дым жаркого.
Стоит вино.

У вехи этой
есть некий смысл: ничто не отнято, ничто и не обещано.
Нет места для любви иль добродетели.
Нет места вообще и нет причин остаться.

Прежним оставить былое

Во поле
я есть отсутствие
поля.
И так
происходит всегда.
Где бы я ни был,
я есть то, чего нет.

Проходя
мимо, я воздух
покидаю, но воздух всегда
возвращается
заполнить тот вакуум,
где мой призрак бывал.

На то есть причины у всех –
чтоб уйти.
Я ухожу,
чтобы прежним оставить былое.

Хранитель

Садится солнце. Загорается газон.
Потерян день, потерян быт при свете.
За что дано мне уходящее любить?

Все вы, покинувшие этот светлый дом,
где тьма, в которой вы находите обитель?
Хранитель смерти пусть наполнит мою смерть
моим отсутствием. А я останусь жить.

Частица пурги

Из под тьмы куполов, в этом городе из куполов –
Единица метели снежинкой в обитель твою плавно вторглась
И коснулась судьбы деревянного стула, чтоб взор
Твой поднялся от книги, отметив падение это.
Только Это, не более. Вечер негромкий и лишь
Эпизод вдоха, выдоха, блица, движения presto,
Ветрового туннеля сквозь время. Не более, нет.
Но, возможно, частица пурги, что явилась бесследно
Робким небытием перед взором, – вернется. И ты,
По прочтении лет, вновь за книгой вздохнешь и заметишь:
«Час настал. Воздух замер. Опять синева наготове».

Перевод с английского Александра Вейцмана

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

СОНЕТЫ К ОРФЕЮ

Написаны как надгробие Вере Оукама-Кнооп.
Замок Мюзот в феврале 1922 года

Перевод с немецкого Карена Свасьяна

От переводчика

Хотя со времени перевода «Сонетов к Орфею» прошло тридцать с лишним лет, я до сих пор не могу понять, как я вообще решился на него. Всё выглядело чистейшей авантюрой или, если угодно, было ею. Я никогда ничего не переводил до этого, а по-немецки хоть и мог уже читать, но так, что полагаться приходилось больше на сообразительность, чем на знания. Странно сказать, но перевод «Сонетов» совпал по времени с изучением немецкого, то есть, я учил язык, параллельно переводя их, или даже наоборот: я переводил их, параллельно – по ним, на них, ими – уча немецкий. Некоторое (вполне психотропное) облегчение давала догадка, что дело не в языке, и что, знай я даже его в совершенстве, это ничего не изменило бы по существу. Догадка находила подтверждение, когда, теряясь в черных дырах Rilkedeutsch, я мучил знакомых германистов вопросами, а они меня ответами: я их, потому что на мои вопросы у них не было ответов, они меня, потому что и у меня не было вопросов на их ответы. Не лучше обстояло и с заезжими немцами, к которым я обращался за помощью; они были скромнее германистов, но не везучее, и, словно сговорившись, повторяли: «Так не говорят по-немецки» (некоторые добавляли при этом с понимающей улыбкой: «Aber na ja – das ist halt Rilke!») Легче от этого не становилось, зато становилось головокружильнее; ну, конечно же, так не говорят, ни по-немецки, ни по какому; язык Рильке подчинен не статистике читательских групп, а стохастике случая и милости; он говорит так, потому что говорит не к нам, еще живущим (и, значит, умственно ущербным), а к нам, уже умершим, и понять его в оптике жизни не менее опрометчиво, чтобы не сказать: нелепо (нелепость списывается на счет «поэзии»), чем пересказывать какой-то необыкновенно значительный сон за чашкой кофе... Я думаю, у меня не было, да и не могло быть никакого желания перево-

дить «Сонеты», хотя бы потому, что переводить пришлось бы собственную немоту: с молчания по-немецки на молчание по-русски; о переводе я не думал, наверное, еще и потому, что боялся не устоять перед соблазном желанья. Желание пришло позже, когда я уже влип, когда во мне уже заголосила немота и ничто не могло её остановить; тогда-то и стало ясно: я решился на безумие не потому, что хотел его, а: я хотел его потому, что решился на него. Всё длилось не дольше месяца, хотя сам месяц длился намного дольше: месяц одержимости, которую приходилось не только жить, но и тщательно скрывать от друзей, знакомцев, соседей, сослуживцев, кого попало, чтобы не запятнать свою репутацию «нормального»; я и сейчас горжусь почти «шпионской» мимикрией, позволяющей мне жить в повседневности так, чтобы никто не догадывался о моей повсечасности; слова, строки, обрывки строк, ритмы и рифмы, просто бормотания шли иногда горлом в самой неподходящей ситуации, скажем, на каком-нибудь очередном собрании или обсуждении (я работал в Институте философии), так что приходилось, украдкой записывая их, раздаривать скучные улыбки секретаршам, вроде бы учувявшим что-то, и ждать, когда наконец уйдет враждебный день, а с ним и всё дневное, и случится вождевленное пробуждение в ночь, в рилькевское «Ich glaube an Nächte»; уже потом, когда всё было позади, я понял вдруг, что переводились «Сонеты» в атмосфере, до неприличия похожей на ту, в которой они писались; конечно, это было смешно, но и – несмешно: смешно по понятным причинам, несмешно, потому что как же еще и было воссоздавать «Сонеты» на чужом наречии, если не в подходящей им атмосфере просветленной одержимости! (Оговорюсь, это условие касалось именно меня, непрофессионального – вообще никакого – переводчика; профессионал, а тем более теснимый договорными сроками, не стал бы дожидаться вдохновений, а обошелся бы без них или сам вызвал бы их по необходимости.)

«Сонеты к Орфею» очень неожиданная книга. Неожиданная для автора, который десять лет ждал другого, а получил (вместе с другим) и это, но и для читателя, даже не подозревающего, где он очутился, и думающего, что он всё еще читает стихи. Можно до бесконечности комментировать эти причудливые сгустки невыразимого – по модели дублинского Bloomsday, прокормившего уже не одно поколение литературоведов (мне памятна книга, состоящая из 55 глав, по главе на сонет), но что всё это значит, если не знать главного, того именно, что это не стихи, а панихида (Totenamt), причем такая, где смерть не оплакивается извне из намертво вцепившейся в себя жизни, а празднуется изнутри, как пробуждение

в проспанный прижизненно мир вещей. Главное «Сонетов» – приписка к их заглавию: написаны как надгробие Вере Оукама-Кнооп. Рильке, знавший её родителей, видел её несколько раз (она умерла, не дожив до девятнадцати лет, от белокровия, того самого, от которого через пять лет умер он сам). Эта смерть и стала возможностью (*dynamis*) «Сонетов», или, динамичнее, переводом их из великого бессловного молчания в молчание раззвучивающих их слов; можно знать, что автор «Сонетов к Орфею» (душа, в которую они вошли как в собственное тело), до того как он умер своей смертью ранним утром 29 декабря 1926 года в санатории Вальмон у Женевского озера, умер этой не своей: в нелюдимом и внешне поразительно похожем на него замке Мюзот (в швейцарской Сьерра) в феврале 1922 года. Эта не своя смерть зрела и выросла в нем давно, с «Часослова»; позже её заслонили «Элегии», за ангелической анонимностью которых оставался незамеченным их личный, близкий, интимный смысл. Смерть, чьими гулкими шагами, как невыплаканностью, наполнено гиератическое пространство «Элегий» (особенно последней, десятой), легко и радостно станцована в эвритмеуме «Сонетов»; удивительно слушать и видеть это: смерть с чистым умытым светом лицом, танцующую под детское пение и хлопанье в ладошки в сопровождении треугольника и тамбурина. Наверное, об этом в самом деле можно было бы написать тома, но написанное было бы не больше, чем гомеопатическим разведением увиденного: он ждал, вернее, не он, а некий демон открытой жизни (очевидно, вселившийся в него со времен слышанных им в Мюнхене лекций Альфреда Шулера) ждал в нем смерти Эвридики, как родовых схваток «Сонетов». Он и умер сам в смерть Веры, чтобы привести её, «ту так любимую», белую, неприкосновенную, обратно в жизнь: в новую нетленную плоть, на которую мы, ничего не подозревающие простофили и интеллектуалы, постоянно оборачиваемся, чтобы, потеряв её, увидеть в ней одну из вершин поэзии XX века.

Базель, 19 апреля 2009

Первая Часть

I

Там дерево росло. О нарастанье!
Орфей поет! О дерево в ушах!
Всё замерло. Но даже в том молчанье
внимала шагу нового душа.

Из нор и логов звери выползали,
и расступился лес, прозрачным став.
На этот раз ползти тайком среди трав
не хитрость и не страх их заставляли,

но только слух. Рычанье, рев и крик
притихли в их сердцах. И там, где дико
торчал шалаш глухой и бесприютный,

убежище из нужд сиюминутных
со входом, чей косяк дрожал от крика,
в дремучем слухе храм ты им воздвиг.

II

Почти как девочка... Разбрызганная трель
в согласном счастье голоса и лиры,
сквозь ткань весны она блеснула миру
и в ухо мне легла, постлав постель.

и стала сном во мне. И сном её
стал целый мир, притихший на мгновенье:
луга, деревья, дали и мое
вдруг замершее стоя изумленье.

Она спала весь мир. Поющий Бог.
как удалось тебе её найти,
не жаждущую встать? Где миг разлуки?

Где смерть её? О если бы ты смог
найти хоть раз еще такие звуки! —
Она стихает... Девочка почти...

III

Бог это смог. Но смертный, как же он
пройдет за ним сквозь лиру в бесконечность,
когда на перекрестке троп сердечных
не воздвигает храм свой Аполлон?

Ты учишь нас, что песнь не есть нужда,
что песнь не служит замыслам подспудно.
Песнь — бытие. И Богу быть не трудно.
Когда ж нам быть? И как нам быть, когда

он нам дарует землю и созвездья?
О, юноша, любовь твоя пройдет,
хоть голос жжет уста и ждет возмездья, —

забудь его. Минуют звуки эти.
У песни истинной — другой налет.
Бесцельный вздох. Дыханье в Боге. Ветер.

IV

О, легконогие, словно вздрогни,
входите часто в дыхание, но,
хоть и членят его ваши щеки,
все же за вами вновь цельно оно.

О, вы, блаженные, о, невредимые,
что же вам утренник сердца принес?
Меткость стрелка и мишени ранимые,
глянец улыбки в жемчужинах слез.

Горя не бойтесь, тяготы горя
сбросьте обратно в тяжесть земли;
грузные горы, грузное море.

Даже ростки, что детьми вы сажали,
стали стволами; о, как тяжелы.
Но этот воздух... Но эти дали...

V

Не воздвигай надгробья. Пусть лишь роза
из года в год цветет ему опять.
Ведь то — Орфей. Его метаморфоза
жива во всем. Мы не должны искать

других имен. Однажды и навеки
все певчее — Орфей. Пусть он уйдет.
Но прежде чем сомкнутся эти веки,
он розу позднюю на день переживет.

О, если б знали вы, как должен он уйти!
Ведь и его страшило умиранье.
Но словом одолеть он землю смог

и выбрал край, куда вам нет пути.
С умолкшей лирой, полный послушанья,
смирненно преступает он порог.

VI

Здешний ли житель он? Нет, на распутье
царства двойного процвел его лик.
Гибкость предельную ивовых прутьев
тот лишь найдет, кто их корни постиг.

Спать уходя, со стола уберите
хлеб с молоком; это мертвых влечет —
вам они в тягость, но он, заклинатель,
пусть подмешает их кроткий приход

в зримое здесь; за волшебным обманом
этих чарующих рут и дымянок
он пронизает прозрачность глубин,

непреходящего образ. И где бы
ни был тот образ, в жилище иль в склепе,
славит он перстень, браслет и кувшин.

VII

Славить, и только! Он вышел, чтоб славить,
словно руда из молчанья камней.
Сердце его преходящее давит
сладкие лозы в бродящем вине.

Голос, он льется, всегда благодатный,
если прохватит его Божество.
И наливается как виноградник,
мир под полуденным небом его.

Вовсе не в склепах звучат его песни,
лживо хваля королевскую плесень
или неверные тени Богов.

Он — из немногих посланников здешних —
кличет еще у порога умерших
с полными чашами славных плодов.

VIII

Только в царстве славы, там, где скалы,
как часовни белые, молчат,
неумолчной жалобе пристало,
этой нимфе слезного ключа,

прочистать осадок боли нашей.
Видишь, боль у плеч её светла,
словно бы она сестрою младшей
среди всех сестер в душе была.

Радость знает, и тоска винится,
только жалоба должна еще учиться
и считать обиды по ночам.

Но внезапно, с первыми лучами,
голос наш девичьими руками
как звезду протянет небесам.

IX

Тот лишь, кто лиру поднял
и среди теней,
требовать вправе похвал
для вечности всей.

Тот лишь, кто с мертвыми мак
ел, горьковатый,
ведает истинный знак
каждой утраты.

Пусть отраженный водой
лик быстротечен:
в образ войди.

Только в отчизне двойной
голос наш вечен
и невредим.

X

Вам, полонившим меня навсегда,
шлю я привет, вековые гробницы,
где быстротечною песнью струится
римских анналов живая вода.

Или тем, что открыты, как утренний взор
пастуха, и веселый и зоркий,
— где в молчанье кадил за узором узор
мотыльки вышивают в восторге;

всем вновь открытым устам мой привет,
сбросившим иго сомненья
и узнавшим, что значит молчать.

Знаем ли мы, о друзья, или нет?
Так образуется миг промедленья
и застывает лицо как печать.

XI

Видишь небо. Разве там не “Всадник”?
Звездный образ, названный конем
гордо, в честь земли. И беспощадный,
тот, второй, что гонит и несом.

Жилистость и гнет, узда и травля,
миг еще — и всё укрощено.
Путь и поворот. Но шпоры правят.
Снова даль. И двое суть одно.

Но одно ли? Может, им неведом
долгий смысл совместного пути?
Луг и стол разъяты в час обеда.

Значит, и туда обман проник.
Пусть. Но нам достаточно найти
цельность той фигуры. Хоть на миг.

XII

Славен дух, что нас связал во всем;
ибо мы в фигурах только живы.
И часы идут неторопливо
рядом с настоящим нашим днем.

Хоть неведом путь наш сокровенный,
первородством полон каждый жест.
И антенны чувствуют антенны,
и сквозит из далей весть...

Чистота. О звучность напряженья!
Разве не настойчивость служенья
от помех тебя всегда хранит?

Но и пахарь, все его заботы
на полях, где летом будут всходы,
недостаточны. Земля дарит.

XIII

Спелость груши, яблока, банана,
ягоды... О, что за разговор
смерть и жизнь ведут во рту... И странно
на лице ребенка этот спор

слушать мне. Как вкусен он и сладок,
безымянный. И под нёбом рта
вместо слов теперь струятся клады,
сбросив плоть и смерть во рту найдя.

Кто дерзнул бы яблоком назвать
эту сладость, плотную вначале,
и потом пролившуюся в дали

вкуса? Кто бы смог её унять,
смесь земли и солнца, как? откуда? —
Опыт, чувство, радость, — чудо! чудо!

XIV

Мы слышим шум цветов и листьев плеск.
Им ведом лишь язык немого года.
Из тьмы сплошной растет округлость плода
и, может быть, несет ревнивый блеск

умерших на своем румянце броском.
Что знаем мы об их участие в том?
Ведь с давних пор помечен каждый ком
сырой земли их вольным костным мозгом.

Спроси лишь: волен ли тот плод?..
И этот труд, содеянный рабами,
найдет ли среди нас своих господ?

А может, господа они, что сами
у корней спят, в избытке нам даруя
гибрид из сил немых и поцелуев.

XV

Стойте же... Вот он... Близок исход.
...Если бы музыки, ритма, песни — :
девушки, теплые, тихие — вместе
вам бы сплясать отведенный плод!

Вкус апельсина станцуйте. Вы знали,
сладость свою он не выдержал сам
и захлебнулся. Вы им обладали.
Лакомо он повернулся к вам.

Вкус апельсина станцуйте. Жарким
льется из вас он ландшафтом, и ярким
воздухом край ваш родной озарен,

блестками запахов. Если б сродниться
с кожицей чистой, готовой открыться,
с соком, который счастливой сужден!

XVI

Ты, мой друг, одиноко, отчего...
Мы же словами и знаками множим
наши владения в мире, быть может,
в самой рискованной части его.

Кто на запах укажет перстом?
Ты же чуешь те силы кромешные,
что грозят нам... Ты знаешь умерших,
и тебе страх полудня знаком.

Цельность распалась и терпим мы части.
Помощи нет. Твое сердце, что почва,
но пощади... Я расту пуще трав.

Только его я направлю с участием,
перст Божества моего, дабы молча
вымолвить: Вот он, косматый Исав.

XVII

Где-то внизу, в глубине,
корень подспудный,
словно источник всех дней,
тайный их спутник.

Шлемы и рог, и речей
старческих будни,
братская ярость мужей,
жены, как лютни...

В натиске ветви сплелись,
гнутся и рвутся...
Эта! Тянишь... о, тянишь...

Рвутся и вместе и врозь.
Ей лишь одной удалось
в лиру согнуться.

XVIII

Слышишь, Господь? Гудит
новая эра.
Всюду уже гремит
новая вера.

Бешеный темп скоростей
глушит нам уши,
мало машине ушей,
губит и души.

Эта машина:
видишь, она, что ни час,
ждет дифирамбов от нас.

Словно не ей наша власть,
всю потерявшая страсть,
отдана ныне.

XIX

Пусть с быстротой облаков
мир наш преходит,
всё совершенное вновь
в корни уходит.

Только твоя первопеснь
длится над миром,
Бог, словно ставший весь
звучною лирой.

Боль нам не преодолеть,
непостижима любовь,
и дальноркая смерть

лик свой скрывает.
Только поющее вновь
всё причащает.

XX

Что же, Господь, примешь в дар от меня
ты, даровавший слуху закон? —
Память мою... Россия, весна,
вечереющий воздух — и конь...

Из деревни скакал этот конь сквозь тьму,
за собою привязь влача,
чтобы ночью белеть на лугах одному;
кудри гривы его сгоряча

ударялись о шею всё вновь и вновь
озорному галопу в такт.
Родниками бурлила конская кровь.

Он чувствовал дали, и как!
Он пел и он слушал — сказаний твоих
замкнулся в нем круг.
Его образ: прими.

XXI

Снова весна. И земля, как ребенок,
громко читает стихи допоздна;
много, о, много... За тягость продленок
нынче получит оценку она.

Строг был учитель. Игольчатый иней
страхивал он с бороды на поля.
Что это значит, зеленый и синий, —
спросим теперь мы: ответит земля!

Вольная, резвая, сбьлись все сроки.
Вот и награда за труд твой упорный:
дети играют и ладят с тобой.

Всё, что учила она, все уроки,
те, что впечатаны в корни и дёрны
толстых стволов, — стали песней сплошной!

XXII

Мы — проходящие.
Но временным
мы семенам
непреходящее.

Все торопливое
вмиг пролетает;
только пытливое
нас посвящает.

Что же, как воинов,
отроки, храбрость
мечет вас в мрак?

Все успокоено:
сумрак и ясность,
книга и знак.

XXIII

О, тогда лишь, когда полет
уже не собой поглощенный
стройно и уединенно
будет вращать в небосвод,

чтобы в профилях светлых,
словно любимец ветров,
плавно выделявать петли
и устремляться вновь, —

лишь когда полет аппарата
гордость подростков превысит
чистым своим Куда,

будет ему наградой
та приближенность высей,
где одинок он всегда.

XXIV

Нашу исконную дружбу, Богов неподкупно-великих,
разве должны мы отвергнуть их ради
выплавки стали, машин неотвязно-безликих,
или внезапно на карте искать их?

Властные эти друзья, умерших от нас уводящие,
в шуме колес сохраняют безмолвные дали.
Наши пиры и купальни, сборища наши шумящие
их оттеснили, давно уже мы обогнали

неторопливых посланников их. И теперь одиноко толпами бродим по свету, друг другу чужие, и не прекрасным меандром уже, а упрямой дорогой

путь свой вершим. И только котлы паровые пламенем полны еще, и жгучую лаву пролили в мир. Мы же, словно пловцы, теряем последние силы.

XXV

Но о Тебе я хочу, о Тебе, которую знал я, словно была Ты цветком, что неназванно рос, вспомнить еще раз и им показать, чтобы стала Ты прекрасной подругою всех незаглотанных слез.

В танце кружилась сперва, но внезапно замерло тело, точно вылитой бронзой юность его была, скорбно внемля чему-то. — Тогда, в этот миг оробелый, музыка в сердце Твое низошла.

Но приближалась болезнь. Уже омраченная тенью кровь напирала и, чтоб отвести подозренье, шумом весны заслонила внезапность потерь.

В сумерках снова и снова на ощупь играя с разлукой, бренно блестела она. Пока после жуткого стука не вошла в безутешно открытую дверь.

XXVI

Ты, о Божественный, ты, чья бессмертная песня не умолкала в толпе разъяренных менад, ты, заглушивший их крики порядком чудесным и в разрушение внесший зиждительный лад.

Лиры твоей и чела твоего не разбила вся эта ярость. Хоть, острые камни найдя мегилы в сердце, но песня твоя усмирила даже те камни, что замерли, слух обрета.

Был, наконец, ты той местию глухой умерщвлен,
всё же звучанье осталось в деревьях и скалах,
в птицах и львах. Ты и ныне поешь там еще.

О, утраченный Бог! След твой мы слышим всегда!
Лишь потому, что тебя вражда растерзала,
в слух превратились мы все и в природы уста.

Вторая Часть

I

Незримый стих, ты — вот, ты снова здесь!
Дышу и вдоволь наполняюсь
твоим пространством. Ты — противовес,
в котором я ритмически свершаюсь.

Единственной волны набег,
чье море — мое постоянство;
ты бережливей всех морей и рек, —
прибыль пространства.

Сколь многие из тех моих глубин
пространством стали здесь. Но ветры множатся
и мне они — как сын.

Ты, воздух, полный мной, не оттого ли ты притих,
что опознал меня? Ты, ставший гладкой кожей,
округлостью и кроной слов моих.

II

Как этот лист у художника властно
штрих неизбежный отнять норовит,
так и улыбку девичью часто
зеркало мигом крадет и хранит

в неповторимых пробах рассвета,
или в услужливом блеске свечей.

И на лицо настоящее, это,
падает позже лишь отблик, ничей.

Что же глазам открывалось когда-то
в этом камине, уже догорающем:
отблики жизни, минувшей совсем.

Ах, но земные кто знает утраты?
Тот лишь, кто всё-таки голосом славящим
сердце воспел бы, единое всем.

III

Вы, зеркала, где же суть ваша скрыта,
неуловимая, точно сон.
Вы, что сквозными просветами сита
заполонили проемы времен.

Вы — расточители пышных убранств,
в сумерках, дальние, словно дорога...
Люстра проходит ветвящимся рогом
в непроходимость ваших пространств.

Живопись полнит вас иногда
и на мгновение лишь остается,
дабы исчезнуть затем, но куда...

Только красавицу, словно сюрприз,
вы сохраните, пока не прольется
в щеки её растворенный Нарцисс.

IV

О, вот он, зверь, не сказка и не бьяль.
Им был неведом он, хоть всякий раз
его осанку, блеск волшебных сил
они любили, вплоть до светлых глаз.

Пусть не был он, но, чистый зверь, он стал.
Любовь их отвела ему пространство.
И в том пространстве, вогнутом и ясном,
легко и ненавязчиво поднял

он голову. И зернами не мог
никто кормить его. Всегда он жил
возможностью и, благодарный ей,

сумел изжить свой рог. Единый рог.
Белея, к деве подошел и был
он в зеркале серебряном и в ней.

V

Мускул цвета, мускул анемона,
луговой встречающий рассвет,
дабы поглотить своим бездоньем
чистый и многоголосый свет;

мускул бесконечного приятя,
напряженный в звездочке земной,
часто так открытый для объятий
полноты воздушной, что немой

вздорг заката еле раздается
в лепестках, покрытых чистой брызнью:
сколько сил в тебя, открытый, льется!

Мы, насильники, мы только тратим.
Но когда, в какой из наших жизней
мы, вконец, открыты для приятя?

VI

Роза, престольная, в древности ты была чашей
с обыкновенной простой каймой.
Нынче же взоры не могут насытиться наши,
неистоцимая вещь, тобой.

Словно бы ты нарядилась в несчетные платья,
платья на плоти, которая вся
блеск и сиянье. Но древним горит неприятьем
всякой одежды твоя краса.

Веками нам запах твой был
зовом к своим именам сладчайшим;
нынче славой он воздух залил.

Но отгадать имена мы не в силах и снова
мы отдаем ему вздохом легчайшим
память о прошлых мгновеньях, исполненных зова.

VII

Вам, о цветы, так сродни вас сорвавшие руки
(девушек руки, цветущих всегда), —
часто в саду на столе вы, томясь от разлуки,
ждете смиренно, когда же вода

выведет наново вас из сухой поволоки
смерти уже наступающей, — и вот
подняты вы, и в блаженном живительном токе
пальцев вам новая радость цветет,

бóльшая, чем вы мечтали, её ожидая, —
нынче кувшин оживить вас готов,
и охлаждаетесь вы, из себя истончая

пальцев девичьих тепло, как признание гнетущее
в том, что они вас сорвали, и вновь
к девушкам это тепло переходит, цветущее.

VIII

Немногие, вы, детства далекого други
в стольких забытых садах городских:

как мы себя узнавали после столь долгой разлуки
и, точно агнец с картинок живых,

молча о всем говорили. И всё же
та наша радость была ничьей.
Вспыхнув на миг, она тотчас же тлела в прохожих,
в робости дней, в одиночестве долгих ночей.

Что же было тогда в этом мире реальным?
Тот ли возница с кнутом, что, сшибая нас, грубо бранился,
лживая прочность домов, наш ли заглотанный плач?

Ничего. Только мячи. Их полет напряженно овальный.
Даже не дети... И лишь иногда становился,
ах, переходящий один, под упдающий мяч.

(Памяти Эгона фон Рильке)

IX

Что же вы, судьи, кичитесь отсутствием пыток,
тем, что горло гароттой не сжато до выката глаз!
Сердце ничье не ликует —, где вас неприкрыто
мягкость кривит, словно некий поволненный спазм.

То, что дано ей в веках, снова дарит обратно
плаха, как дети игрушку былых именин.
В чистое, горнее сердце, открытое тысячекратно,
он низошел бы иначе с вершин,

подлинной мягкости Бог. Державный и скорый,
распространился бы он, благодатно светя.
Больше, чем ветер для судна надежного в море.

Не меньше, чем тайна, с которой сдружилось молчанье.
дабы выигрывать внутренне нас, как дитя,
в бесконечной игре из попарных простых сочетаний.

X

Всем достижениям машина грозит, этот властный раб, возжелавший дерзко в духе себя утвердить.
Трепет медлительных рук, труд их живой и прекрасный гонит она, чтобы быстро камни для стройки дробить.

Всюду мы слышим её, всюду — её притязанья, смазанной, ей бы на фабрике только себе и внимать.
Нет, она влезла нам в жизнь, стала нам преуспеяньем, с равным успехом привыкшая строить и уничтожать.

Но зачарована жизнь, глубь, избежавшая тлена.
Только нетронутым силам явлена эта основа, только тому, кто пред ней изумленно стоит на коленях.

Невыразимое всё еще льется в слова родником...
И в бесполезном пространстве музыка снова и снова из самоцветьев дрожащих строит божественный дом.

XI

Многие стройные правила смерти родились, всепокоритель, с тех пор как тебя на охоту влечет; но не капканами, нет, взоры мои опленились, только тобою, платок, свешенный в карстовый грот.

Тихо тебя поднесли, словно бы ты предвещал мир. Но хитрец вдруг тобою взмахнул вероломно, — и, из отверстия, ночь бросила в светлую даль бледную горсть голубей... Впрочем, и это законно.

Да не наполнятся взоры жалостью или прискорбьем, время и этому есть — пусть же свое он вершит, зоркий охотничий глаз.

Убивать — это образ нашей скитальческой скорби...
Дух невозбранном хранит, то, что свершается в нас.

XII

О, возжелай превращения! О, полюби огневое!
То, что ты кличешь огнем, есть только блеск перемен;
живописующий дух, кто мастерит всё земное,
любит в порыве рисунка лишь поворотный момент.

Всё, что застыло на месте, косо уже и беспроко;
впрямь ли его защищает серый невзрачайший сон?
Жди, жесточайшая участь вскоре заменит жестокую.
Горе — : отвергнутый молот уже занесен!

Только забивших ключом всюду признает признание;
и, поведа их, восторженных, сквозь сотворенное славно,
явит в началах концы, а в концах — провозвестье начал.

Каждый счастливый простор — дитя или внук расставанья,
животворящего нас. И превращенная Дафна,
чувствуя лавром себя, хочет, чтоб ветром ты стал.

XIII

Будь впереди всех разлук, как если бы были
они за тобою, как зимняя эта метель.
Ибо среди зим есть такая одна, что, осилив
холод её, твое сердце растопит предел.

Будь вечно мертв в Эвридике — и звучным порывом,
светлым восторгом взойди в чистоту заразлук.
Здесь, среди повиснувших, будь, на грани обрыва,
в звонко разбитом стекле, не стекло будь, а звук.

Будь — но и не-бытия познай непреложность,
где сокровенно твоя прорастает возможность,
прежде чем ты из нее в этот мир изойдешь.

И как к растраченным, так и к смутно таимым
суммам природы, запасам неисчислимым,
бурно причисли себя и число уничтожь.

XIV

Взгляни на цветы, сколько верности в этих созданных, —
мы же их заставляем судьбу нашу с нами делить.
Но, может, когда они каются в час увяданья,
именно нам суждено их раскаяньем быть.

Всё хочет повиснуть. А мы от обиды трепещем
и наступаем на всё, испытывая свой вес;
о, что за наставников мстительных терпят в нас вещи,
если им вечное детство даровано здесь.

Когда бы хоть кто-то с ним слился во сне и сновидел
вместе с вещами — о, как бы из той глубины,
легкий, вернулся он снова в дневную обитель.

Или остался бы там, обратившись, быть может,
в новую веру цветения и тишины,
с тихими сестрами луга цветущего схожий.

XV

О рот источника, чистейший, щедрый, ты,
неистощимый говорун несчетных дней, —
перед струящимся всегда лицом воды
ты — мраморная маска. А за ней,

минуя кладбище, со склонов Апеннин
тебе твой сказ доносит акведук.
И с почерневших подбородочных морщин
твоих, замкнув далеких странствий круг,

сказ этот льется в мраморный сосуд,
как в ухо спящее, подставленное тут
землею, чтобы ты в него журчал.

Так внемлет сказу собственных глубин
земля. Но появись на миг кувшин,
и ей покажется, что ты её прервал.

XVI

Всё еще, хоть длится растерзанье,
брызжет Бог целебным родником.
Мы как острие, мы жаждем знания,
он же, светлый, слышится во всем.

Даже посвященный и чистый
дар он лишь тогда принять готов,
если добровольный и тернистый
путь сужден ему всё вновь и вновь.

Лишь умерший пьет из родника,
если Бог ему кивает молча,
мы же только плеск воды и слышим.

Только шумом мы живем и дышим.
И ягненок ждет свой колокольчик
инстинктивно и наверняка.

XVII

Где же, в каких вечно блаженных садах, на каких же деревьях ветвистых,
из каких нежно осыпанных чаш лепестковых и листьев
зреют диковинные плоды утешения? Эти
лакомые, из которых ты, может, один лишь найдешь, если ветер

сбросит его на растоптанный луг твоей бедности. Ты же находке удачной
вдоволь дивисься, словно бы плод тот тебе даровала судьба,
величине ты дивисься его и целебности, мягкости кожи прозрачной
и тому, что ни ветренность птиц, ни ревнивость червей
не коснулись его до тебя.

Странные эти деревья, где ангелы молча летают
и где садовники скрытые ветви им так подрезают,
что они нас несут, не сгибаясь от тяжести. Может, цветут они где-то?

Разве смогли бы когда-нибудь мы, призраки и привиденья,
нашим безвременно зрелым и всё же увядшим уже поведением
невозмутимость нарушить спокойного этого лета?

XVIII

О, танцовщица: ты переход
всепреходящего в поступь: ты вся приношенье.
И вихрь под конец: разве отдавшийся год
не повинуется этому древу движенья?

Разве верхушка его, столь недавно еще окруженная
роем твоим, не цвела тишиной? И над ней
разве не солнцем, разве не летом было тепло излученное,
это тепло из сгорающей плоти твоей?

Но и плоды приносило оно, твое древо экстаза.
Не они ли здесь замерли: этот кувшин простой,
спелый, в полоску, и эта созревшая ваза?

И на картинах: не сохранилось ли что-то,
подпись, которую бровь твоя темной чертой
быстро вписала в простор своего поворота?

XIX

Там, в избалованном банке, нежится золото где-то,
тысячи тешат его. Но тот оборванец слепой,
нищий, он сам для грошовой и меднолобой монеты,
как запыленная щель, как шкафа угол пустой.

Деньги вдоль лавок торговых властвуют трезво и мощно
и облачаются зримо в шкурки, гвоздику и шелк.
Он же, застыв в передышке дышащих денно и ночью
денег, с открытой ладонью непоправимо умолк.

О, как бы сомкнулась она, эта открытость, ночью.
Утром она повторяет судьбу, и для хлеба насущного
снова бросает судьба её, жалкую, брэнную, к нам.

Если бы кто-то вконец постиг и прославил воочью
это её постоянство. Сказанное лишь для поющего.
Слышное только Богам.

XX

Там, между звездами, как далеко; и всё же насколько
дальше нам здешний урок.
Этот ребенок, к примеру, вон тот, что бубнит без умолку,
о как безмерно далек!

Пяди жизни судьба отмеряет без нас, и поныне
прочно хранит их она;
сколько же пядей, подумай, от девочки робкой к мужчине,
если она влюблена.

Всё неохватно —, и круг никому не объять.
Рыба застыла на блюде, и странно: взгляд человеческий
скован безмолвьем её.

Рыбы немые... так думали раньше. Как знать?
Может, когда-нибудь то, что было бы рыбьею речью,
вымолвим мы без нее?

XXI

Сердце, воспой же сады, те, недоступные глазу,
как бы стеклянно повисшие, чисто и недостижимо.
Воду и розы из Исфагани или Шираза,
воспой их блаженно, восславь их, ни с чем не сравнимых.

Выкажи, сердце, как ты неразлично срастаешься
с ними. Как смоквы их сами зреют тобой?
Как в их цветущих ветвях ты сокровенно общаешься
с ликами ветра, заблудшего между листвою.

Верь, что решение быть — не для лишений свершилось.
Шелковой нитью сквозною ты оказалось в ткани,
где несравненная вышивка ткет за узором узор.

Сколько картин! И с какой бы внутренне ты ни сплотилось
(будь это даже момент из жизни страданий),
чувствуй, что здесь налицо весь восхваленный ковер.

XXII

О, вопреки судьбе: божественный избыток,
пенящийся и в парках, и в садах, —
или мужами каменно, открыто
повисший у подъездов на домах!

Иль медью колокольного трезвона
пустые обличающий дела.
Или одна, в Карнаке, та колонна,
что вечный храм почти пережила.

Теперь всё это рушится поспешно,
и плоский желтый день слепит небрежно
прожекторами ночь, и глушит, и гнетет.

Но бред рассеется, и в воздухе незримо
извечным замыслом уже неразрушимым
восстанет всё. Ничто не пропадет.

XXIII

Обратись ко мне, подай мне знаки
только в неподатливейший час:
близкий, как молящий взгляд собаки,
но и отведенный всякий раз,

если ты схватить его намерен.
Отнятое так навек твое.
Мы вольны. Мы зря стучались в двери
всюду, где нам чудилось свое.

Ищем робко, путаются тропы,
слишком юн для старого наш опыт,
слишком стар к небывшему наш иск.

Но и это славим мы сквозь слезы,
ибо мы, ах, ветви суть и лозы,
ножницы и сладкий спелый риск.

XXIV

О, эта радость творить из разрыхленной глины!
Первенцем быть и глядеть на опасность в упор.
Наперекор города воздвигать на трясине,
воду и масло в кувшины лить наперекор.

Боги, мы лишь в дерзновенных набросках их множим,
уничтожаемых тотчас ворчливой судьбой.
Боги, однако, бессмертны. И, значит, мы можем
слушать того, кто услышит наш голос сквозной

по истечении сроков. Из тысячелетий
движемся мы и несем в себе будущий плод,
дабы однажды возмездием стали нам дети.

Мы, в ежечасности риска дразнящие гибель!
И только безмолвная смерть, что займы нас дает,
ведает нас и свою бесконечную прибыль.

XXV

Чу, вот и слышатся первые грабли;
вновь человеческий ритм в тишине
почвы ствердевшей; хоть руки озябли,
все же земля замирает к весне.

Вкус настоящего, чуть горьковатый,
сладок тебе. Всё, что было давно,
кажется новым. Его никогда ты
не принимал. Тебя брало оно.

Даже дубовые зимние листья
к вечеру кажут коричневость мая.
Полнится знаками воздух лучистый.

Куст почернел. Но и пашня чернеет
кучей навозной, как вакса густая.
С каждой минутой земля молодеет.

XXVI

О, как пронзителен птичий крик...
Нам ли постичь его первозданность,
если и дети, крича невозбранно
в миги игры и крича напрямик,

мимо кричат. И в проемы пространства
(крик полонящие птичий, как сны
нас полонят), в этот крик первозданства
клиньями визг свой вгоняют они.

Горе нам, где мы? Всё еще дикие
рыщем на воле, скрывая рычанье
краешком рваного смеха вмиг.

Бог песнословающий! выстрой же крики,
дабы они, пробудившись в журчанье,
вынесли с легкостью лиру и лик.

XXVII

Время, но где же оно, разрушительно-властное?
Когда, на какой неподвижной горе им сметается бург?
Это сердце, Богом бесконечно причастное,
когда сокрушает его демиург?

Неужели же мы так ужасно и хрупки и ломки,
как пытается нас показать судьба?
Детство, кладезь надежд, не хранят ли наши обломки
в корнях молчащих — позже — тебя?

Ах, этот призрак всего, что преходит,
раной сквозной через сердце проходит
и уползает, дымящийся, вновь.

Мы, проносящиеся быстротечно,
всё же и в этом потоке извечно
мы остаемся нуждою Богов.

XXVIII

И здесь, и там. Почти дитя. Исполни
фигуру танца. Видишь, как она
созвездье чистое тех танцев полнит,
где нами, бренными, превзойдена

природа. Ведь её привел в движенье
Орфея голос. И в тебе цвело
пронзительное это напряженье,
и ты слегка дивилась, если шло

очнувшееся дерево с тобою
на зов. Ты всё еще держала нить
к неслыханному центру, где разлука

сгибалась в лиру. Поступью сплошную
ты шла туда, надеясь обратиться
к святому празднеству лицо и поступь друга.

XXIX

Тихий друг пространств, взгляни, как полнит
даль сквозную каждый выдох твой.
На стропилах темной колокольни
изойди в звучанье. Этот бой

боль твою ствердевшую растопит
в преосуществлении сплошном.
В чем, скажи, страдальческий твой опыт?
Если горько пить, стань сам вином.

Будь на перекрестке в эту ночь
чувств своих, и в миг их странной встречи
чувством новым вспыхнет эта смесь.

И, горя земное превозмочь,
ты шепни земле: Я быстротечен.
И теченью вымолви: Я есмь.

Примечания Рильке к Сонетам к Орфею

Первая часть

X сонет: Во второй строфе помянуты могилы прославленного старого кладбища в Аллискане возле Арля, о котором говорится и в “Мальте Лауридсе Бригге”.

XVI сонет: Этот сонет обращен к собаке. Слова “перст Божества моего” относятся к Орфею, выступающему здесь как “Бог” поэта. Поэт хочет направить этот перст, дабы он из своего бесконечного участия и самопожертвования благословил и собаку, которая, почти как Исав (читай: Иаков. I. Быт. 27), обложила себя шерстью, желая приобщиться в сердце своем к непричитающемуся ей наследству: к человеческому во всей его нужде и во всем его счастье.

XXI сонет: Эта весенняя песенка представляется мне как бы “толкованием” одной необычайно танцевальной музыки, которую мне однажды привелось услышать от монастырских детей в маленьком женском монастыре неподалеку от Ронды (в южной Испании) во время утренней мессы. Дети, не нарушая танцевального такта, пели неизвестный мне текст в сопровождении треугольника и тамбурина.

XXV сонет: К Вере.

Вторая часть

IV сонет: Единорог является старым, в средние века непрестанно чествуемым символом девственности: поэтому утверждается, что он, несуществующий для профана, есть, стоит лишь ему появиться в “серебряном зеркале”, подставленном ему девой (см. гобелены XV века), и “в ней”, как во втором, столь же чистом и столь же таинственном зеркале.

VI сонет: Античная роза была простым “цветком шиповника”, красным и желтым, — цвета, встречающиеся в пламени. Она цветет здесь, в Валлисе, в отдельных садах.

VIII сонет: Четвертая строка: ягненок (на картинках), говорящий с помощью транспаранта.

XI сонет: По старому охотничьему обычаю, в некоторых карстовых местностях бледных гротовых голубей спугивали из их подземных жилищ, свешивая осторожно в грот прозрачные платки и затем особым образом махая ими; испуганные голуби вылетали из отверстий, и тогда их убивали.

XXIII сонет: К читателю.

XXV сонет: Контрапункт к детской весенней песенке из первой части Сонетов (XXI).

XXVIII сонет: К Вере.

XXIX сонет: К другу Веры.

Перевод с немецкого Карена Свасьяна

ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС**Перевод с английского Сергея Сухарева**

ИЗ СБОРНИКА «НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ» (1918)

Рояль

Негромко, в сумерках, женщина мне поёт,
Унося меня сквозь вереницу лет – и вот
Вижу: ребенок сидит под роялем, окружен звенящим гуденьем,
Сжимая ноги матери, а она улыбается, захвачена пеньем.

Невольно пенья коварное мастерство
Предает меня прошлому: сердце плачет во мне оттого,
Что стремится снова домой, к вечерам воскресным зимним
В уютной гостиной, где вторил рояль нашим гимнам.

И напрасно певица голос возвысила свой
Под гром рояля appassionato: со мною былой
Блеск волшебный детских годов; возмужалость мою сменяя,
Воспоминаний несется поток – как дитя, я о прошлом рыдаю.

Декабрьская ночь

Сними свой плащ и шляпу повесь,
К камельку поближе придвинься:
Не бывали женщины здесь.

Ярко пылает очаг у меня:
Пускай округа во мраке –
Посидим у огня.

Мелькают жаркие язычки,
Вино горячо в бокале.
Поцелуями щёки согрею твои,
Чтоб они запылали.

ИЗ СБОРНИКА «ПТИЦЫ, ЗВЕРИ И ЦВЕТЫ» (1923)

Персик

Тебе хочется бросить в меня камнем?
На вот, возьми-ка лучше остаток персика.

Кроваво-красный, до темноты;
Бог весть, откуда такой он взялся:
Жертвенный фунт окровавленной чьей-то плоти.

Испещрен тайнами
и упорно намерен хранить их.

Почему вместо серебристого соцветия,
вместо серебристого бокальчика на коротком стебле –
эта сферическая тяжесть, готовая катиться и падать?

Таким был персик до того, как я надкусил его.

Почему такой бархатистый, такой сладострастно грузный?
Почему так непомерно тяжел на ладони?
Почему так неровен?

Откуда бороздка?
Откуда прелестная округлость двух полушарий?
Откуда шероховатость кожицы?
Откуда схожесть с надрезом?

Почему персик не был круглым и завершённым, как бильярд-
ный шар?
Он был бы таким, изготвь его человек...
А я взял, да и съел его.

Хотя он и не был круглым и завершённым, как бильярдный шар.
За то, что я говорю это, тебе хочется чем-нибудь в меня кинуть...
На вот, возьми-ка косточку персика.

Сан-Джервазио.

Колибри

Могу представить, как в некоем давнем мире,
Первобытно-немом, другом, далеком от нас,
В оглушающем безмолвии, полном только жужжания
и невнятного гула,
В зарослях, среди просветов, мелькала птица колибри.

Прежде чем живое одушевилось,
Пока взбухала и напирала Материя,
преодолевая бесчувственность,
Эта крошка проклюнулась из скорлупы
И, сверкая оперением, исчезла меж громадных,
неспешно идущих в рост стеблей.

Похоже, в те времена цветы еще не цвели –
В том мире, где птичка колибри, взлетев, обогнала все созданное.
Наверно, она вонзала свой острый клюв в источавшие сок тугие
побеги.

Возможно, она была огромной:
Ведь, говорят, папоротники и ящерицы раньше были гигантскими.
Возможно, она была хищным, наводящим ужас чудовищем.

Мы смотрим на птицу колибри в перевернутый телескоп Времени
–
И впрямь повезло нам: что правда, то правда.

Эспаньола.

История

Час безучастной красоты:
Когда снег на яблони падал
И зола копилась горой в очаге,
К нам первая горесть пришла и досада.

Безмерный, жгучий полдня блеск:
Цепи горных вершин для лазурных баталий
Строились, как колесницы – а мы
Раны свои считали.

А позже, в странный сумрачный час,
Мы лежали, губы к губам прижимая:
Глаза твои были как звёзды в озёрной воде –
И миру, казалось, конца нет и края.

От рассвета к рассвету часы текли,
От ночи к ночи безмолвно,
Но не смогли проторить
Тропинки ровной.

Жизнь твоя и моя, любовь
К тебе – вместе с ненавистью неизбывной –
Сплетались тесней и тесней,
Пока не слились неразрывно.

Цзарн.

ИЗ СБОРНИКА «КОЛЮЧКИ» (1929)

Британский рабочий и британская власть

Тётя, родная! возьми за ручку,
укрой, защити от бед.
Мальш твой готов вот-вот напроказить –
тебе же как будто и дела нет.

Тётя, родная! Возьми за ручку –
утешить, слезы унять.
Так хочется нам, чтобы ты нас любила –
коли не можешь нанять.

Стоим на обочине мы без дела,
стоим и баклуши, тётечка, бьём.
Что из того? Лишь бы ты нас любила
и лелеяла в сердце своём.

Но жизнь дорожает – поверь нам, тётя:
впору хоть в петлю лезть...
Только бы знать, что тётя нас любит:
это великая честь!

Тётя, родная! возьми за ручку,
укрой, защити от бед.
Мальш твой, гляди, вот-вот напроказит –
тебе же как будто и дела нет.

Редактор известной газеты своему подчинённому

Мистер Смит, а мистер Смит!
Вынужден вам поставить на вид:
в матерьяле любом, не колеблясь ничуть,
подать вы обязаны самую суть.

А вы поглядите, что вы начудили!
Вы пишете, жизнь далека от идиллии,
зная, что каждому следует помнить:
мир – само совершенство,
и что всякий в нём счастлив, счастлив –
и полон, чёрт побери вас, блаженства.

Примите хотя бы мисс Добсон в расчёт:
если она иное прочтёт –
стащит немедля очки и отбросит газету сердито она,
будто бумага насквозь смертельным ядом пропитана.

На «Утреннюю улыбку» мисс Добсон подпишется,
с которой легко и свободно дышится:
там она узнает с немалой отрадой,
что она бесподобна – и малый что надо.
Матерьял для газеты должен тщательно отбиваться,
легко пережёвываться и без труда глотаться;
намекайте читателям, что они остряки хоть куда
(в рамках приличья, конечно),
а чувство юмора у них потрясающе безупречно.

Мистер Смит, а мистер Смит!
Вам ли не помнить – просто стыд! –
что самая суть не для всех съедобна:
мисс Добсон, скажем, усвоить ее неспособна.

Мистер Смит, а мистер Смит!
У нас учитывают гастрит

мисс Хобсон, чей нежный пищеварительный тракт
отвергнет любой неудобоваримый факт.

Мистер Смит, а мистер Смит!
Знайте: мисс Добсон над прессой бдит,
обаятельная старая дева, страдающая от несварения –
британской читающей публики олицетворение.

Народ

О, народ, народ,
поистине ты плоть от плоти моей!

Когда по переулкам рабочих кварталов
мимо течёт и течёт трудящийся люд,
когда я смотрю на несчастные, полные страха лица,
словно тянут их на крючке, будто пойманную плотву, –
криком кричу в душе: заведомо мне не под силу
вырвать эти крючки, что так искажают лица, прочь,
сеть-невидимку стальную порвать, что тянет несчастных

опять и опять работать,
работать опять и опять.

Похожи они на затравленных рыб, полумёртвых от страха:
где-то там, на приволье, злой удильщик забавляется с ними,
до поры не вытаскивая на сушу – пленных рыб фабричного
мира.

ИЗ СБОРНИКА «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (1929)

Жалкие люди

Подумайте-ка: соловей – незаметная, скромная пташка
словно колокол звоном, наполняет округу трепещущей
песней.

А люди лениво цедят сквозь зубы пустые фразы.

Как великолепно поступь хищников,
пока их не сразит пуля,
как дерзко они утверждают право на жизнь!

И насколько ничтожны и жалки убого одетые люди,
спешащие толпами по тротуарам,
или втиснутые, как механизмы, в автомобили!

Москит

Москиту прекрасно известно: он –
крошечный, но хищник.
Однако ведь он просто-напросто
хочет напиться досыта:
он не хранит мою кровь в банке крови.

Люди вовсе не злы

Люди вовсе не злы, если они свободны.
Злыми делает их неволя и нужда зарабатывать деньги.
Освободить всех от погони за средствами к жизни –
И в мир придут изобилие
и радостный труд.

Ты

Ты? Нет, ты не знаешь меня!
Разве ты сжимала меня коленями,
как сжимают в щипцах раскаленный уголь,
хотя бы однажды?

Поиски любви

Если кто-то намерен искать любовь,
сразу ясно: любить ему не дано.

Кто не может любить – любви не найдёт;
только любящие находят любовь,
и искать ее им вовсе не надо.

Поиски истины

Не ищи ничего иного, кроме истины, –
только истину.
Хладнокровно ищи – и доберись до сути.

Доберись – и тотчас задайся вопросом:
а каков из меня получился лжец?

Цветы и люди

Цветы обретают цветенье – и это поистине чудо.
Сокровенной зрелости люди не обретают – увы, увы!

Все, что мне надо от вас, мужчины и женщины,
все, что мне надо –
чтобы вы обретали, подобно цветам,
собственную красоту.

О, бросьте твердить о том, будто я хочу пробудить в вас дикость!
Разве дик цветок генцианы на верхушке грубого стебля?
Отзовется ли ваша душа на ее синеву?

Я хочу, чтоб вы были как дикий нарцисс или генциана.
Но скажите мне, есть ли в вас красота, сравнивая
с жимолостью, что вот сейчас, вечером,
изливает свое дыхание?

Усталость

Моя душа прожила долгий и трудный день –
охваченная усталостью,
ищет она забвения.
Но во всем, во всем мире
нет места теперь душе, чтоб забыться
в непроницаемой тьме покоя:
человек убил на земле тишину
и осквернил безмятежные уголки,
куда прежде сходили ангелы.

Битва за жизнь

Что, жизнь – борьба, затяжная, упорная битва?
Да, это так! Я сражаюсь без перерыва.
Я приневолен сражаться.
Но я не захвачен борьбой, сраженьем, противоборством:
я насильно втянут в битву за жизнь.

Счастье быть одному

Для меня нет большего счастья, чем быть одному,
когда я могу постигать чистую радость луны,
путешествующей одиноко – сквозь время,
или величие ясеня на северном склоне холма,
где он стоит, одинокий, шурша под ветром.

Дыхание жизни

Дыхание жизни – резкие дуновения перемен,
порывы ветра, несущего также дыхание гибели.
Но глубоко вдохнуть полной с избытком жизни
можно только, когда ты один – в молчанье, во тьме,
в густом, непроглядном мраке.

Смерть тяжела

Нелегко умирать – о, как нелегко! –
смерть тяжела...
Смерть приходит, когда пожелает –
не по нашей воле.

Умиранье подчас длится так долго:
мы будем мучительно ждать смерти –
и не дождемся.

Снаряжайте корабль смерти – и пусть душа устремится
к темной пучине забвения.
Быть может, нам суждено жить еще
после горьких скитаний беспамятства.

Перевод с английского Сергея Сухарева

ВАЛЕРИЙ ЧЕРЕШНЯ

ЗАМЕТКИ К 'БЕСАМ' ДОСТОЕВСКОГО

*Внутренний мир допускает только проживание,
но не описание.*

Ф. Кафка

В своей статье «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)» Тынянов убедительно показал, что «Село Степанчиково...» является словесной, стилистической пародией гоголевского творчества, особенно его «Выбранных мест...». В той же статье он указал, что комизм не является сутью пародийности: «комизм... сопровождающая пародию окраска, но отнюдь не окраска самой пародийности».

Возможно, пародийность – есть вообще тип мышления, особенно мышления эстетического, когда воображение развивает образ и мысль, которыми захвачен художник (порой до нелепости), и переворачивает их. Все это делается отнюдь не с целью осмеяния пародируемого текста, а напротив – извлечения всех скрытых потенциалов, лежащих в нем. Так что пародирование совсем не предполагает нелюбовь и пренебрежение к первоисточнику, скорее наоборот, первичный текст выполняет роль вдохновителя и провокатора, и потому для глубоких и истинных художников такую роль играют самые любимые и близкие тексты. Так с любимым человеком затевают ссоры и размолвки, предпочитая их охлаждению и разрыву.

У Достоевского так было с творчеством Гоголя, стилистику которого он не только пародировал, но во многом перенял (особенно в ранних вещах). Так было и с евангельскими текстами в пору создания «Бесов» с той разницей, что уже не стилистика, а образы и событийная канва, – самое существенное в Евангелиях, – становятся источником развития-пародии. Еще раз подчеркну, что в случае Достоевского пародия – это такая духовная работа над образами и событиями оригинала, при которой высекается искра, по-новому освещающая и труд автора, и то, что он пародирует. Именно поэтому образы и события «Бесов», сохраняя связь с породившими их образами и событиями Нового Завета, не уплощаются до их копий или антиподов, а живут собственной жизнью, выйдут на фоне глубоко прочувствованного канонического текста. Эта живая

соотнесенность создает еще один диалог в полифонии диалогов, отмеченных Бахтиным, столь же принципиально незавершенный и неоднозначный. Проследим голоса и линии этого диалога, понимая, что в роман заложено куда больше, чем можно вычитать и толковать. И потому оставим себе право уклоняться от выбранной темы туда, куда заведут эти голоса и линии, столь свободные даже от авторской воли.

1

Пародийность образа Ставрогина столь очевидна, что об этом упоминают все, писавшие о «Бесах». Очевидно и то, что пародируется образ настолько дорогой Достоевскому, что, по его словам, если бы оказалось необходимым выбирать между истиной и Христом, он выбрал бы Христа. И, надо сказать, все персонажи «Бесов» поступают почти именно так, они влюблены в Ставрогина тем более, чем более осведомлены о мерзости его поступков. Что же побудило автора выбрать на роль антипода-двойника именно Ставрогина?

Мы можем по этому роману судить об иерархии человеческой ценности для самого Достоевского. Вполне человек для него, конечно, Христос, а в пространстве романа – его двойник-антипод Ставрогин, и критерий здесь один: высшая по отношению к другим персонажам степень внутренней свободы и связанное с ней знание, что позволяет говорить и действовать, как «власть имеющий». Пожалуй, Достоевский единственный из русских писателей по-настоящему ценивший свободу в человеке без всяких оговорок о страшных ее проявлениях; для него свободный убийца и насильник несомненно больше человек, чем раб идеи, пусть и близкой автору, – это тем ценнее, что сам Достоевский был постоянно сосредоточен на нравственных идеях. Но основная его интуиция – Бог создал человека свободным и только свобода дает надежду к Нему прийти, а бесовство все, что искажает этот Божий замысел, что стесняет свободу и пытается стать посредником между Богом и человеком, стеснить его существование, пусть с самыми благими намерениями. Правда, есть одно свойство человеческой натуры, пародирующее свободу, мгновенно превращающее ее в свою противоположность, и свойство это занимает столь важное место в романе, что становится чуть ли не главным побудительным мотивом поступков его персонажей. Конечно, речь идет о гордыне. Но об этом ниже.

Портрет Ставрогина напоминает плохую икону, именно так писали лик во времена Достоевского: «Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, – казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен». Три его «подвига»-скандала в экспозиции романа явно пародируют искушения Христа, превращаясь в покушения: укус губернатора – покушение на власть, непристойное поведение с женой Липутина на глазах у всех – пародия на немедленное удовлетворение земных потребностей, таскание за нос почтенного старца – искушение опасностью, «божественное» преодоление всех мыслимых запретов и норм. К тому же, все три случая обнаруживают у Ставрогина отсутствие зазора между замыслом и осуществлением – свойство божественное уже без всяких кавычек. Позже, уже из исповеди мы узнаем, что в это время он был человек «решившийся» после своего необузданного преступления, но ведь и искушения к Христу приходят после того, как Он сорок дней постился в пустыне и «взалкал».

Первая сцена с участием Ставрогина (в романном настоящем времени) заканчивается пощечиной Шатова тоже отсылающей к евангельскому «подставь другую ланиту». Сначала хроникер рассуждает об огромной физической силе Ставрогина и возможности убить любого обидчика на месте, без всякой дуэли, после чего идет сцена пощечины: «не затих еще... звук от удара... как тотчас же он схватил Шатова обеими руками за плечи; но тотчас же, в тот же почти миг, отдернул свои обе руки назад и скрестил их у себя за спиной». Т.е. первая реакция была – убить, но тут же приходит соображение, что «снести» труднее и большее испытание для духа. Во всех этих эпизодах все более проступает суть «антиподности» Ставрогина: Христос знает свою свободу, поскольку знает «царство Божие»; Ставрогину все время необходимо испытывать ее границы, «а могу ли и это преступить?» – вот источник как его силы и привлекательности, так и самых тяжелых падений. Дерзание, оборачивающееся терзанием.

У Ставрогина есть ученики, прежде всего Шатов и Кириллов (в гораздо меньшей степени – Петр Верховенский, он ученик по восхищению, а не по идее). Как и евангельские ученики, они не поняли учителя или поняли его однобоко, их «съела идея», вскользь брошенная учителем, чего не могло случиться со Ставрогиным, который благодаря свободе (и отчасти равнодушию) больше всякой идеи. Вообще, идеи для Достоевского, несмотря на страстное отношение к ним и умение сделать их живыми, весьма опасные и

прожорливые существа. Свобода и достоинство человека – не быть «съеденным» идеей, такой свободой наделил его Господь. И стиль Достоевского во многом следствие этого убеждения: точное определение Бахтина «слово с лазейкой» подчеркивает невозможность окончательного приговора, оставляет свободу другим, невысказанным суждениям.

Шатову в романе дается исчерпывающая характеристика: «Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем». Любопытно, что почти теми же словами описывается страх Липутина, когда он узнает об убийстве Федьки-каторжного и парализован ужасом, что таинственные «они» и до него доберутся: «точно камень упал на него и придавил навсегда». Опасности не справиться с идеей в мире духовном соответствует опасность не справиться со страхом в мире материальном. Вообще, бытие в «Бесах», как и в Евангелиях, четко поделено на два мира: мир духовный, который доступен главным персонажам: Ставрогину, Шатову, Кириллову, Хромоножке (у этого мира даже есть свои трогательные материальные приметы, которые попадая в мир героев одухотворяются: надкушенная и забытая булочка Хромоножки, ночной чай Кириллова, подчеркнутое «хоть шаром покати» Шатова; Ставрогин и здесь исключение, у него нет материальных примет, он демонически вторгается в земной мир, внося раскол и смуту, испытывая его на прочность, как бы сомневаясь в его реальности) и мир дольний, с его тщеславием, Лембками, «нашими» и прочей «сволочью». Впрочем, ни один герой не застрахован от падения из мира духовного в мир земной, и опрокидывающим моментом служит гордыня; Кириллов соглашается подписать предсмертную записку об убийстве Шатова, от чего раньше с презрением отказывался, в момент, когда чувствует себя Богом: «Давай перо! – вдруг совсем неожиданно крикнул Кириллов в решительном вдохновении, – диктуй, все подпишу. Диктуй, пока мне смешно. Не боюсь мыслей высокомерных рабов...». Ставрогин, уже решившийся на публичную исповедь, не может вынести, что она покажется смешной людям.

Описанию событий мира дольного почти всегда сопутствует ироническая интонация, особенно она усиливается во всех эпизодах, связанных с образом Степана Трофимовича Верховенского – предтечи идейных и сюжетных коллизий романа. Здесь «слово с лазейкой» появляется особенно часто, вывод обращает утверждение в

ничто, это блистательный словесный танец самоуничтожения: «... деятельность Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась, – так сказать, от «вихря сошедших обстоятельств». И что же? Не только «вихря», но даже и «обстоятельств» совсем потом не оказалось, по крайней мере в этом случае», «А между тем это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке... ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего». С суровым и непреклонным Предтечей Евангелий образ мягкого и тщеславного Степана Трофимовича связан явно по принципу противоположности, хотя в защите идеалов молодости он, несмотря на авторскую иронию, приближается к прообразу. Полемический ум Достоевского часто использовал этот прием сходства-противоположности; так, умеющий самоотверженно любить Маврикий Николаевич (он предлагает своему сопернику Ставрогину жениться на своей невесте, понимая, что она любит его: «Если можете, то женитесь на Лизавете Николаевне, – подарил вдруг Маврикий Николаевич...») – (чего стоит это «подарил!»), возможно, назван Маврикием в противовес безумно ревнивому шекспировскому мавру. Но, надо заметить, ирония по отношению к персонажам дальнего мира интонирована по-разному, в отношении Степана Трофимовича она не беспощадна, и связано это с добротой персонажа. В мире Достоевского доброта, как и кротость, – это отмеченность Богом, она спасает от гордыни, спасает от окончательного падения и осмеяния. Поэтому, возможно, самая большая удачей романа в художественном плане является глава «Последнее странствие Степана Трофимовича», где за внешним налетом диккенсовской сентиментальности проступает величественно-фаустовское «Спасен!».

Но вернемся к героям мира духовного. Самый значительный из них, несомненно, Кириллов. Его рубленая речь обладает замечательной точностью и выразительностью. В разговоре со Ставрогиным о прекращении времени при Апокалипсисе на язвительный вопрос Ставрогина: «Куда ж его спрячут?» он с кантовской четкостью формулирует: «Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме.». Ему, единственному из героев романа, кроме Ставрогина, даны черты, намекающие на Учителя Евангелий: любовь к детям, чуткость к просветленным состояниям, интеллектуальная честность и прозорливость на грани откровения. Его несчастье в рациональном стремлении к свободе, она ему не дана природно, как Ставрогину. Бог в рассуждении Кириллова – не есть воплощенная свобода. Бог – боль страха смерти, т.е. последнее препятствие на пути к свободе. Человек должен преодолеть это препятствие, убить Бога и сам стать Богом. И ему, Кириллову, назначе-

но принести себя в жертву, убить себя, чтобы все стали счастливы: «Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому».

Образ Кириллова – воплощенная крайность, интеллектуальная и чувственная, а крайность несовместима с жизнью, с земным существованием. Вот что рассказывает он Шатову о своих ощущениях: «...вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой «...» человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть». «Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость» – этот стык несовместимого, который слышен в подборе слов, выталкивает Кириллова из земной жизни. Доведение идеи до рационального предела, до крайних выводов приводит к той же придавленности ему. Когда в Евангелиях говорится об истине, не зря чаще всего употребляется глагол «узреть», а не «понять».

Из главных героев романа самый «бесовский», несомненно, Петр Степанович Верховенский: он не говорит, а стрекочет, он мастер интриг и предательства, он знает, что в глазах умных людей, Ставрогина прежде всего, он – золотая середина (ни глуп, ни умен). Более того, он знает, что так оно и есть, и его ставка – на переворот основ жизни, всего существующего: вот разрушу, и тогда увидите! Собственно, всяческая гордыня есть взрыв посредственности в человеке, но у Петра Степановича это принимает гротескные формы. Он житель «среднего мира», связующий персонажей духовного мира с плоским миром «наших». Очень точно определяет его Кириллов: «...вы со способностями, но очень много не понимаете, потому что вы низкий человек». И действительно, на уровне психологии «наших» он может точно действовать и подмечать, это его определение: «цемент, все связующий, – это стыд собственного мнения», но уже гениальная реплика «Если Бога нет, то какой же я после того капитан?» ему недоступна, на реакцию Ставрогина: «Довольно цельную мысль выразил», он отвечает: «Да? Я не понял; хотел вас спросить».

Но даже на этот персонаж ложится ответ евангельского мотива, какая-то вывернутая тема любви Иоанна к Учителю слышится в крике его Ставрогину: «Нет на земле иного, как вы!... Если бы не глядел я на вас из угла, не пришло бы мне ничего в голову!». Из женских образов ближе всего к евангельским Хромоножка, Марья Тимофеевна, она та из евангельских Марий, которая сидела у ног Христа, не зря при появлении Ставрогина она молитвенно складывает руки и хочет встать на колени. Она одержима Духом, а не бесом: она красится, расчесывает Шатушку, и все это походя, без всякого кокетства. В Духе иная реальность, поэтому и ребенок,

которого у нее не было, вполне реален. На вопрос Шатова: «А что, коли и ребенка у тебя совсем не было и все это один только бред?», она терпеливо разъясняет что такое реальность духовного события: «...на этот счет я тебе ничего не скажу, может, и не было; по-моему, одно только твое любопытство; я ведь все равно о нем плакать не перестану...».

Вечно мучивший Достоевского вопрос: «что, если не было Воскресения, если Христос всего только лучший из людей?» как будто проверяется в романе. Все сюжетные линии, параллельные евангельским, имеют безблагодатную трактовку: Христос – тайна для окружающих, Ставрогин – тайна, не имеющая разгадки (ничего разгадывать); кровь Христа – искупительна, смерть Шатова бессмысленна (крик Виргинского после убийства: «это не то, не то...»); даже удивившийся младенец умирает не прожив трех дней.

2

Не так давно англичане сделали сериал по «Преступлению и наказанию». Английские актеры великолепны, фильм снят замечательно, страдания Раскольниковы явлены с пугающей достоверностью. Но в фильме нет того, без чего не существует ни один герой Достоевского – нет глумления, выверта, горького наслаждения собственным и чужим унижением. Нет «подпольного человека», который живет во всех персонажах Достоевского, человека, гордыня которого особенно болезненна, поскольку он чувствует, что не может претендовать даже на простую гордость, на свое место, каким бы оно ни было. «Все или ничего!» – вот лозунг гордыни.

Озарение и глумление – главные темы Достоевского и это опять-таки сближает его с Евангелием. В ключевых главах напряжение между этими состояниями достигает максимума, и такой главой в «Бесах» является, несомненно, «У Тихона».

Начнем с того, что встреча Тихона со Ставрогиным напоминает встречу Отца с Сыном. На то, что Тихону уготована роль Отца есть некоторые намеки в начале главы: «любившие и не любившие Тихона... все о нем как-то умалчивали», «не сумел внушить к себе... особого уважения», – любимая Достоевским мысль, что божественное величие проявляет себя не чудом, а смирением и «обыкновенностью», чужь ли не заурядностью.

Ставрогин приходит к Тихону с напечатанной исповедью, заранее решив, что если он покажет ее Тихону, он ее опубликует.

Этой решимостью обусловлена настороженность Ставрогина в первой части разговора, готовность увидеть в исповеднице «попа», «шпиона», «юродивого» и уйти в любой момент. Тихон участливо и с напряжением следит за просыпающейся гордыней Ставрогина, он ведет себя с ней, как с готовой укуситься змеей, то отступая, то заволаживая ее смирением. Вот у Ставрогина ненароком вырвалось в момент совместного чтения отрывка из Апокалипсиса, в момент явного душевно-духовного совпадения: «знаете, я вас очень люблю» – и тут же просыпается гордыня и нарастает злоба, исток которой мгновенно угадывает Тихон и тихо шепчет: «не сердись», что вызывает еще большее озлобление разоблаченной гордыни. Сила Ставрогина велика, их разговор представляет великолепную «симфонию» совпадающих и контрапунктных (когда бесовское начало, гордыня в Ставрогине побеждает) мотивов. В такие моменты Тихону приходится прилагать все духовные силы, чтобы не поддаться бесовской силе Ставрогина. Так, на вызывающе-ироничный вопрос Ставрогина: «Вы, конечно, и христианин?» Тихон отвечает как бы про себя «страстным шепотом»: «Креста твоего, Господи, да не постыжуся».

Сама исповедь Ставрогина написана намеренно бесстрастно (за исключением финального сна с видением рая). Главный герой все та же испытующая гордыня: до каких пределов могу пойти, что еще «преступлю». Возбуждающим моментом служит всегда кротость и униженность жертвы: на девочку он обращает внимание после несправедливого наказания, которое она кротко переносит; чиновника обкрадывает, зная его робость. Как только кротость исчезает, вождедение улетучивается. В сцене соблазнения Матрешки есть поразительный момент, когда девочка, пройдя всю гамму чувств от испуга до стыда «обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение» (Набоков был внимательным читателем Достоевского). Жертва превратилась в пародию на любовницу, и Ставрогину становится неприятно: «я чуть не встал и не ушел...». Во всем этом, кроме точного психологического анализа, есть еще столь часто звучащая в Евангелиях тема, что добро и истина вызывают особую активность злых сил; добро, не прошедшее испытание злом, как бы не совсем добро. Но особенно выделен только Достоевскому присущий мотив: красота, гармония сильнее любого зла. Ведь Ставрогина потрясает не само преступление, а видение рая, куда вторгается образ погубленной им Матрешки. Нарушенная гармония – вот преступление, которого не может вынести и закоренелый преступник.

Разговор Тихона со Ставрогиным после прочтения испове-

ди сводится к поединку, ставка которого: удастся ли гордыне обратит раскаяние в свою противоположность. Для Тихона все средства хороши: и нарочито двусмысленная оценка ставрогинской исповеди «...более великого и более страшного преступления... нет и не может быть», и готовность обнаружить в себе те же чувства, которые позволят другим насмеяться над исповедью: «некрасивость убьет!», и, наконец, исповедание веры в Духа: «Если веруете, что можете простить сами себе и сего прощения себе в сем мире достигнуть, то вы во все веруете!.. Вам за неверие Бог простит, ибо Духа святого чтите, не зная его» (ср. евангельское: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем»). Здесь смирение и гордыня сошлись в смертельной схватке с предрешенным на земле исходом.

В заключение, хочу повторить эпиграф из Кафки: «Внутренний мир допускает только проживание, но не описание». Нельзя не согласиться с Кафкой, и нельзя не заметить, что Достоевскому и Кафке удавалось опровергнуть это бесспорное утверждение.

ВЛАДИМИР БАБИЧЕВ

ВЕСТЬ ОТ АЛЕКСАНДРА

«Двенадцать» Александра Блока — это история грехопадения России. Русская Революция как проявление невроза славянской души. Благая весть от апостола русской литературы — ответ на вопрос «как».

Все гении тяготеют к пре-мирному.
В. Розанов

«Бывают странные сближения»

«Борис Годунов» и «Двенадцать» странно сближены. Сочинения блаженной памяти Александров писаны одним историографическим почерком: в носях времени оба поэта уловили мелодию «тайной свободы», «одну песню грустную России», ее напев, по признанию Александра Сергеевича, звучал, «как свежая газета». Звучит в обоих творениях и поныне. Оба пели о смутном времени, о национальном даре россиян «смутно» чувствовать историю. Кода обеих вещей снимает конфликт поляризованного целого (нации), завершает действие «безмолвствованием» — ожиданием звуков рождения новой истории. Оба сочинения — «любимые произведения» поэтов. Авторская оценка адекватна духу вещи. Трагикомедия Пушкина — «Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!». Трагифарс Блока — игривый шлепок по ладошке мании величия: «Сегодня я — гений». Творения Александров сближены загадкой жизни в литературе, они все еще ускользают от целостной концептуальной оценки. Речь не идет об исчерпывающем прочтении. Скажем, не включена тема православия, нервная система сюжета «Бориса», в предмет исследования «Комедии о настоящей беде Московскому государству» — нет в том беда. Дело в поверхностности ответов на вопросы еще первых толкователей. До сих пор, например, не сказано, на каком основании комедия признается трагедией, если народ — главным героем. Все разговоры на этот счет переносятся в область вульгарной со-

циологии, в толки о тяжелой жизни нравственно чистого при тиранствующем цареубийце. Бросающееся в глаза несоответствие такой коллизии жанровым приметам трагедии по таинственным причинам не замечается. Сам тезис о главном герое, народе, не очевиден, требует доказательств. Признаки исторической и физической силы объекта беллетристики, той же черни, народа еще не утверждают его в статусе главного героя. Литературный персонаж обязан как-то себя ваять, в данном случае, по пушкинскому определению смысла трагедии, «народная судьба» должна выковать «судьбу человеческую», очевидно, судьбу Бориса, по словам поэта, «первой персоны» трагедии. Вопрос отражения индивидуальной в общей и национальной в персональной судьбах, по чеканной формуле автора, вопрос о вовлеченности Московии в самоубийственную для верхов и низов историческую ситуацию – центральный, узловой момент трагедии за более чем полуторавековую жизнь «Бориса» в литературе, к удивлению, не освещен. Все рассуждения о великой трагедии без анатомического исследования пуповины между народом и рожденным им «вчерашним рабом, татаринном» Борисом представляются поверхностными. В работах о «Борисе» «мальчик», оказывается, еще не родился. И в этом трагедия сближена с поэмой Блока. С небольшой оговоркой. В исследованиях о «Борисе» накопилось много ценных и глубоких наблюдений. Поэма Блока, по сути, еще не открывалась. Смешно сказать, разве что изучалась по системе скорочтения.

Разговор о сближениях «Бориса» и «Двенадцати» – отдельная поэма, проблемный пласт русской литературы о Революции. Пока поведем разговор о шедевре Блока.

«Кто имеет уши слышать, да услышит»

В очередном толковании поэмы («Знамя», №11, 1991) Л. и Вс. Вильчек обратили внимание на весьма курьезную причину затруднений в рассекречивании ее смысла. «...скажем о странной мысли, неотвязно преследовавшей нас,- признаются они,- когда мы штудировали исследования поэмы: как много все-таки надо *знать*, чтобы суметь *не увидеть* того, что написано просто черным по белому». Та же «странная мысль» о горе от ума закрадывается после знакомства с трудом Л. и Вс. Вильчек. И они, эрудиты, свободно владеющие инструментарием философской антропологии, в «пристальном прочтении» (под такой рубрикой подается их публикация), таки «сумели *не увидеть*» подробность, дважды отмеченную в поэме, как говорится, русским по белому: «Исус Христос» для преследователей «невидим», Двенадцать не знают, на какого «товарища» покушаются, иначе не стали бы вопрошать, «Кто там

машет красным флагом... Кто там ходит беглым шагом...», не призывали бы «призрак» «сдаться живым». Ситуация сакрального заклания Христа с мотивом негативной евхаристии по тексту поэмы не выстраивается. К евхаристии со знаком плюс или минус ведет сознательное принятие или отвержение Христа.

Поэма может показаться заколдованной. Все писавшие о ней не вывели ее из разряда графомани, не поместили первым признаком художественной литературы – наличием коллизии. К опусам изящной словесности вроде бы следует относить сочинения, в коих действие главного героя каким-то образом ему аукивается, прямо или косвенно он над собой смеется, плачет или роет себе могилу. Почитать написанное о «Двенадцати» – Двенадцать себе – не больше, чем Гекубе. Понесло их, как саранчу, ветром революции. Катьку пришили – так это случайно или полуслучайно. И вот перед ними – «бац» – Христос! Благовествует о перспективе революционного пути от щедрот и разумения пишущего.

Незатейливые толкования рязнятся только оценкой роли Христа в поэме, как Он, подобно барыне в каракуле из первой главы, «подвернулся» критику, на какой символ и залог Христос у него «растянется», опять же, как та барыня. Иному исследователю «подворачивается» «куклой». Временами – Антихристом. По упомянутой статье, например, красногвардейцы охотятся, ничего не ведая, сначала за Антихристом. С каким-таким смыслом, не обсуждается. Затем во время приближения к Двенадцати пса Христос сменяет Антихриста! По какой прихоти и чутью, в связи с каким действием отряда, не осмысливается. Самым интересным, проблематике поэмы не сторонним, но и самым вздорным образом Христос «подвернулся» Б. Парамонову. В передаче по радио «Свобода», посвященной анализу идеи Л. и Вс. Вильчек, Борис Михайлович развил «пристальное прочтение» поэмы. По мнению литератора обширной эрудиции, эпилог Двенадцати лежит вне ее текста – Христос ведет отряд на убийство Отца. Так, мол, выходит по Фрейду и Фромму. Но из чего следует, что поганое воинство ведет не Антихрист? Ну добро, пусть банду ведет, кого Бог на душу исследователя положит. И пусть в угоду психоанализу кастрирующая, пардон, редуцирующая отношения отца и сына всесильная и потому верная метода Фрейда в данном случае ничего лишнего не отсекает от связи между ними. И пусть богоборец слыхом не слыхал о бессмертии Отца. Пусть, наконец, он будет вооружен секретом расправы. Какой, однако, умысел камуфлирует главарь революционеров женственностью облика? На какой нюанс комплекса Эдипа на небесном уровне намекает участие в кампании пса? Возможно, сынок намерен действовать по давно отработанному в небесных сферах

сценарию: полоснуть штыком (вот к чему прихвачены служивые) родителя по гениталиям, и поскольку ему, видимо, достаточно мороки с уже существующим Млечным путем, возникшим, помнится, из растекшегося семени однажды так поверженного, «пес голодный» призван поглотить отсеченные подробности. Такое вот получается благоусмотрение.

Все революции, заключил тогда ведущий Русской идеи, тонут в отношениях отца и сына. Сказано пронзительно верно. В привычке к поэме мысль горячая. Но, Бог мой, в этих отношениях тонет все мироздание. В нашем разговоре остается лишь понять, почему сочинитель снарядил «в эти отношения» странно экипированную экспедицию в таком составе. «Исуса Христа» нельзя принять за символ определенного толка, пока не выяснен смысл деталей портрета и антуража финала. Поэма как-никак принадлежит перу символиста. «Белый венчик из роз», эмблема, уместная на нежной девичьей головке, улеевая символ чистоты, явно шаржирует Христа. Такой Иисус не может быть залогом нравственного преображения убийц. Но прежде всего Христос благовестия не совмещается с «Иисусом» по мотивации действия в финале. Для воплощенного добронравия игра с бойцами в жмурки не лезет ни в какие ворота. В «беглом шаге, / Хоронясь за все дома», «Иисус», можно сказать, бесит красногвардейцев, провоцирует их палить из ружей. А после «трах-тах-тах» – «только эхо / Откликается в домах...». А эхо, заметим, откликается в пустых домах. Трудно угадать, чем руководствуется «Иисус-дразнилка» (финальное видение «влечет, дразнит», написал поэт «своими словами» иллюстратору поэмы), доводя смертельную игру с людьми до пределов с признаками атомной зимы –

*– Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...*

Бесам здесь не в кого вселяться – не из кого выходить. Этот Христос с каноническим не имеет ничего общего.

Ситуацию можно было бы прояснить с допущением, что «православные» палят в Христа (внутренне вопят «распни, распни Его!») подсознательно, в дурном, бредовом сне. Но такую плодотворную догадку надо опереть на структуру текста.

С другой стороны, принять «Исуса» за Антихриста, значит отказать автору в элементарном чувстве меры и вкуса. Персона Антихриста съедает в поэме пространство авторского недоговора, вещь становится пустой, плоской. Вообще, с Антихристом поэма превращается в развернутую иллюстрацию народного поверья: нырнули то большевички в завирюху революции, а там, аккурат, черти с

ведьмами тешатся, с ними и пошли окаянные супротив Господа... Право, ай-да Блок, ай-да «гений». «Исус» – «влечет, дразнит», интригует. Антихрист – выхолощивает «драму на охоте» Двенадцати. Что в поэме делает пес? Если он всего лишь деталь живописного фона, тогда почему отряд синхронно обрамляет пара пес-Христос, а псина, приближаясь к группе товарищей, оволчивается, звереет, уравнивает раздражающие действия Христа? На пса осатаневшая «стая» огрызается клыками штыков тех же стреляющих ружей. Очевидно, между псом и Христом протянут невидимый поводок, связующий «апостолов» революции с потусторонним Духом и посторонним «нищим, шелудивым, безумным» псом.

Странно, никто из толкователей в упор не желает видеть в финальной процессии «пса голодного». Потому, видимо, что собака попалась немая. Человечьим голосом прочесть хоть словечко из написанного на знамени «Исуса» тоже не умеет. А чутье есть, тонкое. Вошла-таки в шаг «нищей, голодной», не имеющей хозяйина «безумной» «державы».

Вроде бы ясно, ключ от входа в поэму хранится в коротком замыкании символов пса и Христа. Но что он открывает? Слияние и разрыв Божеского и человеческого? В каком контексте?

Все слышат «тишину» финала. Но никто не пытается заполнить это «молчание» смысловым звучанием сюжета поэмы.

«Бог призвал Авраама, а я сам призвал Бога...

Так меня устроил Бог»

Блок пытался отмахнуться от «шума» немного кадра финала, однако в конце поэмы, по его признанию, ему все равно виделся Христос. Признаюсь, и я пытался не раскручивать «Исуса», хотел облегчить себе работу, не подвергать испытанию восприятие читателя, привыкшего в Христе видеть евангельский канон. Результаты получались скверные.

Гениальная поэма превращалась в скабрез, в пошлый паксвилль на Революцию. «Исус», смещенный с Иисусом, «спасает» поэму, открывает ее божественную глубину, превращает в откровение, проливает свет на душевную драму поэта.

Заковыристость секрета «Двенадцати» кроется в отсутствии секрета. Статус Бога открывает первый антисекрет.

Поразительно, толкователей, признающих в «Исусе» Христа, решительно не интересует, с какого кондачка Всевышний дал согласие выполнить назначенную поэтом роль. Яснее ясного, Господь не может быть «как будто», на минуточку стать знаком, отражением, образом – Его нельзя признать отчасти или признать часть

Его. Божий знак, образ и подобие равны Ему. Потому-то Он и есть Слово свое. Ясно, Блок не мог пригласить Бога к исполнению роли персонажа. Роль Господа равна Ему, по этическому совершенству, бесконечности и абсолютной свободе Господь не может творить нечто вне Себя, не может быть объектом действия. Допустимо обратное, сюжет поэмы от Александра включен в действие Господа (атеистов отсылаем к признанию братии из обители поэзии от Гете до Бродского: не я пишу стихи...). Полная блажь? Но несусветицу допущения легко прояснить – нужно всего лишь отыскать в пространстве слова Блока следы присутствия Бога. Как отыскиваем Слово в словах Писания. Никто ведь еще не сказал, что Боговдохновение и путь к слову исчерпаны, а Автор и автор, а хоть бы и Блок, не могут войти в творческую синергию. Ну в самом деле, с кем поэты Божьей милостью пишут стихи?

Итак, антисекрет первый: в поэтических сферах «Двенадцати» Бог присутствует в качестве субъекта действия. В дом своей поэмы Господа позвал поэт. Позвал... в Доме «суверенного господина». Мог бы не кликать всуе Адоная.

Второй антисекрет кроется в универсальности или отсутствии лика Бога.

Сначала мне показалось, «Исус» раскрылся сам. Он, подумал я, никакой не Христос. Атрибуты лика из другой оперы. Тип бабьей, русской природы. Ни дать, ни взять се человек в сарафане. Но он вроде бы и в косоворотке – имя носит мужское, Святое. Как ни крути, Блок перепел Евангелие. В нижней, человеческой партии Христа. А тут закавыка в совместности ипостасей... Стоп! Кто сказал, что наш «Исус» не может быть православным, точнее собственно русским, ликом Бога? Вполне может! Догадка подтвердилась давно известным признанием поэта.

В пятьдесят шестой Записной книжке Блока есть такие строчки: «...Христос идет перед ними – несомненно. Дело не в том, «достойны ли они Его», а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет, а надо Другого – ?». Авторское размышление о «Другом» снимает вопрос об истинности Христа. Будь перед «апостолами» Антихрист, их «достоинство» не стало бы подвергаться сомнению. Страх автора как раз и порожден обстоятельством невероятным: отряд убийц сподобился идти под сенью Спасителя. Остается выяснить, в каком взаимодействии. В Дневнике 1918 года есть и такая запись: «Я только констатировал факт: если взглядеться в столбы метели *на этом пути*, то увидишь «Исуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак».

Однажды на пути свободы Господь в «огненном и облачном столбах» уже вел избранный Им народ. Теперь в писании Бло-

ка ведет по снегам России. В «столбах» синайской пустыни, «если взглядеться», воображался Дух, «на пути» русской Революции – «призрак», «Исус Христос». Разумеется, кавычки у имени призрака в записи Блока не ставят на место «Исуса» «Другого», они цитируют два последних слова поэмы. Это тот же идущий перед красногвардейцами Бог, но в атропоморфном облике, в образе «Исуса» – земные, национальные черты этой персоны могут вызвать даже «глубокую ненависть».

Автор, как видим из сопоставления записей, не отделяет «Исуса» от присутствующего в драматургическом пространстве поэмы Исуса. В «Двенадцати», как и в Евангелии, Бог и человек слиты. Но в писании Александра и Писании Евангелистов Богочеловек явлен по разному, ибо шел Он к разным человекам, в разные времена, с разными вестями. «Я есть путь, истина и жизнь», – сказал Исус по свидительству апостола Иоанна. «...на этом пути», – «констатирует» Александр, – нет истины и жизни... Как говорится, приехали. Это не путь с Христом. «Если взглядеться», говорит автор, Он с революционерами, но по смыслу их действия Его пришествие исключается. И ясно видит его в финале. Драгоценная догадка о национальном облике Христа поэмы лопнула, как мыльный пузырь. Конструктивная роль догадки открылась с помощью еще одной дневниковой записи поэта, в наброске пьесы, задуманной во время работы над поэмой. Разговор об этом плане совместим с небольшим отступлением, в нашем разговоре не лишнем.

В русской словесности начала века понятию Христа были нанесены чувствительные удары. Мужская статья Исуса подверглась сомнению. В. Розанов, например, видел в Христе «...призрак... без зерна мира; без ядер; без икры» («Исус сладчайший и горькие плоды мира»). У Блока и Хлебникова, поэтов Божьей милостью, есть на этот счет удивительное совпадение. В поэме «Ночной обыск» пьяный матрос обращается к иконе:

*Дашь мне в лоб, бог девичий...
Много ты сделал чудес,
Только лишь не был отцом...
Ты ходишь в ниве и рвешь цветы,
Плетешь венки
И в воды после смотришься,
Ты синеглазка деревень,
Полей и сел,
С кудрявой бородой -
Вот ты кто.
Девуца!..*

И Хлебников мог бы назвать своего «Иисуса» «женственным», так же пометить ремаркой – «не мужчина, не женщина», как сделал Блок в наброске пьесы. В отличие от розановского, а его Христос «не животен, не бытийственен», «Иисус» Блока и Хлебникова вполне материален, но онтологически отличителен. У Хлебникова он самодовлеет – «смотрится в воды», это натура исключительно природная, архаичная. Он страшно далек от народа социально. Блокковский Христос укоренен в плоти народной жизни, это, по записи поэта, «грешный Христос». Розанов и Хлебников лишают Христа мужского, производительного начала, «Иисус» Блока обладает действительной потенцией «грешника».

В наброске пьесы читаем: «Иисус – художник... – задумчивый и рассеянный, пропускает ... разговоры сквозь уши: что надо, то в художнике застрянет. Тут же проститутки». В низах, ведомых Иисусовой истиной бытия, не «зачнется русский бред» – мотивы действий нравственно чистого будут продиктованы тонким чувством правды жизни. Оснащенность Христовым ситом с ячейками «что надо» позволяет «апостолам» Руси сеять зерна жизнестроительства, допустим большевизма, на ниве самых высоких императивов. Ложь, плевелы будут отброшены. Народ-«художник» одобрит, отберет доброе, чистое. Его душе можно доверять. Правда, его «рассеянное» простодушие, похоже, не выросло из детских штанишек. Ну и что? Значит, его отличает чистота, можно сказать, святость.

«Он (Иисус), – читаем в той же записи, – все получает от народа (женственная восприимчивость). «Апостол» брякнет, а Иисус разовеет». В этом Христе оседает, произрастает все исходящее из исторического бытия народа, можно предполагать, из его мессианского назначения. Вот в это материальное начало русского православия, в дольного Христа (Божьего помазанника) и «вочеловечился», по любимому слову Блока, горний Иисус (земной человек). Тавтология и путаница, следуя автору поэмы, здесь оправдана: Русь угадала готовность Неба опереться на плечи «апостолов» православия, а Небо увидело в «избяной» оплот веры. Да, «апостолам» свойственна доверчивая, инфантильная восприимчивость, самозабвенная, просто проститутская податливость веяниям и «бряцаниям» – да не беда, творческая энергия «кондовой, толстозадой», «задним умом крепкой» может быть реализована только на платформе христианства, содеянное Святой Русью не может не быть шагом православия – «что надо» «разовеет Иисус».

Блокковские Андрюха, Петруха, Ванька обладают мандатом на святость «развития» той же Революции, ибо начнут свой путь с точки опоры посоха присно присутствующего в их душах Христа. «Апостолы» русского православия сотворят «новую землю»

коммунизма под началом Иисуса. С Ним обетование уже назначено. Вот и идут в «светлое будущее» красногвардейцы с благой вестью: «С нами Бог», наша революционность рождена в нутре православия, акушером святой Революции стал сам Христос, ура, наш главный большевик ведет нас в сладкую жизнь.

Мемуарная литература приписывает Блоку такое высказывание: «Большевизм – настоящий, русский, набожный – где-то в глубине России, может быть, в деревне. Да, наверно, там...» Рассуждение, похоже, блоковское и по стилистике. Мысль поэта подтверждается пометкой в Дневнике 1917 года: «...записал... слова о большевиках как о «первых христианах». Первый Рим, считал Блок, сокрушило революционное учение христиан. «Третий Рим», по ожиданиям радикально настроенного Блока накануне революции 1917 года, должны снести «настоящие» новые русские христиане. Ясное дело, во имя «Четвертого». Кровное родство большевизма и русского православия выражено в «Двенадцати» молитвенным восклицанием

*Мировой пожар в крови -
Господи, благослови!*

деревенских «наших ребят», в частушках третьей главы («Как пошли наши ребята / В красной гвардии служить...»), словно рожденных в сельской глубинке. По сказовому зачину этой главы можно сказать, где родилась «русская идея» мировой Революции. Определенно – в России общинного уклада жизни. У двенадцати «апостолов» из оплота православия губа отвисла не меньше, чем у Петра из наброска пьесы, но глубина «кондовости» Святой Руси не помешала, скорее наоборот, востребовать утопическую идею построить рай в этой жизни. Большевикам, по Блоку, не пришлось прививать, насаждать свои лозунги массам – русские марксисты высветили, зажгли в низах затаенное, мечтанное. Забегая в разговоре о поэме вперед, скажем: Россия в Революции родила нечто, чем от века была беременна. Вернее, хотела дать жизнь желанному светлomu, а разрешилась от бремени нечистью.

Подозревать Христа Блока в приверженности большевизму позволяет дневниковая запись поэта в марте 1918 года: «Если бы в России существовало действительно духовенство... оно давно бы ушло то обстоятельство, что «Христос с красногвардейцами». Поэт, надо думать, имеет в виду «учет» совпадения идей хилиазма и коммунизма. Развивая упрек Блока русскому духовенству, заметим, немалая часть его до конца 1917 года была настроена проревольюционно, наверно, чувствуя благословение свыше. Так называемые

«обновленцы» русского духовенства такого благословения после революции, конечно же, не получили. Отбросим упреки и согласимся, проблема стыковки христианства и большевизма в России, центростремительных и центробежных побуждений нации, поэтом не надуманна – в ней начало вековой трагедии православных, исток смятения русского духа, зафиксированный трагедией Пушкина. Русские с православием позвали Рюриков и никак не могут к тому и другому, власти и свободе, искони своему, «привыкнуть». «Народ, – признается Шуйский, – отвык в нас видеть древню отрасль». Русские от века хотят свободы больше, чем могут себе позволить. Они все погоняют печь, в топке которой сидит, по Блоку, себя «сжигающий Христос», сиречь «Исус».

Двенадцать несут знамена с трепещущими ликами Христа. Великий Инквизитор теперь не смог бы повторить упрек, брошенный Христу Легенды. Наш «Исус» не «отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось... чтобы заставить всех преклониться бесспорно, – знамя хлеба земного...». Программа, начертанная для Христа Достоевского, «Исусом» Блока выполнена. «Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою... Многие... понесут силы духа своего и жар сердца своего... на тебя... и воздвигнут *свободное* знамя свое, – пророчествовал Инквизитор. – Но ты сам воздвиг это знамя». Воистину, «Исус Христос» в «апостолах» сам «воздвиг *свободное* знамя» «хлеба земного». «Знамя» Христа и кровавый флаг большевиков для Двенадцати равно «прельстительны», идентичны исходной идейной заряженностью, совместимы, как текст и подтекст первой главы.

В словах, не помеченных признаками прямой речи,

*Эй, бедняга!
Подходи –
Поцелуемся...*

слышится и сердобольный, бескорыстный (откуда у «бедняги» деньги «на ночь, на время») большевистский порыв проститутки приютить, обласкать «бродягу» (пришельца) Петра, и зов Христа, Его готовность утешить заблудшего, возлюбить сирого, пойти навстречу предательскому задуму (принять поцелуй Иуды).

Следующие три строчки:

*Хлеба!
Что впереди?
Проходи!*

тоже имеют двойной смысл. Вопль народа соседствует со страстной мольбой о хлебе насущном, требование патрульного караула назвать пароль – чтоб не «сторонкой – за сугроб», как поп, а прямоком в «светлое будущее», перекликается с взыскующим вопросом о видах на жизнь «вперед» – в разрешении пройти угадывается благовестие Христа: «Вера твоя спасла тебя».

Идем по тексту главы дальше.

Кипит зажженная большевистскими посулами в груди Катя и Петь страстная жажда мечтанной жизни в тысячелетнем «царствовании Христа». «Кипит» их «разум возмущенный»... Ум и сердце рождают «черную злобу». Испарения от «кипения» поднимаются, скапливаются в небе России. Оттого-то оно «черное, черное». Впрочем, может наоборот – это небеса посылают на землю «святую правду», а от нее «святой злобой» «кипит душа». От небес ли, человеков ли – грядет на Русь Революция. «Ветер веселый» крутит подол «вечно женственной России», распространяет, «доносит» (ветер «слова доносит» со всех, и проститутских, «собраний») запах обольстительного приглашения довериться ему, вкрутиться в его вихревые «воронки». Нет, не большевики разогнали «Учредилку» – ее, как «Большой плакат», сдуло ветром не атмосферического, а метафизического напора. Н. Бердяев вспомнит: над Россией висело облако Революции. Россия, по мысли автора поэмы, обольщенная этим «облаком», свободно шагнула в него. Предтеча Двенадцати, бродяга из «Песни судьбы», признался: «Меня позвал ветер... Я понял приказание ветра... Ветер открыл окно...». Через открытое ветром «окно» внешняя и, скажем с натяжкой, внутренняя среда обитания россиян смешалась, стала единой.

О «тайной» связи России с «облаком», «ветром» свободы и «поет» Блок. Вослед Пушкину. И в «Годунове» все действующие лица (народ, бояре, царь – главные герои трагедии по разным исследованиям) втянуты в «облако» рожденного гласом свободы «мнения», вовлечены в дух истории. В песне «тайной свободы» Александров меньше всего поется о спрятанных от царя или большевиков ушах юродивого или кукишах.

Финальный призыв главы

*Товарищ! Гляди
В оба!*

заряжен двойственностью смысла того же характера. Острые революционного кредо: «кто не с нами, тот против нас» совмещено с новозаветным тезисом: «кто не против нас, тот с нами». Подходы к

коммунистическому раю и граду Божьему можно мостить одними и теми же «краеугольными камнями».

Итак, по второму антисекрету, единственный персонаж поэмы Русь явлена в сюжете с воплощенным в ней Христом, явлена «Исусом Христом». Или по вечной формуле любви: Катя + Двенадцать = «Исус Христос». Святая Русь с органично присутствующим от века в ней Христом сама ведет себя в Революцию. Драма души православия «на этом пути» – драма аутизма Руси, сюжет вполне клинический. Напомним, аутизм на языке психиатрии – погружение в мир переживаний, не связанных с действительностью.

Пока мы установили только совпадение Божеской и человеческой позиций в исходной точке пути, сплетение побуждений ума и сердца, подвигающее православных ступить на путь к раю от пересечения «краев» единого для хилиазма и коммунизма идейного «угла», от одной печки. Но и до анализа текста поэмы за глаза можно утверждать, что «апостолов» Революции Христос никуда не поведет. Двенадцать русских нигилистов, соблазняясь призраком рая, не ступят к Богу уже в умысле первого шага. В двухстрочном финале первой главы читатель приглашен взглянуться в небо и душу, окститься, отказаться от намерения идти «вперед». В поэме есть свой Пимен.

Нигилизм и безбожие народа в трагедии Пушкина обнажены. Преступление Бориса еще до целования ему креста – для всех «не новость». Нравственно чистый идет за Самозванцем, ведая: Лжедмитрий «вор, а молодец». Нация, по Пушкину, вступила в пору демократии – всяк может уподобить себя законному наследнику царя-батюшки. Или, по формуле XX века, кто был ничем, тот станет всем. Душе разрешается участвовать в приватизации.

Необходимые оговорки сделаны, можно переходить к чтению поэмы.

Коллизию поэмы стоит, пожалуй, сразу же высветить по Ницше, по его схеме рождения трагедии. Основательно захваченный идеями немецкого мыслителя Блок, возможно, построил действие «Двенадцати» по его плану трагического. К такому выводу подталкивает перепев в поэме жизни Святой Екатерины.

Нашей Катьке, Екатерине (с греческого – всегда чистая) приснился дивный сон, будто девственное лоно ее, «знатной, богатой, умной, красивой» (на индо-европейских языках – райской), в «совокуплении нетленном» принадлежит Небесному Жениху, наказавшему ей: «...и отнюдь не избирай себе никакого мужа». Все по Житию и страданию Святой Великомученицы Екатерины и книге Минеи. Двенадцати, второй половинке Святой Руси, в этом сладком сне показалось, будто они и есть этот пресветлый жених, коему

само Небо уготовило непорочное лоно – рай для Жениха и Любодейцы. Иллюзорные мотивы действия аполлонического и дионисического начал целого – персонифицированных половинок Руси – приводят Святую к трагической встрече с миром материальным. Грезы о возможности достижениярая не совмещаются с реалиями бытия.

Аллюзии поэмы подсказывают поставить вопрос об аутентичности Святой Руси. Русский народ чувствует себя женщиной, заметил Бердяев, все невестится. И перед Богом, добавляет поэмой Блок. Можно ли любвеобильную Русь, вопрошает в подтексте поэмы поэт, считать вотчиной Христа, принадлежит ли царство православия Христу так же истово, как святая Екатерина своему Небесному Жениху? Между прочим, возлюбленный, а лучше сказать хозяин, Кати носит не собирательное на Руси имя Иван, а основателя христианской церкви Петра. А как раз Петр отбил у Ивана, «плечистого» обладателя «дурацкой физиономии», и прикончил беспечную Екатерину – всему открытую, мученически терпеливую, все прощающую, готовую принести себя в жертву Русь – резвое и полнокровное (у «толстоморденькой» «зубки жемчужные») дитя. «Катка – ... здоровая и чистая, даже до детскости», – писал Блок Ю. Анненкову.

Попробуем, наконец, отождествить «Исуса» и Катю.

«Дух, как ветер, веет, где хочет...»

В приведенной выписке из пятидесят шестой Записной книжки «констататор» в «страхе» признался: «...опять Он с ними...». «Опять», как минимум, повтор. Выходит, «Исус» и раньше незримо сопутствовал красногвардейцам. И, наверно, на их «пути» оставил следы земного пребывания.

Начнем с крупниц. Вчитаемся в строчки финала:

*Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной...*

В женственной поступи «Исуса» угадывается легкий танец. Но пляски удавались Кате и при жизни. «Эх, эх, попляши! Больно ножки хороши!» – вдохновлялся грацией Кати Петруха. По совпадению Святая Екатерина тоже обладала «красными ногами».

Чему можно уподобить «снежную россыпь» видения? Правильно, кружеву. Но и Катя любила облачаться в «кружева». «В кружевном белье ходила – Походи-ка, походи!» – восторгался оперением дамы сердца Петя.

В момент убийства Кати «Вскрутился к небу снежный прах!». Поднявшийся в «надвьюжье» «прах» включился, надо думать, в игру снежно-праховой стихии финальной картины. (Развешанные в поэмах ружья должны стрелять в нужный момент не менее прицельно, чем в драмах). «Вскрутившийся к небу» дух («прах») Кати вошел в «тело» «Исуса», принял его очертания, придал «призраку» черты «женственности». Катя стала «призраком». В противном случае «выстрел» в шестой главе следует признать холостым. Попробуем увидеть в поэме композицию, случайностей в которой не больше, чем в классически выверенном романе.

И стала Катя в «надвьюжи» «жемчужной россыпью». Не исчез бесследно жемчужный блеск ее роскошных зубов. «Исус» ступает «надвьюжно», а в первой главе «Старушка, как курица, / Кой-как переметнулась через сугроб». «Матушка-Заступница» «переметнулась» поверх «сугроба-гроба» («Ох, большевики загонят в гроб!»), а чадо ее витает поверх пустых «гробов-домов». Оба (обе) умеют витать над могильным пространством. Но доподлинно роднит нашего «Исуса» и «Матушку-Заступницу» наследственность в телесных формах, в частности походка. Свою нежную «поступь» «Исус» унаследовал от природного умения «богородицы» нежно, мягко и пластично распускать бутон своей лапки прежде, чем ступить. Уж такая у кур поступь. Истинно роднит «мать божью» и ее дитя инстинктивная боязнь ножа. В крови у курицыного сына сидит завет «заступницы»: буде кто станет преследовать тебя, «Исусе», спасайся «беглым шагом», не верь уговорам («Лучше сдайся мне живьем!»), рискуешь лишиться головы. Кстати, поэт одобрительно отозвался об иллюстрации, изображающей Петю с кухонным ножом. (Из письма Ю. Анненкову: «...у Петьки с ножом хорош *кухонный нож* в руке...»). Не иначе, от такого «ножичка» («...не ушел он от ножа...») пострадал воитель в шпорах петя-«офицер». Неслышную в финале «поступь» «апостолов» русской Революции с куриными мозгами определенно предваряет петушиная подложка, каковой и была Екатерина в этой жизни. Известно, всякая курица податлива. Что тебе Русь. Отношения в треугольнике Ваня-Катя-Петя явно орнитологические. Катя, как у кур водится, предпочтений не делала. И Ваня, охотник горланить и красоваться перед «девочками» («Вот так Ваня – он речист!»), и Петя, пользуясь услугами Кати, претензий ей не предъявляли. Всему «солдатыю» – она своя, со всеми «идет». На то она и безотказная курица. Как у петухов заведено, Ваня и Петя отношения выясняли между собой, по-мужски. Как-то налетели в смертном бое друг на друга. Однако ж, мало ли какие отношения могут возникнуть на почве «любви» у вчерашних бро-

дяд, уголовников, а то и сутенеров. Вчитаемся в начальные строки шестой главы:

*Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач...*

Тут Ваня и Петя выдали себя головой с гребешком – так «навстречу, вскачь», с воплем летят лихачи-петухи. Именно – лихачи. В пикантном положении, на курице, петуха иначе как наездником и лихачем не назовешь. Не будь Ваня петухом, он не стал бы намеренно, после предупреждения («...мою попробуй, поцелуй...»), «опять нестись навстречу» сопернику. Если вам, дорогой читатель, приходилось гоняться за курицей, вспомните, как вы досадовали, приговаривая с упреком: «Все равно тебя добуду...». Положим, совпадение этого упрека с советом преследователей «Исусу» еще не дает повода водружать его на куриные ноги. Но в блоковской системе «вихрей» и это лыко идет в строку. В «столбы метели» ведь можно и вслушаться. А там

*И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.*

«Исус» грешен не чуть-чуть, а на «широкую ногу». Как только может быть грешна блудница.

Греховное падение «Исуса» можно вывести из лирической приверженности поэта к «литературному кровосмесительству». Сказавший «Никогда не приму Христа» непременно придал «грешному Христу» черты двусмысленности большего разрыва, чем половая неопределенность Христа-«художника».

Персонаж «На пиру богов» С. Булгакова к явлению «Исуса» советует «относиться ...с методическим недоверием, потому что... после крестного знамения или молитвы в нем» может «обнаружиться... петушья нога». А можно в явлении «Исуса» «обнаружить» ту же «петушью ногу» и кое-что еще в пристальном, методичном «вглядывании» без крестного знамения.

По толкованиям, поэму можно принимать за конгломерат настриженных под хронику картинок. Между тем, из вроде бы случайно брошенных в раму поэмы обрывков подслушанных разговоров и подсмотренных сцен, как в «Годунове», складывается художественное панно эпического звучания. В фактуре и колорите «Годунова» и «Двенадцати» нет ни единого кусочка смальты, вставленного поэтами в мозаичную россыпь ради вящей живописности. Мозаика обеих вещей держится на системе прямых, чаще ассоциа-

тивных повторов. Все скрытно связано. И в этом трагедия и поэма сближены. «Зашифрованность» не прячет смысл эпизода, детали, нить «скрытой» связи с контекстом, другую деталью открывает целостность поэмы. Вот лишь несколько примеров.

«Холодно, товарищи, холодно!» Фраза из второй главы, не будучи, если угодно, притянутой за волосы в контекст действия, пустоично исчерпывается метеосводкой «На всем белом свете»: а понесла вьюга энту саранчу, большевиков значит, на самый конец рождества Христова... В хронике Революции вовсе не проходное замечание о погоде привязано к времени, месту и характеристике революционного действия. Ремарка живописует «товарища» в «рваном пальтишке», от холода он скукожился, «ссутулился» – как «бедняга» из первой главы в попытке «в воротник упрятать нос», что тебе «буржуй на перекрестке» на «хлестком ветру и морозе». В летописной картине поэмы пленэрные детали прямо связаны с обстоятельно выписанным сюжетом о предмете выдающемся – мужских носках, весьма заметной части тела в «геометрическом» смысле: начертание этого важного органа – повешен он иль вскинут – это вопрос состояния его обладателя, внутренней взведенности носителя революционного запала. И было бы все просто, не будь носы «апостолов» поставлены по ветру. По совпадению «веселый» как раз «подолы крутит» зарядом настроения то ли коллективной плоти России, то ли какой-то векторной геометрии космоса. Не понятно, как родилось повальное поветрие («Ветер... Прохожих косит...»), есть факт – нижепоясная ориентация Ваньки и «ветра» совпадают. «Веселость» внутренняя и внешняя для Двенадцати неразличимы, можно сказать, кожный покров зачинателя светлого будущего как бы и не разделяет «революционное» состояние вне и внутри. Бюллетень о состоянии погоды и справка о творческой потенции революционеров взаимозаменяемы. Идиома « – Что, Петруха, нос повесил...» возникает в «весельи» (свадьбе) Кати и Двенадцати общим указателем «геометрической» нацеленности революции и протрохов Ваньки-встаньки в ней.

Блок-музыкант создал опус, лишенный, насколько это возможно в искусстве вербальном, описательности. Во всяком случае, прямо названное растворяется в музыке обозначенного. Ни одна нота, ни один пассаж в рондо поэмы не проваливается в целом, не существует фрагментарно – все связано истинно музыкальной гармонией. И слово «курища» не выпадает из драматического эпицентра поэмы, как не выпадает, скажем, деталь гардероба Кати.

Катка, сказано в той же хронике Революции, «Гетры серые носила». В житии Екатерины нижнее белье фетишизировано со смыслом. Ее гардероб, извольте видеть, связан с разными частя-

ми тела. В частности, гетры и чулки («-У ей керенки есть в чулке!») Катя одевала на «хорошие ножки», чулки – выше колен, гетры – ниже. И в поэме эта тонкость облачения или обнажения учтена. Видите ли, ноги Екатерины входят в космогоническую «геометрию любви». Частям тела Кати важно находиться на месте, точно вписываться в фундаментальную геометрию мира. Святая Русь доподлинно связана с Небом. Продажная девка, плоть от плоти России, включена в этот союз.

Блок в письме Белому: «Мне бы не хотелось, чтобы ты («все Вы») не пугался «Двенадцати» не потому, чтобы не было чего-нибудь «соблазнительного» (может быть, и есть)...». Приемы «соблазнительного» поэтом намеренно скрыты. Но прикрыты не по соображениям ложного приличия, а по велению «тайной свободы». И об этом далее. Сейчас автор этих строк торопится указать на удивительную выверенность шедевра Блока. Филигранная отделка текста заставляет даже усомниться в искренности поэта: написал-де, сам не ведая что. Между тем, в поэме нет необязательной живописности, вообще нет фона, все в ней, включая пернатую «Матушку-Заступницу», втянуто в центр события.

Вот еще несколько примеров драматургической «стрельбы» вроде бы случайно «развешанных» атрибутов фона.

«А вон и долгополый ... товарищ поп... бывало»,

*Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ...*

На «брюхе», как на земном шаре, «сиял», лучезарился «крест на народ», и вел тот «крест народ вперед». В «новом небе и новой земле» («старый мир провален») сам Христос «вперед, вперед» ведет «рабочий народ» с пылающим, «сияющим» символом нового мира. С попом и Христом, от креста за «крестом», органично сросшимся в душе народа со знаменем времени. Протопал «народ вперед» по сюжету поэмы от истоков, обозначенных у Блока словосочетанием «христианский социализм», до «светлого конца». «Без креста»? «Товарищ» Христос не снял вопрос «апостола» к «товарищу попу» (приведенные строки заканчиваются знаком вопроса).

*Вон барыня в каракуле
К другой подвернулась:
- Уж мы плакали, плакали...*

Есть от чего «плакать каракулю» – на всякого ягненка найдется «волк голодный». В нашей басне о революции бесчестье тенью идет за «группой товарищей». На тропе революции рыщет дикое зверье – идет свирепая, совершенно без правил охота. За Ивановым, Петровым, за всяким, кто не по волчьим воем, кто «за вьюгой невидим», будь он самим Господом, охота ведется в ажитации и экстазе «пожарного» градуса «крови», на упреждение «пробуждения врага» и больше – самой возможности его рождения. Ты виноват уж тем, говорят волки от большевизма, что ты родился. Пальба Двенадцати вызвана страхом недоверия всему и всем. В итоге – себе. История подтвердила пророческую мысль поэта: большевики самые большие враги прежде всего себе – они тотально подорвали себя.

В поэме нет, скажем еще раз, проходных деталей и черточек – все на первом плане в изумляющем взаимодействии. Калейдоскопическая россыпь слов, фраз, зарисовок кажущаяся, поэма – волшебным ограниченным бриллиант, все стороны которого видны без искажений одновременно. Изнутри и извне. Курица здесь снесла ее родившее яйцо.

В пятой главе, а ее можно назвать надгробной песней, Петруха задает Екатерине странный вопрос: «С солдатем теперь пошла?». Ему-то ведомо, с кем и «чем занята ...тра-та-та!» солдатская девка. Сам, «тра-та-та», полюбил ее. Офицерье, частью порезанное им, «утекло». Уж состоялось вместо Учредилки судьбоносное «собрание», на нем «обсудили-постановили», почем клиента брать. Декретированные проститутским съездом тарифы на пролетарскую дешевку – это ведь из новых порядков, Петьюкой поддерживаемых. С кем, как не с «солдатем», может теперь «пойти» Екатерина? Все дело в отнесении вопроса к определенному времени в судьбе любвеобильной. По смыслу он ставится после смерти мученицы.

Аллюзия пятой главы позволяет сравнить нашу героиню со Святой Екатериной и пролить свет на эпизод убийства Кати и сюжет поэмы. Тело той и другой перед смертью было «обложено многими ранами» на почве любви. Земной домогатель тела Святой, уступавшей ей, по ее мнению, в «благородстве, учености, богатстве, красоте», и потому отвергаемый, отсек мученице голову. В Житии есть интересная деталь: во сне Екатерины Богомладенец отказывается показывать Свой Лик и находит свою потенциальную невесту «безобразной, худородной, нищей, безумной» до тех пор, пока она из язычества не перешла в христианство. Пес, между прочим, на подходе к «Исусу» идет на поводке именно этой характеристики. Наконец главное совпадение в судьбах Екатерины – обе по смерти

пошли с «солдатъем». Святая «прельстила» христианством и повела за собой в Царство Небесное двести возглавлявших спасения и потому обезглавленных воинов отвергнутого царя. И в поэме олицетворяющая Святую Русь ведет безголовых Вань в «надвьюжные», небесные просторы. Но теперь ее «безобразный, безумный» облик может вызывать «глубокою ненависть».

В песне о любви, в той же пятой главе, обладатель тела «святой» ведет протокольный осмотр израненной («У тебя под грудью, Катя, / Та царапина свежа...») и как бы обезглавленной Екатерины («У тебя на шее, Катя, / Шрам не зажил от ножа...»). В этом анатомическом освидетельствовании присутствует казус («Али память не свежа?»), подтверждающий факт смерти из заключения шестой главы («Лежи ты, падаль, на снегу!»): «падаль» однозначно «не свежа» уже в пятой главе. Финальный вопрос пятой главы как бы ставится после усекновения головы Екатерины. В этом вопросе можно угадать вопль надгробного плача: ах, зачем, на кого ты нас покинула! Но Катенька детей своих не оставила. С момента смерти она и пошла «с солдатъем». А до этого она шла им «навстречу», запрокидывалась перед ними на плахе любви и смерти. Сцена убийства начинается со слов: «...Опять навстречу...». Но четвертую, пятую и шестую главы можно считать одним, не прерывавшимся свиданием с «солдатъем» – Ваней, Петей, Андреем, одним эпизодом любовного экстаза. В шестой она продолжает нестись «вскачь» по зову сердца «навстречу» закланию. Продолжает «лететь» любящая, по Гоголю, «быструю езду» Россия «навстречу» своей судьбе, «летит» принести себя в жертву. Святая Русь из любви к Ване, Пете, Андрею, Кате, во имя их жизни «впереди», принимает смерть. Как Спаситель пошел «навстречу» потаенному желанию иудиного племени обрести райскую жизнь. Так и Катя пошла «навстречу» иудам православия. В сцене заклания фразеологическое значение этого слова подчеркивается – в нем исключен знак направленности: нет смысла «навстречу нестись» к тому, кто может «сзаду забежать». (Что до петухов, то они всегда забегают «сзаду»).

Катя принесла себя в жертву на кресте. Между двумя разбойниками. Одного звали Андреем, другого – Петром. Со «свежей раной» в межреберья («под грудью»). В поэме обозначены точные координаты креста Голгофы.

«Геометрия любви»

Выписанные пургой «воронка» и «столбушка», являющие, если взглянуть, «Исуса», предваряет в десятой главе детская считалка перед игрой в жмурки

*Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой, вьюга, ой, вьюга!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!*

с явной подножкой в последней строке. О двойное «за» трудно не споткнуться. Странная строчка.

В Дневнике 1917 года Блок записывает: «... туман, фонарей не видно, за два шага не видно человека». Но привычные «два шага», что нибудь в том же размере: Ой, всего за два шага! в поэме не проходят по счету. Двух шагов мало. Хотя сила вьюги («Ох, пурга какая, Спасе!») позволяет обозначить ее предельно выразительным, сидящим на кончике пера привычным баллом видимости. Нужно сделать два раза по четыре роковых шага. Нужен счет шагов в смерть. Таков знак четверки. («Мое число четыре», - с младых ногтей установил «любивший» смерть Блок).

Детская считалка штука серьезная. Отсчет сделаем пока в одну сторону, назад, в большую светлоту. Попадаем в шестую главу. Куда, похоже, надо – здесь убита Катя. Стать, пожалуй, следует на кон, на середину, на линию пунктира в центральной строфе, на черту-границу, разделяющую главу на равные части, – больше, вроде, и некуда.

Трах-тарарах! Ты будешь знать,

Как с девочкой чужой гулять!..

Похоже, попали в самый разгар игры. Похоже, охотник, а может, хороший волк, справляется с плохим. Из-за «красной шапочки». Только что «девочка» (девственница) «гуляла» с каким-то волком, «запрокинулась», головной уборчик... Тут, никак, замешана наша Катенька. Но где она? Идем по строчкам вверх, чтобы стать за «четыре шага» до роковой черты. Но здесь ее нет. Уже

Вскрутился к небу снежный прах!..

Выходит, считалка не подвела. От «воронки» в десятой главе ушли, в шестой оказались у такой же. Там вихрь связывался со Спасом, здесь – с Екатериной. Вихри, понятно, идентичны: видится в них один и тот же «Исус Христос».

Продолжаем поиски Катьки. Возвращаемся на кон. Идем по строчкам вниз, чтобы стать «за четыре шага» от черты.

А Катька где? – Мертва, мертва!

И здесь ее нет. Не сказано: вот, мертва. «Мертва, мертва!» – давно мертва. Крест – линия с двумя перпендикулярными и равными по «шагам» отрезками оказался пуст. Фарс есть фарс. Тезка нашей героини попросила Небесного Жениха сделать ее тело после смерти невидимым. Вот и Катька отыскивается не сразу. Обнаруживается падалью. По смерти Святой ее голова и рука отыскались много времени спустя после казни. А наша Катя уже «спрятана» – похоронена. Из десятой главы в шестую мы вернулись после похорон Екатерины. На отпевании убиенная «чернобровушка» в «белом венчике из роз», в цвете чистоты, невинности и страдания казалась светлою дитятею, «упокой, Господи, душу рабы Твоея». «Рабы Твоея» – эти слова связаны со Святой Екатериной больше, чем с кем бы то ни было. Как только Спаситель избрал ее своей невестою, она, по Житию, сказала Ему: «...недостойна, преславный Владыко, видеть царствие Твое, но сподоби меня быть рабы Твоея». А нашу «рабу любви», «рабы Твоея», Спасе, похоронили на третий день (восьмая глава).

Заметим, в поисках схоронившейся «девочки» мы не задавались вопросом, что с ней, цела ли, а, по условиям игры, в пространстве восьми строк проявили конкретный интерес: «А Катька где?» На такой вопрос один ответ – жест вниз, в землю, и вверх, в небо. Одновременно. Душа «святой», сказали бы мы, у Бога, а «прах» – в земле. И у Блока осевое движение вверх и вниз не только равнозначно, оно еще и симметрично, так сказать, субстанционально. И верхняя, и нижняя, четвертые от кона строчки, как раз и говорят об этом. «Прах» Кати («падаль») пошел в землю и «вскрутился к небу». Остается предположить, что и вид «вскрутившегося к небу праха» имеет зеркальное подземное повторение, должен иметь «ноги» в виде обратной «воронки». Не случайно же автор разделил главу по телу строфы осью симметрии. Движение отряда по главам подтверждает догадку. Красногвардейцы входят в пространство, расширяющееся по высоте-глубине над и под землей: «этаж» и «погреб» (седьмая), перелет «воробушка» и кладбище с упырем, готовым «вышить кровушку» (восьмая), простор над «невской башней» и вход в подземное царство с «псом голодным», чербером, «псом холодным», не выпускающим прибывших в «новый мир» обратно – в классический «старый мир» (девятая, не случайно написанная классическим ямбом). Мы еще вернемся к картине расширяющегося, а в первой половине поэмы сходящегося пространства. Пока обратим внимание на перенос – синхронное и равнозначное отраже-

ние действия вверху и внизу. Осевая стыковка «снежно-праховой» и собственно праховой, перевернутой, «воронки» образует двойной конус.

Остановимся на обстоятельстве принципиальном. Прах и душа Кати, договорились мы, расходятся вверх и вниз внутри соосных «воронки». Подчеркнем, внутри. В шестой главе сказано: «Вскрутился к небу снежный прах!» Это значит, снег «вскрутился» «воронкой» и поднялся «к небу» «столбушкой». Как об этом сказано в десятой главе:

*Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...*

Строчки этой главы детализируют, вербально раскладывают процесс «вскручивания» снега в шестой главе. И в самом деле, «воронка» завивает, закручивает снег, а поднимается он по «столбушке», «вскручиваясь» внутри «воронки». И в поэме «столбушки» неотделимы от «воронки» иксообразного конуса, они расходятся по одной вертикали на всю высоту этого конуса. Другими словами, X и I как проекции двух зеркально симметричных вихрей выписываются в совмещении, а не последовательно, как считают Л. и Вс. Вильчек. I находится внутри X. В символической поэме такой вензель «Исуса Христа» – деталь принципиального значения. (Вселенная, считается, покоится на кое-какой геометрии. Упрощенно говоря, она как бы расширяется внутри конуса. В двадцатые годы наука подтвердила догадку Блока). Геометрический мотив в поэме – момент фундаментальный: Двенадцать «столбушатся» в геокосмических масштабах. Войдя в «воронку» нашей Екатерины. Первые христиане скрывали имя Христа в совмещенных I и X.

**«Связь пола с Богом – большая,
чем связь ума с Богом,
чем даже связь совести с Богом»**

По тексту поэмы «столбушка» входит в «воронку» «Исуса» в точке пересечения линий креста. Совмещая копулятивную «точку» Кати с центром креста, поэт не проявил святотатственную вольность. Животворящий крест «столбушится» витальной силой Иисуса. Откроем Евангелие на сюжете насыщения хлебами.

В первом случае пятью хлебами и двумя рыбами Христос насытил пять тысяч человек. Обратим внимание на нумерологический ряд: пять- два- пять, две пятерки, одна двойка, две величины

(пятерки) и одна величина (двойка). Отбросив цифровые значения величин (пятерки и двойку), получим остов ряда – два и один. Оставим в стороне ехидные догадки о смысле и необходимости сбора недоеденных кусков хлеба. Не станем гадать, почему Господь не подал персонально каждому столько, сколько нужно для полного насыщения без хлопот по сбору остатков и последующей раздаче этих кусков. Под водительством Бога ничто не случайно – хлеб надо было собрать и набрать ровно двенадцать полных коробов, и подчеркнуть состав этого числа: единицу и двойку. Двенадцать – это и сумма двух пятерок и двойки, и знаковый состав ряда.

Чудо Господа определенным образом акцентируется и подтверждается вторым насыщением. Теперь хлебов было семь. «И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч». Получаем тот же ряд: семь, семь, четыре, т. е. два и один. Вот, скажут, досужий и занудный умишко выстраивает какие-то ряды. Да ведь сам Христос подчеркнул структурный состав этих рядов в восьмой главе от Марка. Ученики сегуют, что взяли всего один хлеб. Иисус говорит им: «Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не помните? Когда Я пять хлебов переломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Ему говорят: двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: семь? И сказал им: как же не разумеете?». Уличая апостолов в «закваске фарисейской», Христос не ограничился, как видим, простым напоминанием насыщения тьмы и тьмы народа в обоих случаях до смешного малым количеством хлебов. Нет, Он выстроил, повторил конструкцию рядов, сопутствующих чуду Его избыточной производительной силы: пять, пять, двенадцать, т. е. два и один, семь, семь, четыре, т. е. два и один. «Как же не разуместь» здесь знак трехконечного, Т-образного креста, древнего символа продуктивной силы природы – фаллического символа, составляемого двумя ядрами и одним корпусом. На таком кресте и был распят Христос. И Христос сам связывает свою отцовскую способность творить множество с языческими «штучками». Евангелие буквально наполнено духом комбинаций «два и один». К двум апостолам, чаще всего братьям, добавляется третий, к двум повторенным репликам добавляется третья, обязательно в измененном виде. Вот характерный пример из финального эпизода Евангелия от Иоанна.

«Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? *Петр* говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя! Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.

Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты меня? *Петр* говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. *Иисус* говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? *Петр* опечалился, что в третий раз спросил его: «любишь ли Меня?», и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. *Иисус* говорит ему: паси овец Моих...»

Три вопроса, три ответа и три напутствия, как и связанное с ними трехкратное отступничество *Петра*, подаются в комбинации «два и один». И совершенно замечательный штрих: имена собеседников два раза в двух первых стихах набираются курсивом, а в последнем не подчеркиваются. Смысл вариации раскрывается в его наложении на всю мизансцену эпизода. К двум лицам диалога добавляется третья – автор рассказа, «ученик, которого любил *Иисус*». Он идет за помеченными крестом – за распятым, но живым Христом, и живым, но в будущем, по пророчеству, отмеченным *Иоанном*, распятым *Петром*. Разговор выходит за рамки намека на духовную связь основателей учения и церкви. Речь идет об отпущаемом свыше веке жизни. У тебя, говорит *Иисус* *Петру* (вроде бы только что родившемуся – только что пребывавшему в голом виде в «родовых», крестительных под сенью Христа водах), до времени, когда «простришь руки твои и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь», свой отрезок жизни, а у *Иоанна* («...если Я хочу, чтобы он пребыл, пока я прииду...») своя мера отпущенной Мною жизненной потенции. Моя способность «пребывать», говорит *Иоанн* читателю, зависит от «ядровой» силы Христа. Сам *Иисус* включил в подтекст разговора с *Петром* трехконечный символ Своей животворящей силы.

В контексте сказанного становится понятной внутренняя связь комбинации «два и один» – троицы Христа, *Петра*, *Иоанна* – в эпизоде опознания предателя. В тринадцатой главе от *Иоанна* читаем: «Один же из учеников Его, которого любил *Иисус*, возлежал у груди *Иисуса*, ему *Симон Петр* сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит». Достаточно «сделать знак», немой жест одному, и другому станет ясно, о чем идет речь, – настолько любимый Христом близок *Петру*. А речь опять же о рождении и смерти: только что Христос «снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался». Как «препоясался» «голый», «родившийся» с воскресшим Христом *Петр*. Речь идет о единении верха и низа, материи и духа, силою Господа. И силу эту можно обозначить символом «два и один»: тайна любви верха и низа, «раба и господина», ситуативное взаимодействие любящего Господина и двух рабов любви накладывается на знак фаллоса.

Иисус, «преклонил главу, предал дух». Дело сделано, решились иудеи, и «дабы не оставить тел на кресте в субботу», «просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их». У двух, слева и справа от Христа, голени перебили, а у «преклонившего главу» – нет. Воистину верное решение – Бог все равно восстанет, в полнокровии поднимет «главу».

От языческой символики «дерева жизни» или, лучше не скажешь, «дерева познания добра и зла» Святое Писание, как видим, не отрещивается. Ну а если в центре креста находится Христово «что надо», то у Блока есть все основания ориентировать Екатерину на кресте позиционно «как надо». Так ли важно это уточнение? Принципиально важно. Архисущественно. Действие «Двенадцати» совершается в человеческом уподоблении рая, внутри «Иисуса» – в одной плоти Кати и Двенадцати. Творящие «это» созидают себя, по мысли автора поэмы, совместно с Творцом. В чувствительных сферах пола и духа серп фрейдовской редукции совершенно неуместен. Верх и низ в браке Неба и земли можно обозначить, например, линией горизонта, разделить – никогда. В либидо с выплеснутым Духом вопрос о ребенке не встает. Пожалуй, поэму можно начать читать по порядку.

Пространство любви и свободы

Найденный Блоком образ, символ, как правило, повторялся в другом произведении. «Воронки» и «столбушки» в этом смысле не исключение. Известное перечисление: «Ночь, улица, фонарь, аптека» выстраивает воронку способом сбегания все уменьшающихся частей пространства. Стык сбежавшегося, затем расширившегося мира четко обозначен в стихотворении, написанном еще в 1915 году.

*Страшный мир! Он для сердца тесен!
В нем твоих поцелуев бред,
Темный морок цыганских песен,
Торопливый полет комет!*

Конструирование «воронкообразных», связанных точкой перехода, пространств переключало в «Двенадцать» и, видимо, не только в поэму. В ноябре 1919 года Чуковский сделал в «Дневнике» запись: «Блок читал сценарий своей египетской пьесы... В объяснение говорил непонятное: у меня там выведен царь, который растет вот так, – и он начертил руками такую фигуру V; а потом цари стали расти так: ^...»

Поэма состоит из начертаний «воронки» и «столбушек», они – пространственная размерность действия, такая геометрическая метрология сюжетного движения.

Вся первая глава представляет картину наполненного ветром «мирового водоворота, засасывающего в свою воронку ... человека». Уже в первой строфе, рисующей гигантскую чашу видимого «божеского света», подхваченный ветром «На ногах не стоит человек» – «скошенный», «скользит», «завивается» ветром. Упавший, скользящий «столбушится», т. е. вытягивается в «воронку», притом с разбросанными ногами. «Всякий ходок скользит» на разведенных ногах, у павшего на скользоте ноги тоже разбрасываются. Как у неожиданно растянувшейся барыни.

Третья и четвертая строфы первой главы вычерчивают нижнюю часть охватываемой взором чаши. Верхний раствор «воронки» измеряется «канатом от здания к зданию». Пониже он равен длине перелета курицы. Есть и точка схода «воронки» – перекресток с буржуем. В следующих строфах изображение стоящего в центре перекрестка укрупняется. Можно в деталях рассмотреть «столбушку» в самом низу «воронки». Это некто с повешенным носом («В воротник упрятал нос»), «длинноволосый», говорящий «вполголоса», «брюхатый». Длинные волосы этого облаченного в «длинные полы» субъекта задают направление осмотра – с головы до пят. Но как только в вертикальном панорамировании этой «столбушки» мы спускаемся ниже «брюха», ниже пояса, перед ней, «столбушкой» – «бац» – «растянулась» барыня. Падение – следствие предательства ног. В падении, замечено, они разбрасываются. Особенно у женского пола. Ах, раздвинутые женские ноги – это нечто противоположное небесной «воронке», это врата, можно сказать, в самую что ни есть «черную черноту» греха, в самом расширительном смысле. Это начало мира «нижнего». Нам же важно отметить, что у состыкованного из горней и дольней «воронки» Х есть «точка» перехода и нижнюю часть икса можно назвать зоной первородного греха. Публика тут собралась библейская: «пророк», поп, буржуй, барыня, а прежде всего «Матушка-Заступница». Простая старушка при виде «большого плаката», куса пропавшей материи, могла бы сокрушаться, упрекать власть в бесхозяйственности. А наша «матушка» «убивается – плачет», видится ей в «плакате» и «красном флаге» один пропитанный кровью единоутробной России «лоскут» – предмет «игры» ветра («Это – ветер с красным флагом / Разыгрался впереди...»), охоту «веселого» и свободного «рвать, мять и носить» «плащаницу». Не слепая она, видит на ней слова разные, да ведает: «очистительная кровь» Кати заочно смывает грязные на-

чертания жизни. Ах, всякое дитя, а хоть бы и с именем Революция, рождается апофеозом чистоты.

И не надо, дорогой читатель, в комбинации «воронок» и «столбушек» видеть нечто исключительно сексологическое. Понятие секса скорей всего следует связывать с объектом и субъектом вожделения независимо от дистанционности пары. В поэме нет партнеров – нет полярно заряженного либидо. Есть – родящее целое, неразделенное – одна плоть в совокуплении с Другим. Сексуальное восприятие персоналистично. В отношениях Кати и Двенадцати «другое» – свое, изначально присвоенное, не подлежащее полной индивидуализации. И в самом деле, половинки России разве что самособлазняются. И обнажают трагическое начало жизни.

Поэму ни в каком смысле нельзя назвать brutальной. Живописуя реализм души, поэт не отворачивает лица от низкого, самого зверски-животного, доведенного до извращения. Но высокое и низкое соприсутствуют в глубине охвата духа мира. Да, «Исус Христос» идет на курино-собачьих лапах. Но это не значит, что светлое замарано темным. Падшая ниже некуда Россия православия несет Дух. И отнюдь не в пародийном смысле. Фарс и вся система снижения в поэме – всего лишь мера полюсного отстояния материального от идеального, бесконечного разрыва соединенного, разрыва спасительного. К этому идет наш разговор.

Вольно иному читателю поэмы сказать: во, у Блока революция пошла на «столбушку», а заодно и накрылась «воронкой». Сказать нечто внелитературное не по площадности вкуса, а по конечности мысли. С этой мыслью поэма не связана. Она несравненно глубже. Она просто прекрасна. Авторское Боговидение подвигает переступить грязную лужу жизни, увидеть в ее воде глубину отраженного неба. И увидеть в «грязи» строительный материал жизни. Вернемся в первую главу. К новой «воронке» вечно революционной России, к пролетарскому «входу» в новый мир. Проститутский, простите, «веселый ветер» новых идей и веяний «рвет... Большой плакат» на том же расстоянии «от здания к зданию». Ниже раструб конуса задан пространством слышимости негромко, «вполголоса» сказанного. Вести со съезда товарок Кати, ересь вития громко не произносятся. На сходе сторон «воронки» теперь «бродяга сутулится» – от холода, пытается «в воротник упрятать нос». И дальше вниз, к опрокинутой «воронке» спускаемся по знакомым ступенькам: губы («поцелуемся»), брюхо («Хлеба!») и ... «рай», что «впереди». У старосветской «воронки» дело кончилось плачем «каракуля», у пролетарской – Петруха «кипит» революционной злобой, как гигант, вобравший в себя всю силу «рабочего народа», гордо «вскидывает головку», кажется, до самого неба.

Поп от него — «сторонкой», «вития» заговорил «вполголоса».
Начало второй главы

*Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.*

*Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...*

сразу же выписывает V. Верхний срез этой «воронки» примерно такой же, как и в двух предыдущих, задается пределами видимости «гуляющего», порхающего снега, шириной питерской улицы. Вторая строчка суживает срез конуса, ограничивает его группой красногвардейцев. Спускаемся еще ниже — видим шаг части идущих. Чтобы у читателя непременно возникло ощущение сужающегося по мере снижения пространства, автор повторяет обратное движение взгляда, скажем, объектива съемочной камеры. В обратной панораме взгляд поднимается сначала до плеч Двенадцати («Винтовок черные ремни...»), затем раздвигается до «огней» улицы. Отряд, видимо, остановился на перекур («в зубах цыгарка»), можем рассмотреть «столбушку» — избранника Катерины, козырного «туза» Революции. Потенциальному каторжанину Петрухе («На спину б надо бубновый туз!») век свободы не видать, да Россия дарит его правом заряжать ее просторы полной «свободой». «Вглядеться» — воздух России озонирован вибрацией свободы, «слышится» («сильный шум,- признавался поэт,- внутри и кругом») «Тра-та-та!». Вслушаться, «вглядеться» в «погоду» России — увидишь разлитую в ней «взведенность»: на голове носителя свободы «примят картуз», «в зубах — цыгарка», на спине на уровне лопаток надо бы его пометить клеймом убийцы, есть у него живот («Ванька с Катькой — в кабаке...»), еще ниже... — он у ног Кати («— У ей керенки есть в чулке!») «столбушится» («тра-та-та») в обратном направлении: Ванька «теперь богат» — дороден, брюхат, он теперь «солдат!» с ружьем, парень с гонором — говорит теперь «во весь голос» («Мою, попробуй, поцелуй!»). «Внутри и кругом» признаки полной «свободы, свободы». Россия заряжена — беременна свободой революции «Эх, эх, без креста!». Но и с крестом! А с чего бы еще вибрировать («Тра-та-та!») атмосфере России — ее трясет, «рвет и носит» между крестом и не-крестом. В этом убеждает финал второй главы.

*Кругом — огни, огни, огни...
Оплечь — ружейные ремни...*

*Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!*

*Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь...*

Едва от света «огней» в верхней «воронке» вертикаль «столбушки» опустилась до опоры под ногами, едва коснулась низа мира, как вздернулась «винтовка» православного на нехристь, на «неугомонного врага» всего светлого, «врага» Святой Руси – ее грязи, «кондовости, избяности», крепкой «толстозадости», всего, что таится в Святой «Эх, эх, без креста!». О, в основе революционной борьбы в России заключена война священная. В такой войне «бестолковый» всенепременно взмолится: «Господи, благослови!». И «благословение» на отстрел греха получит!

И в третьей главе вертикаль снижения сменяет вертикаль взмывания в горние пределы.

Эту главу можно считать предисловием поэмы. Рассказ в ней ведется от времен, «Как пошли наши ребята / В красной гвардии служить». Такие отряды были сформированы еще при Временном правительстве. По данным С. Стратановского («Звезда», №11, 1991), в «десятку» отряда входило тринадцать бойцов. В поэме, выходит, действует полная «десятка»: «апостолов» «Третьего Рима» ведет «Исус Христос». И глав в поэме набирается тринадцать.

Вторая, третья и четвертая главы связаны блоковской темой «детей в железном веке».

Давно замечено, всякий сын склонен считать себя предметом чистой любви, плодом встречи Неба и Земли. Да, Небо оплодотворило Землю, но не пало до уровня земли, не осквернилось в Любви: мы, всем своим существом лепечут дети, апофеоз любви, вера в нашу чистоту вошла в нас до молока матери. О, не приведи Боже, дитяти с такой установкой зародить мысль о подмене отчества. Нет, решительно и тотчас заявляет всякий сын, мой отец не может обладать повадками «пса», готового осеменить любую «суку». Земля для Неба – это как-то вообще, а гуляющая «сука» – это грязь конкретная. Мой отец, заявляет сын, мог выбрать только непорочное лоно. Словом, детям невмочь находить себя результатом случайной «случки». Всякий сын ревниво охраняет в себе зародыш высокого задума отца и матери, как бы даже еще не воплощенный проект специально назначенного, подаренного миру человека. Ева, например, о своем первенце, Каине, так и сказала: «...приобрела я человека от Господа». Каин, возможно, эти слова понял по-своему.

Прежде, нежели сочетались мамаша с папашей, подумал он, Господь покрыл непорочное лоно мамаша Духом Святым, и стал я сыном Бога. После такого самовнушения вольно или невольно исходящее от какого-нибудь Авеля сомнение в его, «подарке от Господа», единородстве дают право носителю Духа предать осквернителя Духа ... смерти. Мораль: ноги сыновства опираются на земную твердь, но и на кое-какую мораль, идею духовной привязанности к Небу. «Возопившая» к Богу кровь Авеля, тоже Божьего сына, не была принята землей. В точь, как у Святой Екатерины. Есть, выходит, в сыновей крови зов Бога. Странно, в игре крови по синдрому Каина заключено противостояние зову самой плоти. Брат «восстал» на брата. Каин хотел быть убитым. Кровь «взбунтовалась» внутри себя с надрывом, заслуживающим внимания психиатрии: Каин «сорвался» на основе ощущения недостаточного «призрения» его персоны Господом.

В Революции россиян «апостол» Святой Руси Ванька бросил «апостолю» Святой же Руси ошеломляющий вызов:

*- Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою, попробуй, поцелуй!*

Кого – «мою»? Девку Катьку? Какая она «моя», если всякому своя «на время, на ночь» за буржуйские керенки. Нет, Ванька имеет в виду Екатерину Ивановну, свою мать. Естественно, Ванька не позволит «безродному, нищему, шелудивому псу» «поцеловать», можно сказать, невесту Неба. За грязные намеки и безумные поползновения Ванька отвернет этому псу голову. И вцепился с бешенством дикого пса в глотку обидчика, вопит: «Ты будешь знать...». Толкутся «сукины дети» у ног продажной «суки» – отстаивают ее и свою «честь».

Кровь самого первобытного человека, Каина, и дитяти «железного века» («железного» по культурной нормативности жизни) «восстает» на почве сыновнего сомнения в Отческом благоволении, в прочности связующих с Небом нитей. «Протест» вызван ауторепрессией на до-культурном уровне – Каин и Ванюшка возражают персональному чувству ненормы бытия, не уравновешенному пульсу крови, переживанию, что судьба не пометила их с достаточной основательностью именем Еммануил – «с нами Бог». И демонстрируют чада Бога свой «бунт» в самой дикой форме – антропофагии, братоубийстве, скотоложстве... После этих детских «проказ» возникает необходимость в нотации: скверные проявления, милые дети, вы извлекаете из сферы хаоса, давайте, неразумные, организуем закон, космос общественной жизни, культуру общежития

(мысль дневниковой записи Блока). Прежде всего – религию с нормами братского соучастия. Почувствуйте, милые дети, Бога внутри себя. Невроз отступит.

Моисей диагностирует у Каина комплекс неполноценности на отсеченной фрейдизмом основе. Смертельная «обида» у слабого духом первого на планете человеческого сына возникла на ровном месте, без угнетения, вызываемого, по Фрейдю, табу. «Человек от Господа» не нашел себя наградой Господа. «Табу» от Создателя в неврозе Каина предвещает ремиссию. Недостаточно призренный Богом принял норматив от Бога. Дух пресек готовность Каина принять смерть. И первородок разобрался в проекциях духа и плоти, обрел культуру слышания внутреннего пульса жизни. И остался жить. И заповедал религии (на латинском – «соединяю») примирять в крови потомков зверя с Духом. Первый невротик вошел со своим недугом в храм Отца с этой целью.

История религии, убеждает анамнез Каина, равна истории самой дремучей, самой чистой, возникшей на почве любовных отношений с Богом болезни души человека. «Железный век» не внес в эту историю никаких корректив.

В четвертой главе тема «детей в железном веке» переключается с задумом эпилога «Возмездия»: «...мать... баюкает и кормит грудью сына, и сын растет, начинает повторять по складам вслед за матерью: «И я пойду навстречу солдатам... и брошусь на их штыки... и за тебя, моя свобода, взойду на черный эшафот». И пошли дети Екатерины, «пошли наши ребята» (не молодцы, удальцы, храбрецы – «ребята»), как только научились ходить, пошли «буяннить» («буйну голову сложить») в «рваном пальтишке», «пошли» в детскую болезнь с высоким градусом «жара крови». Облаченный в «шинелишку» Иванушка-дурачок со своей придурочной сестрой Катенькой («Катьку-дуру... Заговаривает») идут в Революцию детьми, играючись. Вот затеяли беготню с «электрическим фонариком» (детское выговаривание) и «оглобелками... Ах, ах, пади!». Как бы не ушиблись!

Удивительно тонким намеком мотив жертвенного агнца присутствует в поэме Хлебникова «Настоящее». В описание русского бунта поэт вплетает отнюдь не бессмысленный рефрен:

*В воду бросила!
Тай-тай-таратай!
В воду бросила!
Тай-тай-таратай.
В воду бросила!*

Счастливая мать, причитая, щекочет дитя. Нет ничего слаще этой восхитительной щекочки, но захлебы смеха ребенка уж очень смахивают на пароксизмы удушья – еще одно нежнейшее прикосновение материнской руки, и драгоценное чадо будет брошено в стихию, «таратай», смерти, в воду, в среду, «тай-тай», родившую это чудо. Троекратное «бросание», погружение в воду – крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа.

Матушка моя, селянка из Богом забытого края, так некогда «бросала в воду» меня. «Тай-тай-таратай» не произносила. «В воду бросать» прекращала на предчувствии удушья отпрыска в океане счастья.

В поэмах Блока и Хлебникова, заметим, свободный, счастливый детский шаг в Революцию, в царство свободы открывает в этой свободе присутствие смерти.

В четвертой главе размеры низа «воронки» («снег крутит...») еще меньше. Время, как увидим, к полуночи, огни в домах погашены – путь освещает «электрический фонарик», видимость – не дальше оглобли. В центре «воронки» («пади, пади») «столбушится» то же солдате: на дурацкой физиономии Ваньки красуются «черные усы», он «речист», чуть ниже по вертикали – он «плечист», еще ниже – «Катю-дуру обнимает». На этот раз вертикаль поднимается вдоль Кати – в Святой Руси органично присутствует ее мужское, «апостольское» начало. В обратной панораме следящий за «геометрией любви» объектив «съемочной камеры» останавливается на «жемчужных зубках» и лице толстушки («толстозадой»). Катя «запрокинулась лицом» на плахе любви, предлагая любимым «апостолам» задать вопрос: «Не я ли, «Исусе»? На этой «тайной вечере» Святая Русь телом и кровью своей причащает детей своих. Подает себя Святая Русь и Петру-Иуде: вот он наносит ей ножевую рану в шею, замечает знакомую «царашину под грудью», еще ниже – любитесь ножками... И блуд есть блуд – теперь движение съемочной камеры пойдет вверх, затем вниз. От «ножек» Петя поднимется на уровень сердца, оно как раз «екнуло в груди», головы («Али память не свежа?»), а потом вновь окажется у ног Кати («Гетры серые носила...»).

А далее вертикаль «столбушки» упирается в земную твердь. Простушка Катя крайне грубо обходилась с Миньоном, ей бы французским шоколадом деликатно лакомиться, а она «миленький» «жрала». Огрубленное потребление деликатеса вызывает столь же грубую ассоциацию результата поедания – Катя падает ниже уровня подола длинной юбки из замененной в этой строфе строчки («Тротуары юбкою мела»), она падает в гной, падаль, прах. Она – уже «падаль». Еще живая. «Пуля», пущенная из недр

апостольской Руси в ее «толстозадость», еще не попала в цель, не отсекала Святой голову. Но Русь уже лежит на «снегу», готовая расплыться в «облако» Революции, стать духом, «мнением», мечтой России о «новом небе и новой земле», Катя «лежит на снегу» – на границе низа и верха, Земли и Неба.

Шестая глава начинается с отточия. В речи было умолчание, пропуск, но теперь разговор продолжится. «...Опять навстречу несется вскачь...». «Скач», начатый Иваном в четвертой главе, продолжается. Любимый ученик «Исуса», по нашему Иван, «скач» не прекращал. В заклятии России участвуют все, ставшие под знамена «Исуса». Пойдя за «Исусом» Двенадцать «утекли» от России, предали, погубили ее. Обезглавили. «Кто-то» в шестой главе стреляют не в «кого-то». Андрей, Петр в себя палят. Как «стрельнул» в Себя Христос. Он сам Себя «предал». «Никто не забирает у Меня жизнь,- сказал Иисус,- Я Сам ее отдаю». И убийство Кати не случайно – самоубийство «Исуса» – момент судьбы России, утопление в спасительной крови грязной, грешной жизни. Россия сама приносит себя в жертву.

Номинально у России есть свой новозаветный Иуда – в доску Кате «свой» Петр. Православный Иуда «Третьего Рима» склонен заманиваться с еще большей безотчетностью, чем его евангельский прототип. Гнусный поступок канонического, можно сказать, мотивирован. Желание заработать тридцать монет создают хотя бы видимость повода к предательству. Русский Иуда абсолютно непрактичен, в поступках импульсивен. Он может зарезать не за пюнюшку табаку, «за так», по случаю, «из-за удали бедовой в огневых очах». По душевной склонности к блуду. Нутро у него такое.

*Эх, эх, поблуди!
Сердце екнуло в груди!*

*Эх, эх, согреси!
Будет легче для души!*

Не получит Петька повода опростать душу, коли не согрешит. И не получит покаяния без акта эксгибиционизма души. Ему непременно нужно «вывернуться наизнанку», распахнуть душу. Само покаянное движение непременно необходимо эстетизировать, превратить в балаганное действие. Сладострастие ковыряния в собственных болячках возрастает на миру, на глазах «товарищей родных». «Родным» эта песня знакома.

*– Ишь, стервец, забел шарманку,
Что ты, Петька, баба, чтоль?
– Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!*

Петька – натура истинно русская, карамазовская. Женский мужчина или мужская женщина. Плоть от плоти и дух от духа – родная наша Катенька. Или неотделимый от нее Петр. Его революционная «искра» возгорелась в Кате – она позвала его в Революцию соблазнительным поцелуем. Катя, можно сказать, родила Петра – выпустила в царство свободы. В шестой главе развернулась стычка со стрельбой. Но это всего лишь укус скорпиона в собственную голову. С виду это охота. «Стычка» ловца и набежавшего на него «зверя» с переменной мест. Агнец оказался перед охотником и желает быть «задранным». «Волк голодный» нам знаком. Это он задрал ягненка в первой главе. Сказанные там слова «сочувствия» («Ай, ай! Тяни, подымай!») скорей всего связаны с процедурой свежевания носителя «каракуля». Очевидна лексическая общность эпизодов: подвернулась, бац – растянулась, подымай, сзади забегай, наутек, ужо постой. И здесь «волк голодный» «задирает» «агнца». Делает он это в предельном возбуждении «охотничей» страсти, в озверении оргазма – «столбушка» оплодотворила «сердце» «воронки», «пуля» сразила Екатерину.

«Геометрия любви» выписана поэтом по строгим правилам черчения. Интересны детали фигуры. В пятой главе ноги Екатерины разведены по числу «апостолов» – ровно на двенадцать строк. Таков раствор «воронки» перед роковым «выстрелом» Петрухи.

Сердце Кати «екнуло» слева от оси симметрии главы – слева с точки зрения Петрухи: «петушок» действительно «сзади забежал». И наложился на крест под Катей. Вниз головой. Не случайно первая половина шестой главы насыщена глаголами движения, вторая, по контрасту, почти лишена динамики. Голова Кати находится ниже перекладины креста.

Мой Христос, сказал по воспоминаниям поэт, компилятивен. (Христа Достоевского Блок, наверное, соединил с «охлаживающим, замораживающим» Христом Розанова). То же автор поэмы, думается, сказал бы и о Петре. По крайней мере, Петруха такой в аллюзиях.

Апостол Петр был распят вниз головой.

Святой Петр Александрийский, дабы упредить бунт, темной ночью бежал из темницы и убедил сторонников обезглавить его. В седьмой главе Петруха вышагивает, можно сказать, без головы.

*Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...*

На апостоле Петре, в некотором смысле, тоже «не было лица». По легенде, слезы сокрушения об отступничестве избородили его лицо глубокими морщинами. Под таким потоком слез – определенно «не видать совсем лица».

День памяти Святой Екатерины приходится на 24 ноября. По совпадению в пятой главе 24 строчки. Святой от роду было восемнадцать лет. Видимо, столько же было и убиенной девке Катке с «бедовой удалью в огневых очах». И России от начала века пошел восемнадцатый год. По совпадению эпизод убийства Кати занимает ровно восемнадцать строк. В Святцах день Святого Петра приходится на 25 ноября. В седьмой главе, а ее, как увидим, можно назвать днем Петрухи, 42 строчки – в зеркальном повороте, в наложении на день Екатерины, получаем 24. Катю и Петю соединила ночь в миг кончины одного и рождения другого дня. И этот момент в поэме обыгрывается. Петька в покаянии признается:

*Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил...*

Отделенность дней Екатерины и Петра условна, полночь между ними – что-то вроде пунктира, разделяющего шестую главу.

Момент «хмельного» календарного соединения дней Екатерины и Петра далее в поэме не прекращается – половинки «Исуса» останутся «на этом пути» до конца. И в седьмой главе холодный «объектив» фиксирует колебательное движение по «столбушке». Читатель может в этом легко убедиться. Зафиксируем лишь финальный подскок:

*И Петруха замедляет
Торопливые шаги...*

*Он головку вскидывает,
Он опять повеселел...*

От ноги поднялись к голове. Ломать голову в догадках, какие мысли диктует «весело» «вскинутая головка», нет нужды. Конечно, веселые, частушечные:

*Эх, эх!
Позабавиться не грех!*

Пусть «Эх, эх, без креста», но в «свободе» на полную катушку – Петр вошел в расширяющуюся, нижнюю часть X.

В структуре поэмы «клубничка» прорастает на «геометрии» мистики.

«Головку вскидывает», самостоятельно держит младенец Петенька, ухватившись, по плану «Возмездия», малой ручонкой за колесо истории.

Катя умирает в Пете. Катя рождает Петю. Так 24 ноября переходит в следующий день. Так повествует седьмая глава. Петенька рождается недоноском – мальчонка «уторопил шаги» прихода мир, при родах перевернулся – пошел из материнского лона буквально вперед ногами. Уже при появлении на свет Божий печать проклятья пометила младенца. Родитель повесился («Замотал платок на шею – / Не оправится никак...»), и у новорожденного обвилась пуповина вокруг шеи. Но Катя, «баба» крепкая, «вывернула» свою женскую «душу наизнанку», от «бремени» разрешилась благополучно. «Нянчиться» с ребенком не пришлось. Он как «вскинул головку», так и ухватился за то самое «колесо». И открыла Россия свои донные, «подвальные» и падальные «погреба», и потекла оттуда нечисть на «этажи» жизни. Низ и верх уравнились. Пространственно верх и низ остались относительными, по качеству наполнения, материей жизни – стали симметричны.

Один из критиков отметил неожиданную тонкость Петра, проявленную им при оплакивании Кати. Быдлацкого Петра, было замечено, едва ли может сводить с ума «пунцовая родинка возле правого плеча» Кати. Верно, мурло с «отвислой губой» вряд ли заметит и «бедовую удаль» в глазах Кати. Но самый последний мужлан, глядя на своего отпрыска, задается вопросом: не подменили? на кого похож? Самый тупой отец заглянет ребенку в глаза, обрадуется, найдя у него родную родинку.

По обертонам лексики седьмая глава возвещает о рождении гегемона истории, его программная песнь изложена в восьмой главе, в день похорон Кати. В этот день Петруха сдержал свое слово, «полоснул, полоснул ножичком» Иванушку и, как обещал, «выпил кровушку» Ванюшки. Назначенная им расправа с возлюбленным Екатерины была, на аргумент преступников, замечана после полуночи дня Кати, т. е. в день Петра. Если «чернобровушка» была похоронена по обычаю на третий день, вместе с ней, выходит, ушла из жизни «черноусая» половина многообещающей России.

«Завтра (В.Б.)... они кончат антропофагией», – пророчествовал Инквизитор, земной наместник Христа в одеждах социализации.

«Ужо, постой, – подхватил завет Петруха, тезка основателя христианской церкви, – Расправлюсь **завтра** (В.Б.) я с тобой!» «Апостольская» Россия сама обескровила, «съела» себя. Пала «барыня», с нею пало в России барское сословие. С нарастающим гулом Революции пала в шестой главе вся Россия. Чем выше взматывается красный флаг большевиков, тем ощутимее действие атмосферической силы большевизма. В девятой главе кровавое знамя «В очи бьется» уже «Над невской башней». Если взглянуть с небес на остолбеневшего на перекрестке буржуя, планетка наша будет «стоять за ним», т. е. под ним. Впереди – холод, в нем мертвые ищут мертвых.

*Впереди – сугроб холодный,
– Кто в сугробе – выходи!..*

«Впереди» «новое небо» при «новой земле». В холоде космоса. «Старый мир», планета Земля, под водительством «Исуса» лишились теплоты жизни.

Всмотримся в зеркальную симметрию X десятой и одиннадцатой глав. В десятой снег по «столбушке» «вскрутился» в пространство Спаса, в глубину неба. Так расширилась амплитуда «шагов» Двенадцати. По уже привычной схеме спустимся вниз по «столбушке». С высот Спаса снижаемся до «иконостаса», головы («Рассуди, подумай здраво...»), рук («Али руки не в крови...»), спускаемся ниже пояса («Из-за Катькиной любви...»), упираемся в точку «пути» («Шаг держи революционный!»).

В дольней «воронке» «апостолы» уже «идут без имени святого» – это уже адово пространство, низ мира. Здесь «Ко всему готовы, / Ничего не жаль...» – здесь все готовы к самым тяжким испытаниям, ибо никого не жаль, всем возмездие по прегрешениям прежней жизни. Петьку с товарищами спасение обошло, их не «упас золотой иконостас», компания оказалась там, где иным земля якобы пухом («сугробы пуховые»), отсюда не уйдешь своими ногами («Не утянешь сапога...»). Нижняя «воронка» расширяется: от того же шага («...И идут без имени святого»), сделанного после отточия, поднимаемся все к тем же «винтовочкам» тех же бойцов, выходим в пространство переулочка, растворяемся в пурге.

Мы как-то уверовали, что обитателей ада тамошние «власти» терзают все больше на раскаленной сковороде и в кипящей смоле. Между тем, можно наказывать и свирепой пургой из просторов коммунистического «рая»:

*И вьюга пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...*

Приличная получается пытка. После нее – «глядит в глаза пустые / И провожает – ночь». Но такая же пурга свирепствует и в горней «воронке».

Катя и Двенадцать стали признаком коммунизма – его призраком, превратились в веяние мировой Революции. Вошли в среду, переставшую быть для них внешней. В теле «Исуса Христа» геокосмос перестал быть для них средой внеположной – чем гуще тьма и сильней буйство стихии, тем неистовой слепая свирепость революционеров. Снег и ветер в поэме не могут считаться средством, чем-то вроде типографского шрифта или бумаги для выписывания инициалов I и X – эманация и знак Христа совпадают. «... если взглядеться в столбы метели *на этом пути*» Кати и Двенадцати, «то увидишь «Исуса Христа» – увидишь дыхание Бога над Россией, Дух, несомый снегопрахом Кати и Двенадцати. Имея очи, увидишь метафизическое «облако», связующее Бога и Его российское «подобие». Увидишь Россию, ступившую в царство свободы Революции. И не найдешь в пространстве Христа живых людей. Увидишь смерть.

Поэму можно считать прочитанной. От детской считалки в десятой главе осталось сделать помеченных поэтом четыре шага в смерть финала. Но сможем ли мы после такого прочтения, ответить на все поставленные поэмой вопросы? Едва ли. В чем смысл аннигиляции человеческого в «Исусе Христе»? Мы не можем ответить на вопрос, безусловно относящийся к содержанию поэмы: почему поэт с болезненным сладострастием снизил человеческое в любимой Жене, России, до уровня мерзко животного, «безобразно» извращенного? В чем угадывается голос «тайной свободы»? Почему финал наполняется «безмолвованием»? Наконец, главный и прямой вопрос: что в поэме делает Бог? Пастернак, приходится признать, прав. Без прорыва в мистическую систему Блока мы не сможем заглянуть в глубину гениальной поэмы. Попробуем войти в поэму с ключом психоанализа.

Вернемся к центральному и единственному событию поэмы – жертвоприношению России.

«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода»

По возвращении из десятой в шестой главе Катя отыскивается сразу – на линии пунктира меж десятой и девятой строчками главы.

*Но ужасней средний храм –
Меж десяткой и девяткой,
С черной выспренной загадкой,
С воскуреньями богам.*

Отыскивается в «храме» меж тьмой и светом «воскурений», на границе жизни и смерти.

На двустрочной строфике шестой главы заметней и цепочка движения и остановка на «шаге». Пунктир проходит по корпусу строфы, разделяет без видимой необходимости законченную фразу, нечто целое. Рассекает тело Кати. Ведь к словам «знать» и «гулять» в рифму не подберешь лучшего, более уместного в данном случае, чем сочное русское... Словом, речь идет о Кате. Но рифма заставляет вспомнить и первую «соблазнительницу», первую потенциальную небесную невесту Творца – нашу прародительницу, «чужую девочку» Адама, плоть от плоти его, девственную Еву. В самом деле, после того, как Петруха коварно «сзаду забежал» и сделал «пулей» (по Фрейду) «трах», «половинки» (меж десятой и девятой строчками их две) познали (от «знать») добро и зло и вышли в пространство свободы – пошли «гулять» по белу свету. В гневной угрозе Петрухи («Ты будешь знать...») угадывается пени Господа диссидентам рая.

Православные, подсказывает поэт, повторили трагический шаг Евы и Адама. Что бы это значило?

Говорить о грехопадении, не видя в Адаме и Еве воплощенной свободы, бессмысленно. Все сходится на этом. И, по крайней мере, все, с кем заговаривал о трагедии человеческого духа, от докторов богословия, разного сана священников, семинаристов до массы разной образованности верующих, все сводят понятие свободы к праву и возможности выбора. Такая трактовка свободы представляется неправомерной.

Ни искушение змия, ни Божье «да» (благословение «плодиться и размножаться»), ни Божье «нет» (запрет познать «добро и зло») для свободных не может стать полем выбора, поводом для волеизъявления – свобода не требует и не предлагает что-либо выбирать. Прежде всего даже себя! Это она сама, по своей прихоти, посещает избранных. Она всегда – свыше, Божий дар (и для атеи-

стов). Свобода избавляет избранника от выбора – она открывает ему себя.

Господь сотворил «образ и подобие» Свое в пространстве Свободы. Внутри Себя. И Адам-Ева пребывали как Его «образ и подобие» в общей с Ним Свободе. Перволюди были включены в Нее, как саранча во влекущий ее ветер. Человеков, впрочем, в данном случае можно уподобить саранче с существенной оговоркой, проистекающей не из различия души кузнечика и человека, а из внутренней потребности в свободном полете. У саранчи, поди, этой внутренней потребности нет, ей нужна чистая, без метафизики, физика, ей только бы буквально перелететь. Во внутренней потребности души «полететь» – пространство свободы присваивается, становится полной собственностью души. Свобода посещает, охватывает своих избранников по этой внутренней потребности. Таинственно. Без уведомления. И не по зову. Обладающим даром знать Ее остается обнаруживать Ее в себе. Истинно свободный от выбора вне и внутри себя избавлен, освобожден. Ибо избран Свободой.

Итак, если **свобода есть состояние жизнетворчества, а волевое движение в нем рождается как внутренняя потребность**, то абсолютно свободные Адам и Ева не связаны в грехопадении ни с каким выбором. Души счастливых обитателей рая не занимала борьба между коварным искусителем и могущественным блосителем «цивильного кодекса» рая. Все гораздо проще: Адам и Ева доверились, самозабвенно отдались Свободе. И неизмеримо трагичнее: в ощущении Свободы тварь «уподобила» себя Господу и вывела себя за ворота рая вечности, появилась в этом мире. Родилась. Это был шаг в Свободе вместе с Промыслителем. Увлекаемые задувшим с небес «ветром» Революции Екатерина и Двенадцать абсолютно свободны. «Атмосферический» напор сверху полностью соответствует порыву революционной страсти «рабочего народа» снизу. Внутренний революционный запал Двенадцати освобождает их от подчинения мистическому велению небесного «ветра»: они сами гонят себя «вперед, вперед». В то же время нависшее над Россией «черное облако» Революции объективирует, легализует субъективное побуждение «апостолов» и придает ему статус правомерности. Революция зовет и подвигает. Вне и внутри. Веление Свободы вне и внутри уравнивает и нерасторжимы, как Божеское и человеческое в Ее, Свободы, избраннике.

Свои лики свобода открывает в шаге воли мгновенно и неожиданно, без предварения и послесловия. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: А от дерева познания добра и зла, не ешь от

него: ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал слепой прорицатель Эдипу: «Тебя родит и сгубит этот день». Абсолютно свободным Адаму и Эдипу дано открыть истину жизнетворчества, кажется единственную, не подлежащую искажению, совмещающую в жизненном марафоне стартовый выстрел и финишную отмашку: родившись – умрешь. Возраст Адама, Евы, Эдипа может быть любым.

Попробуем войти в текст Бытия с позиций автора «Двенадцати».

Сотворенных в первой главе Бытия «зверей земных по роду их», во второй «Господь Бог образовал из земли ... и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их». Божье желание «видеть» эту процедуру может показаться странным. Ведь Он все видит. Однако в случае «называния» «помощника, соответственного» Адаму Всевидящий участвует как партнер действия очеловечивания, установления «соответствия» меньшего брата старшему. В этой процедуре Господь присутствует, чтобы, скажем, увериться, что «подобный» «как один из Нас» («один» из Нас двоих) может творить – устанавливать «соответствие» Господом уже «сказанного» в сотворенном животном угаданному, «названному» в этом «помощнике» «подобием Бога». Не «названное», по представлениям шумеров, не существует. «Назвать», «дать имя» – значит явить, дать право возникнуть задуманному Богом. «Поименовать» в данном случае – значит заглянуть в тайну свободного проявления воли Господа в сотворении «звериного». Возможность угадывания, попадания в цель («грех» с греческого – непопадание в цель) обеспечивается пребыванием Божьего «подобия» в пространстве Свободы. Всяк свободно творящий невольно создает ситуацию сличения им «названного» с уже «сказанным» Свободой. В свободном творческом акте всякого Адама Господь воистину «видит, как человек называет» «это». Господь в свободном творчестве со-Автор. Все гении творят с Ним. Не я, говорят, написал, создал нечто.

У существа «хитрее всех зверей полевых», заметил Адам, завораживающий, гипнотизирующий взгляд, способность «ходить» без ног, «на чреве своем», формой своей он умудряется вползти под «плевру» сознания – в символику подсознательного. Эта тварь может раздваиваться – исхитряется «выйти» из собственной оболочки и увидеть «себя» со стороны. Сворачивается в кольцо – фигуру конечную и бесконечную, символ космической гармонии жизни. Но как ни загадочен «зверь», Адам все же раскусил его – изваял его образ. «Назвал соответственного». И безотчетно, перехитрив самого себя, «назвал» себя – отделился от «соответственного ему». Обрел божественную способность «называть», вооружился языком, ин-

струментом привязки и отделения от среды обитания. С оных времен художники «хитрят» (Дедал – «хитроумный художник»), проникая в тайны связи человек с миром инструментом этой тайны.

В проклятии змея Творец «награждает» его чертами, «названными», найденными в авторском взгляде Адама. После «гнусного искушения» Господь не обогатил «хитрого» дополнительными «негативными» способностями, не видоизменил, оставил с той же волшебной возможностью обходиться без ног – в противном случае в сон Евы вошел бы другой образ, другая тварь. С другой стороны, мы не можем предполагать, что Господь, создавая столь совершенный вид животного, специально «покалечил» его, чтобы оно вписалось в эпизод грехопадения. Это Адам «изуродовал» «соответственного ему». Со-автор Творца «назвал соответственного» и «назвался» – обнажил творческую связь с Небом и земную привязанность к зверю. Человек библейский есть нерасторжимый союз твари из «праха» и Бога. И потому мера всех вещей в этом мире. «Наказание» змея и человека – картина жизни, рожденная Свободой. Условия существования человек, назначенные Господним «проклятьем», заготовлены, «названы» Им в дни творения и после грехопадения не изменялись. «Проклятьем» – мир, увиденный людьми «открытыми глазами».

Предсказание судьбы Эдипа не превращает рассказ о нем в плоский сюжет о роке. Напротив, предначертание его поступков открывает в мифе глубину истинной трагедии, говорит о власти сидящих в Эдипе обеих сторон свободы – сознательной, светоносной, и темной, «тайной» – подсознательной. «Хитроумный» Эдип историей своей жизни высветил хитроумие свободы. Она открыла в нем творчески продуктивное единство раба и господина, материала и ваятеля одновременно. Это его роднит с Адамом-Евой, Двенадцатью. И Блоком, поэтом и человеком.

Змей в эпизоде грехопадения выполняет чисто символическую роль, он – знак гнездившегося в Адаме искушения. С ним то и «подполз» «соблазненный» к дремлющей Еве. «Змей», как это водится с оных времен, «заговорил» в Еве прежде, чем она успела «проснуться». Истинную мифологию питают стереотипы жизни. Отношения между мужчиной и женщиной могли родиться в результате свободной игры естественных, Создателем «названных» начал человеческой природы. Игры с драматическими последствиями, взаимной, ничего общего с видами на грехопадение по формуле шолоховского героя «сучка не всочет, кобель не вскочит» не имеющей.

Ева, как и Катя, «позвала» мужчину, но в «одной плоти» «соблазна» – одной идеи и мечты.

«... путь, истина и жизнь»

Да, Творец заповедал потенциально бессмертным не вкушать плодов дерева жизни посреди рая, а до сотворения «из праха земного» «мужчину и женщину... благословил... и сказал... плодитесь, размножайтесь» «в образе Нашем... подобии Нашем». Очевидно, «плодитесь», живите в «подобии» Творца, в Его творческом пространстве. И по завету от шестого дня творения: «Я дал вам в пищу всякое дерево»: «дал» с даром свободного присвоения, потребления мира. В полном соответствии с благословением творящие бытие включили себя в жизнетворчество по Его алгоритму. А в сотворении человеков Господь следовал методу, отработанному в предыдущие дни созидания. Сначала проявлялась воля Предвечного, вырабатывалась идеальная проекция части творимого мира. И человек на этапе провиденции – тоже сначала замысливаемый проект. Согласно Полному церковно-славянскому словарю 1900 года, «адам» происходит от слова «дам» (подобие) или «дама» (быть подобным, мыслить). Это еще не материальное, а некое духовное, эфирное образование, ибо дальше в тексте будет сказано: «...и не было человека для возделывания земли» («возделывания», заметим, «в поте лица»). Затем по закону творчества, обязательному, оказывается, и для Всевышнего, модель подвергалась аналитической и эмоциональной оценке («И увидел Бог, что это хорошо»). Предназначение человека тоже прошло через творческий Совет Главного Художника. Лишь после этого Он приступил к ваянию из праха. «И создал Господь Бог человека из праха земного...» И Божьи чада далее творят себя в качестве «возделывателей и хранителей» «дерева жизни» вместе с Ним как Его соавторы, руководствуясь одной, совместно с Ним порождаемой жаждой жизнетворчества. Давши человекам «образ и подобие» Свое, Господь наградил их способностью действовать «подобно» Ему, реализовать себя по «образцу» Его деяния. Человеки в Боге – форма и идея, в себе рождающая волю быть свободной. Перволюди впущены Творцом в сферу самосозидания, в которой Он – Точка, Начало этого творческого процесса и, скажем сразу, конечный пункт самопознания. «Помощник», призванный «возделывать и хранить» сад Эдемский, «садовничает» в союзе с Господом. Все «исхитряется» видеть Его очами. Едва увидев «помощника, подобного ему», Адам «назвал» его, как назвал «змея»: «...вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа». (Начало стиха напоминает фразу Создателя). Наведенный «на человека крепкий сон» не помешал ему участвовать в операции извлечения и превращения собственного ребра.

От плоти, что по словам Блока «не мужчина, не женщина», т. е. и то и другое, от «подобия» такого единства Богу напрашивается перенесение мужского и женского начала на самого Господа, попытка увидеть в Нем женскую, рождающую (Отец) и мужскую, творящую (Сын) ипостаси. Тогда становится понятной синонимичность пары Бог-Любовь. Тогда Любовь можно назвать действием «плоти» внутри «образа и подобия» Бога, вместе с Ним.

«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно...» – и сказала Ева, оценивая вынашиваемый в лоне Отца проект воплощения человека, «это хорошо» – «дерево хорошо». Жизнестроительство по идеальной модели, по образу «дерева жизни» в Провидении и внутреннем видении детей Отца совместились. Объект творения Бога, Его «подобие», стало и субъектом созидания, персоной свободного со-творчества по «возделыванию и хранению» «центра рая». Божье и человеческое неуловимо соединилось: Божья Свобода вошла во внутреннюю потребность сына свободно явить себя. Тайна сотворения человеческой плоти, соединения духа и материи включает в себя и мистирию сыновнего со-участия в акте Создателя.

Райское «дерево жизни», показалось Еве («жизнь»), может питаться соками ее «плоти» – «подобная» Отцу совместила «дерево» с собой в намерении вечно «хранить» и возделывать, возвращать его.

«Дерево жизни», показалось Адаму, «растет» из него – «подобный» Сыну может «возделывать» «центр рая».

(Глагол «показалось» представляется здесь уместным: «плоть» в Свободе творит и Свободой творима, ей может нечто мниться, она действует и «спит». От века и поныне).

И мать всех живущих в samozабвенном желании сохранить, оберечь Идею жизни в девственных «ложеснах вечного зачатия» сомнамбулой (во сне вещей уговоров «змея» и гипнозе проводимой Богом плеврогенерации) пошла «навстречу» «ослепившему» Адама (в том же гипнозе реброрезекции) порыву сохранить, спасти «ядра мира» в нутре первозданного рая, в утробе Аввы.

В самооплодотворении единая плоть уподобила себя Отцу и Сыну: в свободной Еве родилось волевое движение Адама.

Будь Господь единоличным Автором сына, чадо могло бы зароптать, упрекнуть Отца в произволе – принудительном воплощении, изначальном ущемлении персональной свободы. Абсолютная свобода сына освобождает Абсолютного от подозрений в склонности проводить этические эксперименты. Скажем, возлюбить чадо с заранее обдуманым намерением, скажем, с предложением спасения.

Выпав из родовой рубашки-пазухи Господа, Адам открытыми глазами к «стыду» (без рефлексии нет трагедии) сына, возмнившего себя Сыном, оказывается повенчанным на неуловимом, мерцающем слиянии Божественного наваждения (идеальных вождений) с производной от ребра «своего» по прозвищу жизнь (имя своей половине он даст после грехопадения). Бесконечно Божественный порыв оказался, увы, конечным. Трагичным – от Бога отрываемым. И потому греховным – смертным.

Адам и Ева «пали» на шаге из мира идеального, небесного в мир материальный, на стыке Божественного и прахового.

Как Петя и Катя, как «Иисус», «не мужчина, не женщина», – мужчина и женщина в одной плоти. В обоих случаях вдохновение грехопадения «одна плоть» черпала в Боге, в Отце и Сыне. И в обоих случаях идеальное «дерево жизни», символ рая, в открывшейся истине оказывается «деревом познания добра и зла» – жизнью плоти в этом мире.

Итак, человеки отпали от Бога. И что ж, «пламенный меч» Господа, охраняющий рай, прервал связующую Его с «образом и подобием» пуповину Духа?

Протопоп Аввакум сподобился подслушать беседу Предвечного с Сыном о плане сотворения мира с перспективой для Сына стать человеком и умереть. Да будет так, Отче! – завершает разговор Сын. В беседе Отца и Сына, по версии Аввакума, Адаму приписываются гордые и спасительные слова: раю вне меня, не от меня предпочитают единственную драгоценную собственность – рай в душе моей!

А еще на том обсуждении жизни покинувших Бога чело- веков выяснилось: они сами, самостоятельно пойдут к Слову, рожденному вместе с Человеком. Пойдут к Моменту и Точке явления всего Слова. Оно – весь Завет. Сказавши, Господь сразу сказал Все. Навсегда. Человекам остается раскрыть, артикулировать Единое, совершенное Предвечным в сингулярной Точке пространства в сингулярный Момент времени. Рискну назвать это соединение пространства и времени Вечностью.

Эти вольные мысли подсказаны автором «Двенадцати».

«...и Слово было у Бога»

«Искуситель» заговорил с Евой, точнее сказать, внутри Евы, завел беседу по праву «своего человека», хотя очеловечивал «змея» бесхитростный Адам, пока «помощник, подобный ему», еще был улыбкой чеширского кота (в данном случае, непременно черного), из адамова ребра еще не извлекался, когда Ева «видела» «зверя» из

своего до-сознания. Явленная только духовно, Ева еще пребывала в темном, еще не полном в сравнении с адамовым, сознании, была в «образе» чисто женского, скажем, «короткого ума». В актуализированного Адама Сын уже воплотился, Ева все еще оставалась в Отце, пребывала в вдовстве (отсюда она наследует свои склонности) предсознания. Ну а поскольку Ева Адаму есть его «плоть» и в сфере разума, то в нем, в отличие от его собственного сознания, с вершинами которого он ясными глазами смотрит на внеположную «скотину», до-сознание соприсутствующей в нем «женщины» с его независимой от обладателя способностью улавливать тайный смысл происходящего и является для него подсознанием. В свою очередь, светоносное разумение Адама входит (войдет в воплощенную Еву) в общее сознание «женщины» как собственно ее сознание. У одной плоти один разум. «Хитрый» пытается угнездиться на границе «половинок» разума одной плоти – в сфере творчества.

Вообще-то, мозг Евы следует признать патерным. Наука обнаруживает в женской головке лингвоцентр в каждом полушарии. Мужской мозг явно вторичен, он наследует только один центр речи. В доме одного разума, в Еве, «сын» занимал часть жилплощади разума. А проще говоря, свет сознания в «подобии» Отца и Сына погружен в темень подсознания. Умнеть нам и развиваться до беспредела.

Адаму Господь сказал открыто: вкусишь познание – умрешь. Еву персонально не предупредил. Наказ Бога она получила в узах «одной плоти» от Адама. Это и выясняется на специально устроенной «разборке». Предупреди Всевышний Еву, Он не стал бы начинать с вопроса Адаму, а спросил бы о понятии «плода» сразу у обоих грешников. Вопрос Еве – обращение к неразумному ребенку: «что ты это сделала?», понимаешь ли, что ты натворила? Все в этой сцене становится на свои места, если в ответе Евы услышать чистую отповедь невинности: «...змей обольстил меня, и я ела», вполне не ведая, чем это кончится. И «неразумной» Еве и «разумному» Адаму Господь не сказал все. «Все» открывает индивидуальное творческое прозрение. А творчество, даже сниженное до элементарной поведенческой функции, ну никак не может обходиться без игры сознания и подсознания.

Пребывающему в ясном сознании Адаму Господь не сказал, что в Нем человеки «не умрут», поведал только то, что связано с тленом праха.

Дремлющая Ева из глубин тварности – от «змея» услышала упокоительное «не умрете», услышала весть, долженствующую прийти из уст Бога. Аспид сказал истинно.

Дух сказал перстному Адаму: «умрешь».

Перстное сказало духу Евы: «не умрете».

«Разборка» как раз и подчеркивает встречность этих, так сказать, потоков информации. В расследовании каждое напоминание о запрете (знай – «умрешь») вкусить познание накладывается на встречное побуждение познать (под эгидой неведомого – «не умрете») вкус таинственного плода. Встреча знания-незнания в пространстве свободы родила прозрение свободы, открыла лик ее.

*И сказал змей жене: нет, не умрете;
Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите ...
откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло.*

«И сказал змей...» и растворился в человеках, и там, в глубине своей «открытыми глазами» («откроются глаза ваши») они прозрели весть от Бога о своем бессмертии в Нем. И чада Господа наяву, «как боги («Адам стал как один из Нас» – как Сын), знающие добро и зло», осознали «зло» – смерть и «добро» – бессмертие.

Зажженный Создателем в человеках свет сознания не удержал их в Отце – Его перстное творение в Сыне свободно пошло вперед, в смерть – покинуло Отца.

В темноте подсознания, в «незнании», Адам и Ева остались в Отце – в тайниках их душ Он посеял тайну бессмертия.

Встреча сознания и подсознания создала в первочеловеках ощущение рефлексивного самоприсутствия – в этот момент они самообнажились, в самосознании увидели свою наготу в метафизическом смысле. Почувствовали подвластность тьме подсознания.

Самосознание явило им лик свободы сразу во всех ее проявлениях. «Коварный» лик «змея» был явлен, скажем вопреки поэту, не прежде («И если лик свободы явлен, / То прежде явлен лик змеи...»), а в самом образе свободы, внутри ее. В сладости открывшейся свободы они одновременно вкусили и смертельную горечь яда. В полной картине свободы добро (бессмертие) неотделимо от зла (смерть) так же, как уникальное совершенство змея от его «позорного уродства». Вообще, Божественной Свободе нет дела до противоборства так называемых начал мира, в Ней они всего лишь след ее существования, форма проявления, что-то вроде воздушного поцелуя. Свобода не выбирает – Она является. Имеющим глаза и уши – «тайно» и в полном объеме. В русской Революции олицетворилась вот «Исусом Христом», качеством от Идеально Чистого до гнузно грязного – Христом и зверем.

В союзе «одной плоти» Адам несет свет знания, Ева – тьму подсознания. Как же поделили они арсенал общей утробы разуме-

ния, породив друг друга? Должно быть, так же, как общий запас гормонов: прихотливо, как Бог на душу положит. Понятно, всякая Ева прихватывает в личное пользование какое-то количество тестостерона. Иной природное чувство меры изменяет, тогда ее привлекательность в лучшем случае уснащается усиками. Можно предполагать, стандартные мужчина и женщина сохраняют доминанту сознания, существовавшую в прародительском альянсе до атомного распада разноразряженных. Наверно, поэтому всякий Адам усиливается на сознательные поиски дива, а Ева ограничивается подсознательным ожиданием чуда.

По данным научных исследований, способность пространственно-временной ориентации у «блудного сына» развита лучше, чем у терпеливо ожидающей его. Сына подстегивает желание как можно скорее отыскать «родившую». Вот почему он загадочно припадает к ногам Евы-Аввы. В намерении навечно поселиться в первородном лоне он торопится увериться (психологи говорят, в этот момент он не врет) в единственности и идеальности избранного «пути». Его аполлоническая светимость достигает такой яркости, что ослепляет его, как застила глаза Нарциссу... Кажется, он начинает спать. Точно, задумчивый, засыпает. Ему всегда хотелось пребывать в дородовых грезах. Он совмещает себя с «посланным вперед», с тем, кому, кажется, дал жизнь. Впрочем, он еще и печалится. Учуял смерть: «посланный Отцом» умрет.

И женская «слабость» трагически обнажается там, где она природно сильна, – в способности всякой Евы (по данным тех же исследований способность словесно-речевое восприятия у женщин развита лучше, чем у мужчин) ушами «видеть» заблудшего по его искренней мольбе дать приют в «родительском доме»...Какой же я была дурой, послушала «хитрую» скотину, проходимца, сокрушенно говорит она после потери очередного «сына» – не надо было «просыпаться»! И вновь с неизбывно терпеливой надеждой ждет избранника (ущербного, хромого и грязного кузнеца Гефеста, если она Афродита), готовая под сердцем «донашивать» его. Как заповедал ей Авва. (Среди женщин верующих больше, чем среди мужчин.)

Нас интересует структурное соотношение мужского и женского интеллекта, определяющее природную талантливость индивида, скорее всего с дисбалансом гормонов напрямую не связанную. Замечено, гормональный дисбаланс «мужчины и женщины» в одной коме крайне, крайне редко помечен печатью таланта. Ну разве что в женских видах спорта. Зато замечено, интеллектуальный баланс мужского и женского в таланте чаще всего сопровождается сексуальными отклонениями. Талант, конечно же, не обязательно

связан с сексуальной патологией, но в среде гомо- и бисексуалов талантов больше, чем в том же числе людей с нормальными склонностями. В то же время, навалом вдохновения, чистым процессом торможения и возбуждения центров головного мозга не объяснить проявление таланта, способность, как замечено, скакать на хворостине по линии встречи света и тьмы. Пожалуй, вернее связывать сексуальную аномальность, лабильность и, вообще, тотальную необязательность персоны с Божьим даром, с ее деструктивным (в сравнении с зауядной личностью) соотношением мужского и женского начал сознания. В тревожной неопределенности утра «мужчина и женщина» в «одной плоти» таланта растерянно пытаются «расщепиться» («расщепить» душу): в ушедшей тьме ночи опять не удалось разглядеть тайну, а победительно наступающий свет дня снова ослепит, заслонит ее. Человек с талантом – лишний, не от мира сего. Как Иисус. Толпа не без оснований видит в Нем сумасшедшего. И наш «Иисус» – «не мужчина, не женщина», т. е. и то, и другое, но не по физиологии и анатомии, а по взаимодействию сознания и подсознания «художника», творящего «что надо» по велению Свободы.

Тьму подсознания мы связали с Отцом, свет сознания – с Сыном. Подтверждение этой модели можно найти в Библии. Начнем со слов Христа: «Я свет миру». По Писанию, это и метафора, и прямое уподобление. И кроме того,

*И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош;
и отделил Бог свет от тьмы.*

Очевидно, чтобы «стал свет», ему необходимо появиться в абсолютной тьме. В противном случае можно сказать «стало светлее», но никак не скажешь «и стал свет». И вот по воле Всевышнего явилась Ему красота света. Не сам свет – Господь высек только идею, «образ и подобие» творящего Света, само собой, внутри Себя – в самой Тьме. А вот после удовлетворения от внутреннего созерцания Света, после выказанного Светом намерения просветить Тьму, оплодотворить Ее косную неподвижность, Творец сказал: «это хорошо» («и увидел... что он хорош») и разорвал чреватую Светом Тьму (мысль дневниковой записи Блока), заставил Ее выпустить, родить Сына из недр своих – дал Сыну возможность «стать» – «отделил свет от тьмы».

Так Ева «увидела... что он (Адам) хорош» как проект, что в нем есть искра, светлый образ, способный разгадать и сделать явью ее сон. И она «соблазнила» свою половину – пошла «навстречу» ее

творческой готовности возгореть в «одной плоти». Ева спровоцировала мужчину, но Адам при этом «звериным» своим чутьем уловил запах женщины в собственном кровотоке: в нем вспыхнула идея проникнуть в дионисическую загадку бессмертия, овладеть ею. Соблазнение Адама – скрытое воспламенение Господом вложенного в Еву аполлонического «ребра» мужчины. (В шумерском языке «ребро» еще и значило «животворить», «давать жизнь»). Самая глубокая трагедия начинается в Любви.

«И назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Но это не значит, что свет поглотил, отринул тьму в пространстве лучезарного дня. Свет – штука относительная, видимая, скажем, из затаенной тьмы палочек и колбочек сетчатки глаза. Он сам себя не «видит» – его «зрит» тьма: в полдень свет открывается ей больше, утром и вечером – меньше. Свет вне тьмы не существует, но светить во тьме и быть этому свету в пространстве свечения отделяемым от окружающей тьмы можно при одном условии: тьма, пронизанная светом какой угодно яркости, не исчезает в материи (энергии) света. По волновой своей природе свет всецело принадлежит тьме – он в ней льется, по корпускулярной, материальной – отделяем. Поскольку каждая точка пространства инвариантна, самостоительна, свет можно считать недвижимым, а тьму набегающей «навстречу» ему. Так или иначе, свет – и поныне неизбежная потенция тьмы, она все еще заманивает, «соблазняет» рождением в ней световых лучей и неизменно оставляет поток света перед «стеной» тьмы. Перед ним нет жизни – впереди она вероятна, позади – родившись, начала умирать. Свет, можно сказать, не движется, стоит, топчется на месте, замещает одно мгновение своего рождения другим... И не может остановить это мгновение, каким бы прекрасным оно не казалось. В недвижимом для Тьмы Времени Свет живет на встрече с Ней – в сумерках.

В свете сказанного жизнь Света во Тьме можно уподобить существованию ипостаси Сына в ипостаси Отца ипостасью Духа Любви, ипостаси Сознания в ипостаси Подсознания ипостасью Духа Творчества, ипостаси Деяния (творящей силы Света) в ипостаси не-Деяния (потенциально рождающей Тьмы) ипостасью Духа Провидения (Слова). Напрашивается олицетворение Тьмы, не-Деяния, Подсознания в Отце, а Света, Деяния, Сознания в Сыне.

Эта комплексная модель Троицы позволяет заглянуть в душу язычника Эдипа и на этом основании – в «тайное» намерение «Исуса».

**«Вся тайна в том, что сбудется то, чего хочу я...
Но ведь что бы не случилось, это будет то, чего хочу я!»**

сказано Блоком. Тотальную власть этой установки первым продемонстрировал Эдип. Первым – после Адама.

Самоослепление Эдипа не исчерпывает жажду покаяния. К темноте «вечера» своей жизни он изначально шел, как слепец, «на трех ногах» – «зрячий» опирался на посох знания, продвигаясь к ослепляющему прозрению. Загадочный крылатый (летающий, а значит, угадывающий будущее) лев (царь зверей) с женской головой и грудью (питаемый женским ведовством) перехитрил царя Фив – сфинкс позволил Эдипу принять свет своего сознания за достаточно надежную опору здания собственной судьбы. В загадке Сфинкса Эдип не уловил скрытую апорию: видимый «пешеход» в промежутке дня меняет число «ног», а «внутренний человек» вообще их не имеет. Загадку Сфинкса он отгадал вполновину. «Хитрое животное» позволило «проницательному» уму не увидеть в простом вопросе ловушку врага, загадку еще и сугубо персональную. История жизни Эдипа, по сути, уточняет некорректно, неполно поставленный Сфинксом вопрос о тайне управления собственной судьбой – о возможности и способности осмысленного «движения» в ней. Софокл дал полный ответ на вопрос Шекспира: «Кто управляет собственной судьбой?»

Загадка Сфинкса – внутренняя тайна Эдипа, вопрос изнутри, проблема опознания сознанием власти подсознания. Эдип – сам себе Сфинкс, сидящее в нем «хитрое» чудовище поглотило его заживо – тайно сидящий в нем антропофаг убийством отца и матери разорвал его на вожделенные «зверю» куски.

Свет разума оказался нужным разве что для доказательства его неотделимости от Тьмы бессознательного; движение вперед по лучу Аполлона было кажущимся, ибо не вывело Эдипа из недвижной Тьмы, оставило с истиной, сидящей в нем от рождения: видимая, осязаемая жизнь утопает в жажде вечного бытия в дородовой Тьме. Во всех движениях, совершаемых Эдипом, как говорится, в трезвом уме и здравой памяти, присутствует скрытое и столь же сильное веление его тайной свободы не идти вперед, не узнать, не иметь родителей – не родиться, чтобы не сделать день своего рождения днем смерти. Эдип словно слышит шепот Отца Адаму: не родись – человеком умрешь, оставайся во Мне, дабы сатанинское превращение не породило блуда, обиды и вековечной скорби о потере вечности. В «подсказке» неиндивидуализированного – от Бога – подсознания отец Эдипа уловил скрытую от него сторону родительского отношения к сыну: в роковую ночь зачатия он нарек ему имя – покалечил «ноги» своего семени, дабы любимое чадо

осталось потенцией зачатия. И семя Эдипа наследует гены самоотрицания – он воспроизводит ущербное потомство Лаия, плодит братьев и сестер. В инцесте выражается глубинная драма зачатия, самопротивление ему, наиболее полно обнажаемое в мифологии покушения сына на отца. Чаще всего сын поражает «сепаративную» родителю часть – отцовские гениталии как сферу собственного обитания. В акте отсечения отцовского семени сын пресекает самую возможность возгорания в недрах отца.

Светоносный разумом Эдип идет «вперед» – «хранить и возделывать» цветущую землю праотцов, подсознательно он устремляется вспять, подвергает себя остракизму, изгоняет из семивратных (райских) Фив. Каждый шаг «вперед» приводит Эдипа к откату назад. Жизнь Эдипа перипетийна. Экстравертный посыл гасит интравертное удержание. Зов отца побеждает, становится внутренней потребностью Эдипа – тайной жаждой остаться в лоне отчего «дома».

В финале трагедии свет, пролитый в полной мере на родовую тайну Эдипа, охватывается Тьмой, погружается в изначальное «знание Времени» (по тексту: «Но время все знало...»). Биография Эдипа, оказывается, была включена в свободную картину Времени – свет сознания, выходит, и не покидал Тьму Подсознания – Эдип «назвал» названное безначальным Временем. В Свободном Доме Отца заранее было заготовлено место «результату» свободных деяний Эдипа. Индивидуальная история жизни вошла в Историю всех «сынов Судьбы» (в монологе Эдипа: «Я – сын Судьбы!»), светоносная персонафицированная корпускула сознания растворилась в метафизической волне Тьмы, не могла не исчезнуть в Ней – Тьма Подсознания исконная парафия «тайной свободы» Эдипа, его драгоценная скрижаль, хранящая генную память о жизни в любящем Отце. Себя познающий сторел, исчез. «Все свое носящему с собой» путешествовать по жизни не пришлось – Эдип, как Адам-Ева, «умер» в момент рождения. В «утре» своей жизни «четвероногий» сразу оперся на соответствующее число столбов смерти – на число стихий рождения праха.

Эдип, как Адам, в точке рождения подвергся действию гравитационного биполя: центростремительного притяжения Вечности и центробежного выброса в тьму, в смерть – в пространство вне Точки. Но и тот, и другой, по тайному велению души, не вышли из Вечности, не пожелали отделиться от Нее. Так отделенный от Тьмы Свет остается в Ней. И хомо ходящие никуда не ходили. У калек от природы не в порядке ноги. Адам «ходит на чреве своем», у Эдипа они вывихнуты и опухли, наш «Исус» выступает на куринособачьих лапах. Врожденный дефект опорно-двигательного аппа-

рата мнимо ходящих порожден, видимо, запретом Истории входить в ее пространство с дрянью и хламом. Само «не-я» «неходящего» не впускает в Нее «я» псевдоходящего, ибо прожитое считает плодом дурного воображения, чужой для «не-я» биографией, по Шекспиру, «историей, которую пересказал дурак». Эдип включил себя в такую фантастическую, несусветную, беспредельно дикую историю, что охотно воспользовался правом своего «не-я» не считать себя причастным к этой безумной игре. Мудрый Эдип благо-разумно отказывается от абсурда прожитого: его мать не хочет видеть в нем свое дитя, отменяя портретное, ею замеченное сходство с Лаием, а в имени живущего с ней она не видит повода для опознания, хоть знает, как Лаий обошелся с ее плодом, она вообще отказывается узнать сына, больше того, уходит из жизни, чтоб не дознаться наверное о рождении чудовища. «Не-я» Эдипа abortирует свое скверное «я» уже в семени отца – страдающий в «я» Вертер убивается заочно. Эта акция дает живущему определенное практическое удобство: договор между «не-я» и «я» может быть востребованным в любой точке жизненного пути – «труп» «я» в любое время может быть объявлен ненужным балластом, препятствующим бытию. Отмежевание от «смерти» в чуждом «я» приводит к очищению живущего. Воистину, спасает его.

В «Двенадцати», как и в мифе об Эдипе, развязка открыто заявляет о придуманности, чистой воображаемости, мнимости и пустоте события. Будто ничего и не было. Громовые выстрелы Революции, вселенский обвал только кажутся таковыми – их поглотила изначально-финальная тишина. На гребне революционных событий сам поэт, по его признанию, после ощущения сильнейшего шума внутри себя, вдруг оказался в беззвучии и пустоте бездействия, угнетавшего поэта до конца жизни.

Многие исследователи отмечают звенящую пустоту-тишину финала поэмы. В самом деле, кода поэмы, по Шекспиру, «дальнейшее – молчание». У Блока вся трагедия Двенадцати разворачивается в пустоте «безмолвствования» – «без креста». Символ религиозной веры есть – Святая Русь названа, имя Спаса произнесено, Господне благословение вымалывается, но нет «креста» творящих стихий – нет под ногами «земли». Она вообще в поэме не упоминается. Все покоится на вселенской скользоте. «На ногах не стоит человек» – все витает по ветру. Да и людей нет в жуткой поднебесной стыни – есть идея, «образ и подобие» человеков. Материя еще не появилась. Есть вода («снежок», «ледок»), воздух («ветер»), огонь («огни, огни»), а земля еще «безвидна». Сдается, Блок даже подчеркнул исключение этого слова из лексикона поэмы.

*– Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пес паршивый,
Провались – поколочу!*

Вместо «старого мира» в созвучии шипящих и свистящих так и слышится «шар земной». В мировой Революции «шар земной», в сравнении со «старым миром», для Двенадцати – «потяжеле будет бремя», но по условиям игры «бремя» жизни еще не зачалось.

Несусветная катастрофа мировой Революции еще не состоялась – мир и Земля еще не возникли – Господь еще не собрал «креста» стихий творения. Премирное молчание предваряет все события мира, заочно глушит, погружает в позабвение саму Революцию. Деяние не свершилось, Оно осталось в не-Деянии, «падаль» еще не родилась. Бред Революции еще не задумывается. Безначальное стоит на пороге единственного и непреложного факта – свободного рождения мира. Все воспоследовавшее – виртуально, область воображения, безумия. «Знание Времени» уже содержит в Себе весть человеку о единственной возможности быть творчески свободным – ежесекундно погружать себя в Акт Творения, не отрывать себя от Отца. Эх, Двенадцать русских нигилистов оторвались от Бога – сознательно пошли «вперед», таки «зачали русский бред», безумную игру, детскую возню с «трах-тах-тах». Русские большие охотники лицедействовать. Шибко талантливы. И потому так бездарны житейски.

В незапущенном премирном Времени, в Подсознании «революционеры» никуда не идут. В поэме обозначены внешние приметы топтания Двенадцати на месте. Они вышагивают «вперед, вперед» на одном и том же перекрестке (главы пятая и девятая) с недвижно стоящим буржуем. Он для них – конечный верстовой столб на пути к раю.

*– Ванюшка сам теперь богат...
– Был Ванька наш, а стал солдат!
– Ну, Ванька, сукин сын, буржуй...*

Революция позволила «нашему солдату» сразу стать номенклатурой.

К иллюзиям рая идти не надо. И в финале Двенадцать никуда не идут – «апостолы» революционной веры все с большим пылом толкуются на «месте» в убыстряющемся («Вперед, вперед, вперед...») и все более коротком ритме («Раздается мерный шаг...»),

«боле, боле» приближая мгновение «вести о сжигающем Христе» и миг рождения «Исуса Христа». Органистический момент рождения-смерти «одной плоти». В шестой главе «пулей» они вошли в единую-утробную «воронку» России и в зверином оргазме «кончили» свой «путь». Двенадцатая глава открывает лик половинок «Исуса». В пике азартной «пальбы» по Екатерине в нутро «охотников» вошел, плоть от плоти их, «нищий, паршивый, шелудивый, безродный» пес – явный, судьбою посланный земной жених продажной девки от Святой Руси. «Волк голодный» «змеем» вошел в свою «шкуру» – в единую плоть «Исуса». В «рай» зверь въехал на блуднице – она в «Иисусе» «вереди». Великий Инквизитор ошибся. Цель похода – «град Божий» предстал образом более гнусным, чем символ развратного Вавилона – блудница на звере.

Перстное в самом мерзостном виде вошло в царство праха и смерти. Из десятой главы в тринадцатую «апостолы» отсчитали четыре шага. Детская считалка в конце десятой главы оставила три («Вперед, вперед, вперед...»), в одиннадцатой – два шага («Вперед, вперед...»), а в двенадцатой всего один («Впереди...») шаг до входа в ничто. В тринадцатой дважды повторенное «впереди» никуда уже не ведет, обрывает «путь», однозначно переводит движение в призрачное.

В грехопадении Святая Русь покинула Бога. И что Господь? Где Он по отношению к падшей?

**«...природа души человеческой есть
жизнь, акция, инициатива, потому что душа есть
Божия тайна, и именно тайна – творческая»**

Мерцательная, полная вибрации финальная картина поэмы явно не однозначна. Всмотримся, вслушаемся в молчание «черного, черного неба» – на его фоне

*...Позади – голодный пес,
Впереди – ...
Впереди – Исус Христос.*

Картина шествия держится на двойном «впереди», ставящем каждую из ипостасей «Исуса» – ипостасей праха и духа – «впереди» другой, т. е. поруч. Пространное описание «женственного призрака» позволяет забыть, не заметить уже привязанное к зверю «впереди», и употребить его вновь, вроде бы в первый раз, придав ему раздвигательную функцию.

Вглядевшись в небо, по совету автора «В оба!», увидишь

зловещую, пугающую пустоту и Божественную красу космоса – мерцающий союз «Исуса» и Дух Христа, нерасторжимость начал мира в живом «Исусе Христе». Этот взгляд в рамках сюжета поэмы невольно заставляет задуматься о спасении России. Таков, наверное, ее смысл в расхожем подходе. Впрочем, о чем это мы – России еще нет, мир еще не явлен. В Тьме слышится только имя Его.

Почему искажено спасительное имя? Помилуйте, так оно звучит на слух. Кто произнес Его в пустоте? Помилуйте, сказано ведь: «И Слово было у Бога». Мгновение произнесения Слова и стало искрой зарождения Света Сознания в глубине Тьмы Подсознания, мигом рождения мира, Истории. В ней однажды Двенадцать, ступив в царство Свободы, в ипостаси своего омерзительного скотства, обнаружат присутствие ипостаси Духа бессмертия. В это мгновение родится сверхэпический сюжет о нареченности всякому пришедшему в этот мир имени Эдип наряду с Эммануилом. Включая Александра Блока. Личностная драма поэта вошла в сюжет поэмы. В «Двенадцати» он четырнадцатый. Послушать голос «тайной свободы», поэт первым мечтает изжить грязь жизни, остаться в Точке и Мгновении Истины.

Уточним символику комплекса Эдипа.

По Софоклу, в этот комплекс не входит инстинкт смерти в декларированном Фрейдом виде: «...агрессивный или разрушительный инстинкт действует в каждом живом существе и старается разрушить его и свести жизнь к ее первоначальному состоянию неодоушевленной материи».

«Быть или не быть» Эдип, по Софоклу, решал в тестикуле Лаия. Табу на отделение сына от отца (именно за отделение сына от отца Лаий и наложил на себя проклятье, хоть и ввергнул в грех жизни чужого сына) присутствует в полнокровном либидо того же Лаия. В нередуцированном комплексе своего имени Эдип не самоутверждается, «быть» утверждается со знаком минус – оставляет его в ложеснах родителя, символически не выпускает из плена предбытия на всем пути жизни.

Эдип отторгает себя не под знаком инстинкта смерти, а напротив – с зарядом инстинкта бессмертия, результирующей силы полного комплекса. Отказ от воплощения еще в семени отца – залог жизни, потенции возгорания, ожидание намерения родиться. «Не быть» удерживает плоть от похода «вперед», в саморазрушение. Минус заряжается плюсом. Тезис Фрейда загоняет жизнь в гроб конечного распада. Чувство бессмертия, названное в данном случае инстинктом в терминах Фрейда, можно считать обетованием человеков в этой жизни. (Полагаю, из этой сферы духа смертные черпают запал бездушно-безумной жизни и самозабвения, с этого

плацдарма духа они упреждают, даже исключают весь негатив жизни. Скажем, неврозы, возникающие, возможно, у тех из смертных, в ком величина заряда чувства бессмертия ниже некоего уровня. Как, к примеру, у Каина.) На этом основании в синдроме Эдипа вместе с причиной внутреннего конфликта между сознанием и подсознанием (идти, но не уйти!) следует видеть еще и симптом авторегулятивной работы души. Скажем, мудрое подсознание призывает носителя душевного дискомфорта вернуться на исходную позицию существования, рационализировать ситуацию скрытого конфликта – открыть его, определить шкалу жизненных ценностей и сделать шаг к перерождению – в конечном счете к становлению, некоему спасению души.

Фрейд принял, к удивлению, симптом невроза за причину драмы души.

В сюжете «Эдипа» зачин и финал действия замкнуты. В кульминации трагедии мать отдает сфинксу жизни сына, исхитрившегося стать отцеубийцей, и принимает смерть. Назначенная Эдипу история жизни становится развернутой и завершенной уже в момент зачатия. Композиция трагедии подводит к этой мысли. «Ты помнишь ли той ночи / Старинной тайну? – Посылает Иокаста упрек супругу в пике действия.- В ней ты сам себе / Родил убийцу...». Как однажды в «тайне старинной ночи» отец Лаия, отец Лабдака, отец Кадма... родил «убийцу». Миф приложим ко всем отцам. «Убийца» у всех родителей один. Со времен Каина ему снится прогностический, на первый взгляд, сон. Фрейдизм видит в нем проявление инфантильного либидо. Между тем, этот сон обнажает генную память сына – подсознание все еще удерживает его на указанном родителем «пути». В «райском» сне сын все еще творит себя. У воплощенного есть необходимость перетвориться – в отце он не знал смерти. Ее печать он принимает в недрах матери. Символика сцены самоослепления Эдипа позволяет перенести действие в «райские» пределы. Могущественный и поверженный муж Эдип светоносной влагой, источаемой триадой «два плюс один» (игла и глазные яблоки), окропляет не скованное одеждой (сорванная Эдипом пряжка не стягивает на Иокасте «ризу») еще живое («царица еще качалась в роковой петле») и уже мертвое материнское тело. Трагедия свершается в предисловии – момент единения семени-сына с родительницей в «одну плоть» помечается смертью. Жизнь с «женой-матерью», подсказывает подтекст трагедии, самоубийственна. Греческий миф высвечивает грехопадение на микроуровне и уточняет список действующих лиц в лоне Эдема.

Для человека смерть включила свой секундомер, как только «адам» «оставил отца своего» и «прилепился к жене своей».

«Мать» и «жена» для «человека» рая одно лицо, «одна плоть».

Изречение о «человеке» («...оставит человек отца своего и мать свою...») относится к «адаму», «образу и подобию» Адама. Прозрение отношений отцов и детей не может исходить из сознания еще «безгрешной» плоти Адама-Евы. В противном случае грехопадение для прародителей не станет откровением, творческим шагом, шоком души. Они не могут знать, к чему приведет грехопадение, исток рода человеческого им неведом. Прорицание таится в подсознании Адама-Евы. Экспозиция грехопадения объявляется сыном, «адамом». Себя, отца своего и мать свою сын-сеятель («каин») представляет в ситуации, грехопадение предваряющей, но императивно его не заявляющей. По сути, «адам» ничего не предвещает, «незрячий», не все ведающий извещает о своей готовности осеменить лоно жены-матери, буквально «прилепиться» к ней. «Адаму и жене его» остается найти свой плод «хорошим», «вожделенным» и созревшим. Тогда внутренняя потребность, намерение «адама» и «Адама» совпадут, сольются. И сын в отце-матери «прилепит» человека к жизни – «вочеловечит» себя. Осенит лоно матери не прежде, нежели, скажем, какой-нибудь плотник осеменит свою жену, а в унисон. И в момент воплощения, «прилепления» к «еве» невинный агнец «умирает» – начинает умирать.

И в трагедии Софокла плод любовных отношений Иокасты и Лаия присутствует на брачном одре субъектом этих отношений. Между супругами «безногий» – третий, как будто уже рожденный (Иокаста «одр свой проклинала: / Ты мне от мужа – мужа... / Родить судил!»), «кровосмесительно» присутствующий, себя повторяющий. Мужская, сыновья ипостась в женской, отцовской ипостаси Иокаста-Лаий. Животворящее «ребро» в одной плоти андрогина Лаий-Иокаста. Могущий быть себе своим отцом. У Иокасты есть веская причина не узнавать в Эдипе сына. В разумении «одной плоти» Лаия-Иокасты подсознание «спящей» на брачном ложе «жены-матери» не различает в «муже – мужа», Эдипа в облике Лаия до атомного распада и центробежного выброса из тьмы ночи в свет дня оплодотворяющей, рождающей и воплощенной ипостаси супружеской троицы – синхронной смерти Лаия, Иокасты и Эдипа («Меч! Дайте мне меч!») в развязке действия. Соль трагедии всех трагедий сводится к аутичной коллизии: рожденный по воле отца сам родил себя. Эдип и Каин свободны абсолютно – они сами себе «причиняют быть».

Между прочим, мифологема на альковную тему связана со зрением. Амурное событие зачинает ребенок мужского пола, и стрелы любви пуляет в «яблочко» вслепую. Адам прозрел, Эдип ослеп, отец Александра Македонского потерял глаз при попытке

заглянуть в будуар благоверной. Очевидно, никакому мужу не дано узреть со своей суженой сам-третьей – «единоутробного сына». В отце Фрейд не увидел восходящее к безначалию сыновнее, рождающее начало и, таким образом, упустил в своем «учении» скрытое в отношениях отца и сына спасительное предложение духовно ущемленному самоутвердиться на зачине бытия – на акте рождения сына в Отце. Родивший себя в Отце единением со всеми отцами дает потерянному и оставленному сыну право находить себя чадом Господа. В таком ранге злосчастным легче управлять собой и миром.

Блок прибегал к дару самоспасения. Естественно, по внутренней психологической потребности, автоматически.

В поэме автор находит решение давней дилеммы.

«Все дело в том,- писал Блок Белому еще в 1911 году,- есть ли сейчас в России *хоть один человек*, который здраво, честно, наяву и *по-Божьи* (т. е. имея в себе в самых глубинах скрытое, но верное «ДА») сумел бы сказать «НЕТ» всему настоящему». Такого человека классический русский интеллигент Александр Блок нашел в собственной персоне, вооруженной интенцией: «Россия для меня – все та же лирическая величина» (из письма матери). Поставленную, по смыслу, интеграционную задачу поэт решает как альтернативную: из уравнения исключается реальная, мерзкая и грязная Россия. В поэме реализовалась давняя мечта Блока жить в России «в белом фраке». «Или надо совсем не жить в России, плюнуть в ее пьяную харю, или – изолироваться от унижения – политики, да и «общественности» (партийности)» (из письма матери). «О Русь! Жена моя!» – на языке психиатрии это всего лишь реактивное образование, за его фасадом в жесткой ревизии любовных отношений вытесняются, отбрасываются уничижительная для «супруга» «пьяная харя» и общий для «одной плоти» быт. (О переносе этой любви на микроуровень свидетельствует дневниковая запись поэта: «Я как мужской коррелят «моего» женственного». «Эгоистическое исследование»). Но вытеснить скверное настоящее своей «половины», значит подавить в брачных отношениях «мужской коррелят», лишит «женственную» Россию деятельного и производительного начала – сделать ее мертвой. Выяснение «семейных» отношений переносится на премирную ситуацию с еще не возникшим «мужским коррелятом», т. е. Иисус Христос в «женственном», т. е. в Отце еще не возгорелся: Сын еще не стал Отцом в лоне Матери-Отца. Слово еще не стало плотью. Вот мы и добрались до предельно вызывающего признания лирика: «Никогда не приму Христа». Это значит, подсознательно признается поэт в финале поэмы, никогда не признаю себя рожденным в этом мире. Вечно останусь в Отце!

Сам буду Сыном! Посмею этому миру говорить «да» и «нет».

Бессмертие Адама и Эдипа привязано к определенному моменту существования мира. Лирический герой «Двенадцати» привязывает свое бессмертие к мгновению рождения мира. Но это не значит, что он «старше» своих братьев. В едином для всех, по словам Эдипа, «сынов Судьбы» Доме нет времени – из общей для всех безначальной обители под вывеской «Подсознание» никто не выходит. Если иному сыну вообразится, что он свободно пошел «погулять», то бишь жизнетворить, его тотчас охватывает смертельная тоска по Дому. В исповеди Блока, а его творчество исповедально, так и сказано:

*То ревность по дому, тревогою сердце съедая,
Твердит неотступно: что делаешь, делай скорее.*

Двенадцать заряжены лирическим лейтмотивом поэта.

Вслушаемся в призыв уторопить «дело».

Обращение Христа к Иуде с просьбой не затягивать предательство поэт увязал с испепеляющей душу «ревностью по дому» и приоткрыл глубинную драму связи верха и низа, «раба и господина», «пославшего и посланного» в «одной плоти» – Иуды и Христа. Смысловая нагрузка образа Иуды в сюжете Благой вести шире, глубже формальной роли предателя, проигрываемой им по сценарию ночного сна, повелевающего, как во всяком сне, нечто делать тем скорее, чем яснее сознаешь, что этого делать не следует. Или одно принимаешь за другое, угадываешь мысли посланника сна. Как на тайной вечере. Симон Петр сделал знак припавшему к груди Христа Иоанну, чтобы спросил, кто предатель. Иоанну, понятно, скрытый в жесте вопрос ясен: «Господи, кто это. Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И обмакнув кусок, подал Иуде Симону Искарриоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Никто из возлежащих не понял, к чему Он это сказал ему». Обжигающий душу вопрос унесен от «возлежавших» легким дуновением сна, его власть не может одолеть и сам Христос – трижды в ту ночь Он безуспешно будит спящих. Или будит ровно настолько, чтобы не разбудить. Самого оцепеневшего Христа в ту роковую ночь будит «поцелуем» деятельный и динамичный Иуда. Будит Христа-ребенка: «Возьмите Его,- говорит он стражникам,- и ведите осторожно». Во сне все так: удар отравленного клинка похож на поцелуй, в первом крике слышится стон последнего выдоха, а дарующего жизнь Отчего Сына поющие Ему осанну в перевернутом взгляде сна могут принять за убийцу Варавву (в переводе – «отчего сына»).

Но допустим, Господь, любивший говорить притчами, в целостный текст Евангелия не вложил никакого иносказания, ситуация сна в сюжете Благой вести нам только чудится, а Иуда вовсе не фаворит луны. Уместен вопрос: как Христос воспринимает участие Иуды в запланированном Поступке. Зная, чем кончит грешник, Милосердный по Своей главной заповеди, должен, кажется, остановить подлого: не бери грех на душу, откажись, возлюбленный сын мой, от гнусного умысла, у Меня тьма способов предать Себя. Пришел-то Христос не для пересчета повернувшихся к добру или злу, а единственно для приглашения к спасению, по истинной, безоговорочной любви, исключаящий упрек, предварительный уговор о взаимности в любви. Христос пришел не взыскивать. Иисус принес деликатное напоминание о Всеблагоем, ждущем заблудших. По замыслу, Он сначала отдаст Себя на заклятие, а уж потом даст падшим возможность принимать или отвергать дар жертвоприношения. Иуда, как все грешники, мог бы, казалось, выказать ответную любовь или остаться безучастным после искупительной жертвы. К великому удивлению, Христос испытывает Иуду перед Голгофой, а не после нее. Заочно отступника Иуду Христос, выходит, не любит, коль скоро проверяет его на взаимность. Из всеобщей любви к грешному люду Иуду Христос исключает – отступает от Своей Программы. Больше того, пришествие Спасителя к Иуде обернулось для грешника приближением смерти. Оказавшись в руках Бога, Иуда укоротил свой век. Понять, принять этот факт можно только в том случае, если в Божьем разрешении суицида усмотреть осуществление потаенного внутреннего побуждения Иуды, если увидеть в Иуде «предателя», «хитро», безотчетно обходящегося с собой на манер Эдипа. В этом случае тайна отношений себя «съедающего», «сжигающего» Иуды и предающего Себя Христа, их взаимное «отступничество» становятся понятными.

Открывается смысл сыновней жертвы.

Отступничество «верха и низа», «раба и господина», грешника и Богочеловека в Иуде и Христе персонально и в то же время идентично – по Евангелию идеальное и материальное начало того и Другого переплетаются. Иисус и Иуда едины в «предательстве» собственного «низа», «раба» в себе, своего «змея». По Писанию, «змея» и в Христе. Сам Иисус говорит об этом: «...ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пятау свою». «Ядущий с Ним» – от семени Евы – Иуда поднимает «пятау» на «змея» в Богочеловеке по праву «господина» – с высот Духа в себе. В соответствии с этим Богочеловек, перепоясав Себя полотенцем, т. е. разделив Себя на части («...сняв с Себя верхнюю...») выше и ниже пояса, каждому, кому Он омывал

ноги, подкладывает Свою нижнюю, «рабскую» часть под «пять» «господина», под его «верхнюю» – Божественную половину. А попирая «низ» Господина, Иуда наступает на собственного «зверя». Христос потому и не рефлектирует по поводу Иуды, что отторжение перстного есть внутренняя потребность «предателя» – общая для сына и Сына жажда души. Тот и Другой предают общий «низ» и прах по взаимному и заочному одобрению, в свободном доверии друг к другу, как если бы тело и кровь одного безраздельно принадлежали другому, как если бы Иуда и Христос были сиамскими близнецами. Но в общем для них «теле и крови» Иисуса они таковыми и есть. «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою кровь пребывает во мне, и Я в нем», сказано Христом. Иуда Иисусу – сам-«друг», первым получивший причастие из рук Бога, «подобный» Богочеловеку союз материи и Духа с «ревностной» тоской по Дому Отца. Эта духовная страсть питает Иуду со дня его рождения. Недаром в евхаристии с участием Бога Иуда словно повторяет тайну рождения сына в Творце. В момент причастия Господь придает Иуде, можно сказать, статус Своего «образа и подобия», а свободное отделение от Создателя, «предательство» Бога совпадает с моментом материализации – в Иуду вселяется «зверь», как «змей» в Адама. Иуда присваивает плоть, Духом Сына воплощается в нее, дабы отдать себя на алтарь любви к Отцу. Тотчас. По внутренней потребности. Без чувства жертвенности.

Христово «уторапливание» иудиного «отступничества» («...что делаешь, делай скорее...») не содержит ни грана испытания, ни, тем более, подзуживания – это Иисусом сознаваемое, а Иудой неосознаваемое выражение воли «раба» и Господина, унисон с неразличимой инициацией Иуды и Христа, Божеского и человеческого в том и Другом. Духовная тяга к Отцу в Иуде такова, что он не хочет выходить из причащения Богу – ему хотелось бы, со слов Христа, «лучше бы и не родиться». Чтобы не выпасть из лона Вечного. «Угроза» Иисуса едва ли может быть понята в другом смысле, меньше всего ее можно принять за месть Христа, возмездие за «предательство».

Желание не родиться роднит Иуду с Адамом и Эдипом. И, добавим, с Блоком. Но в отличие от Адама Иуда и Блок совершают двойное жертвоприношение. Вместе с личностной жертвой на алтарь любви к Отцу Иуда и Блок приносят себя еще и как частичку соборного тела Сына Человеческого, отдающего Себя в единой для всего иудиного племени ревностной тоске по Духу Вечности. В этом Христос и весь отступивший от Него иудин народ едины. Но акт «самоснедания» племя варавв совершает в тумане подчеркнутого в Евангелии сна, бессознательно. Сын Человеческий вершит

самозаклание в ясном сознании тяги к Отцу. В собирательном вопле «распи, распи Его!», «...вязать Борисова щенка!» и «Все равно тебя добуду!» слышится проекция потаенного желания варавв остаться в доме Отца.

Мастера слова сводят творческий процесс к умозрительному обитанию внутри языковой сферы. В таком пленении они чувствуют себя изгнанниками. Смысл творчества сводится, по их признанию, к преодолению изолированности, возвращению домой (Хайдеггер). Размышляя об этом, Иосиф Бродский нашел красивый троп. Поэт, сказал он, обитает в языковой капсуле на орбите, и никто не собирается возвращать его на стартовую площадку. Поэт обречен превратить пространство капсулы в среду личного обитания. В полете авторский текст неуловимо переходит в Текст. Полный набор космически упорядоченного (мысль дневниковой записи Блока) Текста «открывается» в миг таинственного сбегания всех составляющих полета в Точку. «Язык пространства, сжатого до точки» (Мандельштам) «возвращает» «прикоснувшегося к нулю» (Хармс) Домой. Цель и средство «полета», форма и содержание «капсулы», автор и Автор, оказывается, уже были единены Свободой. Все орбитально блудное, периферийное, выясняется, еще не родилось, оно – еще не востребованный прах. К этой мысли, в сущности, сводятся «Двенадцать».

Самая исчерпывающая оценка поэмы принадлежит Чуковскому. «Двенадцать», сказал он, никогда не будут прочитаны.

Верно – попробуй прочитать нечто, от чего осталась одна точка, равно уместная в любой части «предложения» – жизни. Как отмечалось в исследованиях, поэма и мировосприятие ее автора – проблема синтаксическая. В самом деле, артикулировать смысловое содержание поэмы по канве причинно-следственного и протяженного по времени рассказа, по схеме сложно-подчиненного предложения невозможно. Единственный способ рассказать о факте, не имеющем сторонних причин появления, – идти по деталям фабулы, превращающей авторское описание события в предисловие к событию. Остается подчиниться сложно-сочиненной и бессюжетной форме толкования поэмы – в ней нет сюжета, обозначен лишь мотив действия. Мир «Двенадцати» погружен в Свободу, не связанную ни с какими мотивами.

Поэму невозможно прочесть без сопоставлений. В мифах о Свободе неизменно присутствует коварное, чудовищно изуверское «животное». «Двенадцать» являет совершенно богомерзкую форму животного начала «подобного» Господу. «Зверское» человек во всех мифах отбрасывает Божьи создания на до-Человеческий, доисторический для них уровень, превращает в антикультурное,

по нормам людского общежития, существо. «Разумно мыслящий» оказывается в пространстве без Божьих законов, без табу. Обретает противоестественные человеку черты. И этому, подсказывает автор «Двенадцати», есть простое объяснение. «Зверь» «спасает» Богоподобного. Знай, говорит тайно съедающий «человечину», в Господе ты бессмертен, я заглочу всю «твою» погань, тебе, очищенному, остается успокоиться и войти в Дом Отца новорожденным – чистым. И нерасторжимый союз Любви между умиротворенной плотью «дикого» и безупречно Просвещенного, абсолютно Культурного остается, к примеру, в Каине со знаком плюс. Именно так «дикий» Каин умиротворился, освободился от «суеты» и «беспокойства» (в переводе – «авель»), обрел Божью защиту от «братнего» покушения. Уравновешенный Каин построил город Енох. В сыне стал «ходить перед Богом». Обрел нормальную жизнь. Словом, спасся. Вернулся к Спасителю на собственном «звере». По Писанию, у Каина, выходит, не было другого способа избавиться от «плача» («авель») своей крови, снять невроз, возникший на почве Любви.

Той же этиологии невроз Эдипа и Блока подавлялся без видимого участия Спасителя, а технология ремиссии болезни не изменилась. Очевидно, Господь унастил нашу психику Своей благодатью.

«Нейрастения» лирического героя и автора «Двенадцати» нам интересна не в персоналии, а в уточнении сверхзадачи поэмы.

«Вы спрашиваете, кто я, что я? Разве вы не знаете?

**То же и то же опять, милое, единое, вечное
в прошедшем, настоящем и будущем»**

Вспомним одну прописную истину.

Известно, всякая болезнь вырабатывает противоядие – мобилизует защитные силы организма на подавление недуга. Функция у этих механизмов поведенческая: они автоматически включают свои оборонительные линии для удержания болящего в строю. Эти механизмы объективны и универсальны. Они равно действуют на читателей и писателей, на тех, кому снились и не снились инцестуозные сны, равно действуют во всех отделах медицины, включая психиатрию. Наконец, принцип самостабилизации жизненного здоровья фундаментален, коль скоро жизнь сопряжена с заключенным в ней угасанием. Сама здоровая онтология умирания, каковою можно назвать жизнь, основывается, очевидно, на принципе отвержения природного тления, на удержании тонуса жизни зарядом самооценности бытия. Занервничай иная белковая организация по поводу своего позорного бесправия, в жизненном духе (психическом комплексе) этого существа сразу же отыщется некая палочка-

выручалочка, позволяющая не услышать, не увидеть свой позор, скажем, свою «пьяную харю». Почти все невротики очищают душу на «автопилоте». Как, например, Эдип и Блок.

Был ли Эдип невротиком? И да, и нет. Его невроз следовало бы назвать здоровым. Точный диагноз недуга Эдипа по анамнезу Софокла: компенсированный невроз обреченного жить, недуг здоровой психики назначенного быть.

Клиническая картина болезни (мнительность, раздражительность, ожесточенность, проявление мании величия и уничтожения, маниакальное следование идее-фикс, истерически демонстративный мазохизм) Эдипа возникла на классической основе – детском комплексе неполноценности. Подавленная субъективность, как и в нежном возрасте Блока, рождена ощущением принадлежности другим родителям – истинные не могли бы так обойтись с цесаревичем, не могли бы бросить на произвол судьбы «безногого» от рождения. Замечено, чувство оставленности, одиночества, убивая первую надежду человеческого сердца – быть предметом любви, наносит покинутому и отверженному глубокую психическую травму (Э. Фромм. «Искусство любви»). «Обособленность – не столько причина зла, – запишет зрелый Блок, – сколько само зло». Разлад родителей «царевича» (так родственники Блока звали его в молодые годы) давал Сашуре внутреннее право оценивать семейную ситуацию как поддельную, подлежащую исправлению. В подсознании «царевича», возможно, возникало желание восстановить атмосферу родительской любви самым радикальным образом – убиением родителей, раз рожденный ими не есть чистый апофеоз любви. Это тайное побуждение подсознания открыл нам Эдип. Истинная глубина его трагедии открывается в жалобе матери: некто, цитирует он слова обидчика, «Поддельным сыном моего отца» / Меня назвал». Не иначе, не сознаваемое Эдипом родство с Неподдельным питает его притязания на безоговорочную любовь и признание, на право быть любимым до самозабвения. Всяким. Как должно любить Неподдельного в сыне, любить напрямую – Единородного. И, на языке Писания, Эдип «отрывается от отца своего и матери своей» – отдает рожденному в лабиринтах души Минотавр «дичь» «тела и крови» своей. И входит в Дом Отца умиротворенным. И выходит из Него спасенным. В смысле – психически здоровым, готовым с обретенным покоем крови уберечь город от разрушения. В постневрозе Эдип и Каин пошли по жизни дорогой градостроительства. Решение разумное – в городе жить удобно и практично. Здесь можно устроиться с совершенно райским комфортом.

Описание в терминах психиатрии механизма бессознательного подавления невроза ничего не прибавляет к сказанному. Психическая подавленность всякого Эдипа снимается вытеснением психотравмы в подсознание и извлечением из его глубин компенсационной эгоцентрической установки. Даже самое крайнее выражение мании величия, говорит при этом подсознание психически угнетенного, все равно меньше цены духовной «недвижимости» – уникальнейшего предмета этого мира – души, места встречи с Богом. Береги это Святое «место», справедливо науськивает подсознание, никому не позволяя ущемлять его. Вот и мнит себя иной «Исус» Богом.

Механизм пластичного снятия невроза иллюстрирует текст Софокла.

Героически признав себя виновным, Эдип отправляется в Ночь, в Тьму слепоглухонемоты. Как не нашел он способа лишить себя слуха и речи, так мог бы и не лишать себя зрения – важна символика отказа от света сознания, вытеснение морального груза содержания в подсознание, в область действия властительниц Ночи Эвменид. Под сенью «благосклонных» Эдип преобразается. «Я освящен,- говорит он в Ночи,- и просветлен страданием.» Теперь он не признает себя виновным: «Благие... благой душой» прияли «гостя во спасение». Эвмениды, призванные мстить за преступление против родителей, «насытившись» страданием Эдипа, уже не видят в нем преступника. «И будешь ты, – повторяет Эдип пророчество Феба на свой счет, – привышим – благостыней». Он настолько очищается, насколько может быть чист еще не родившийся, он как бы еще в Ночи, а Она, по орфической космогонии, одна из стихий мироздания. И в «знании Времени» судьба Эдипа – часть сюжета рода Лабдакидов. Таков Эдип в Колоне, городе этой жизни.

Невроз Эдипа подавляется без всякой психорационалистической терапии, автоматически, самой формой выживания психики (формой психорегуляции), ее катартической уловкой – предложением страдальцу отказаться от своего «я». На минутку. «Пережить» его. И вновь принять «единоутробное» омытым вроде бы в крестительных водах. Эдип прибегает к этой маленькой хитрости. Как «хитроумный художник», использующий свою жизнь в качестве материала произведения, полезного и нужного назидательным звучанием. Властителю Колоны он простодушно приносит жертву: «Пришел я с даром: собственное тело Несчастливого тебе принес я. Знаю, что нероскошен с виду этот дар. Не красотой важен он, а пользой». В пространстве Ночи Эдип становится поборником правды и чистоты, ценностей Вечности. В конечном счете

санация психики Эдипа свелась к беллетристике, к прямому отказу от персональной грязи, к возгоранию из недр «не-я» феникса с новым оперением.

По множеству причин невроз Блока не завершился закрытым и пластичным погашением. Но аутопсихотерапия в новейшее время ничем не отличается от метода, задаваемой естественной устроенностью «подобного» зверю и Богу на первом полушаге в этот мир.

Был ли Сан Саныч неврастеником? Определенно. «Нейрастения» была диагностирована лечащим врачом. Дневниковые записи и письма позволяют составить большие и малые циклы депрессивных состояний поэта. Те же источники дают клиническую картину симптомов невроза. Не станем выписывать эту картину. Остановимся только на одном факте. Диагностированная Мережковскими мания величия действительно посетила Блока. Он и сам это признал. И что с того, что автор «Двенадцати» заслуженно считал себя гением. Адекватная в данном случае самооценка не избавляла поэта от психической подавленности, напротив, подливала масла в огонь уничтожающей угнетенности, подстегивала на какой-то невинный вопрос Г.Чулкова ответить безвкусно – истерическим вызовом: «Георгий Иванович, вы хотели бы умереть? А я очень хочу». Желание умереть в такой форме выражают «гении» мании величия.

Блок никогда не кликал смерть. Признания: «Я люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви.» (из письма А. Белому), «Люблю я только искусство, детей и смерть.» (в письме к матери Сашура отрывается от родителей косвенно, «утонченно») – зафиксированная поза регрессивного невроза «милого, единого, вечного» (самооценка в письме Белому) «царевича». Спектакль на тему смерти у Блока – скандальный вызов «гения» окружению, базарная выходка бузотера. В безвкусном соусе бесстыдства. Как если бы тонкая душевная организация поэта еще не вышла из ворот рая и не обнаружила нужду в «опоясаниях из листьев» культуры. Невротическое откатывание в недра Отчего Дома изысканного поэта и Петра с отвислой губой совершается на единоутробном «звере», не видящем «наготы» своей. Без какого-нибудь осла в рай нет въезда-выезда. Без него не переродишься. Благодать Духа можно ведь ощутить только в Его воплощении, в животной душе, способной найти, присвоить – «назвать» в себе Бога и творить себя человеком. Короче говоря, невротическая реакция – спасительная уловка психики, ее подсказка страждущему примирить, уллбить в себе «зверя» и Бога, материю и Дух. В равной мере. Одновременно. Приглашенная неврастеником смерть призывается забрать деструкцию в связи Неба

и земли, не-покой «крови», ее взывания-взвывания. Поганой – поганое, что не может находиться в Доме Вечного. Тут, собственно, и самой смерти негде ступить. Потому-то и заывается не безногая (ее, как и свободу, можно только принимать), а ее знак. В кликушестве невротика безжалостно бессовестная, бесстыдная, ой, какая некультурная инстанция, заывается условно, временно. В этом убеждает последнее письмо поэта Чуковскому. В нем все ставится на свои места: «Итак, «здравствуем и посейчас» сказать уже нельзя: слопала-таки поганая, гутнивая, родная матушка Россия, как чушка своего поросенка». Всерьез всю жизнь зовущий смерть, мог бы, если и не радоваться приходу желанной, то хотя бы покорно принять ее хватку («...сейчас у меня ни души, ни тела...»). Нет, умирающий не принимает подношение «любимой Жены». Поэт не хотел умирать – в письме мука, упрек «гутнивой», отчаянный вопль души. Истерический зов смерти умолк.

Печать детской истерии хранит дневниковая запись, относящаяся к марту 1912 года. Приведем ее полностью.

«В экстазе – конец. Реши обдуманно заранее, что тебе нужно умереть... Назначь день... А ЕЩЕ ЛУЧШЕ – перед любимой женщиной, клятва в том, что в определенный день ты убьешься... Тогда – делай, что тебе нужно, или делай или говори. Мы не помешаем тебе и будем наблюдать за тобой. Если ошибешься, нам будет очень смешно, ты же будешь очень жалок. Потому – лучше сразу, а на предисловия не очень надейся. Конечно, если можешь с предисловием – только выиграешь (плюсик).

Все это сделаешь ты, если хочешь 1) скорее, 2) здесь испытать нечто 1) новое, 2) крупное, т. е. – если нет терпения и веры в другое».

В особых комментариях этот пассаж не нуждается. Конец рисуется отнюдь не тихим – экстагическим, на миру. В назначенный день мир содрогнется – ах, какого человека он потерял! (Годом раньше в том же дневнике сделана и такая запись: «Вот в эту минуту я настолько утончен и уравновешен, что могу завещать»). Кто ж это позволит столь «утонченному», изысканному и красивому, безмерно талантливому молодому человеку с «телом греческого бога» умереть? Любимая женщина будет заклинать, убиваться... Но всеми любимый будет непреклонен! Ах, какой сладкой истомой наполнится его сердце, когда он увидит из гроба, как горько стеноют потерявшие его. Ох, как будут наказаны горечью утраты обладавшие «силой, способной обидеть слабого» (дневниковая запись), увидевшие вдруг неоспоримые достоинства «милого, единого, вечного». В «суициде со сладчайшими последствиями» наблюдателям надлежит стенать и убиваться, слезами надгробного плача омыть

плохого мальчиша, преобразить его в хорошего, драгоценного. На коллективном бессознательном лежит психологическая нагрузка абсолютной важности – спасти от гибели всеми любимого. И Подсознание принимает в свои глубины отринутую, вытесненную «умершим» погань с «тайно» включенной в нее искрой животворения. Грязь и зло, как должно, топятя в пучине, адамово «ребро» в безбрежьи свободно «вспенивает» волны предчувствия, рождает в нем колыбельную песнь Евы-Киприды: мое Божественное «милое, единое, вечное», ты победительно, присно твори себя вдохновенно! Игра в «смерть» попадает в цель – оставляет уникальную драгоценность в мгновении самозарождения. Спасает по совершенно Божественному устройству психики «царевича» жизни.

Душа поэта и человека трепетала в пеленках тайны рождения. В символах мифа об этой тайне вызрела готовность Блока быть «мужским коррелятом» «женственной» России-Жены, Дамы. Стать мессией – оплодотворить мир своим «ДА». Повторить сыновнее соучастие в деянии Творца. Соучастие в акции рождения.

«Он дает становиться, причиняет быть»

Землянину назначено познать себя на «нервной почве». Моисей, Софокл, Евангелисты и другие ясновидцы духа позволяют признать невроз экзистенциальной, архитипической матрицей души. С антиневротическим залогом. Ничто в синдроме невроза, усмотренного в биографии человек апостолами мифологии от древних до новых времен, нельзя назвать причиной страдания, все – симптом, знак «несчастья» («На свете счастья нет, и директива «воли» обрести «покой» (Но есть покой и воля.)). Никакие побуждения и мотивы не предваряют и не провоцируют смятение Эдипа и Каина. По объективному диагнозу Моисея-Софокла, тревога возникает на ровном месте. С вопроса «калеки» от природы о пространственно-временном обитании: «где ты?». Сногшибательный вопрос, метко посланный из отстранения первым лицом второму, опрокидывает носителя свободы в невротическое состояние. Подаривший себя миру находит свою персону миру принадлежащей, не-свободной, смертоносной. Заблудший пользуется компасом невротической реакции, невольно руководствуется «обидой» на родителей. Осквернение материнского лона и отцеубийство – ответная реакция крови, это уже упрек плоти от плоти. И шаги по следам «сынов Судьбы» к истоку «пути». К упреждению душевной боли. Символы, симптомы невроза и способ изживания дискомфорта души у блуждающего по свету едины.

Истерик сдает себя на корню. Вся жизнь Эдипа (и «лю-

бивших смерть» Блока, Цветаевой, Маяковского...) – невротическое образование. Следствие потери рожденным отца. Разрыва внутреннего единства «покоя и воли», не-деяния и деяния, подсознания и сознания отца-сына. Разделения не-делимого. Известно, сын живет с «тенью» отца. Отцы Эдипа и Гамлета скрытно присутствуют в действиях сыновей до самой развязки трагедии. «Я в Отце, и Отец во Мне». Земное содержание этой истины Иисус мог бы утвердить ссылкой на жизненный путь Эдипа. «Царь Эдип» – трагедия семейная, отцом зачатая «ночью» и сыном пережитая «днем», на одну судьбу отца-сына. Вина и ответственность Эдипа и Лаия, как положено в истинной трагедии, уравновешены и симметричны. Штукарское учение доктора Фрейда вульгаризирует отношения отца и сына, разрывает союз на ипостаси, в «убийце» не угадывает «жертву». А сказано, убивший, тем более отца, убивает себя.

Трагедию Софокла можно назвать «хроникой назначенного убийства», точнее – взаимоубийства. И самоубийства. «Хроника» встречи отца и сына со смертью началась «роковой ночью». Вживание генома смерти в судьбу отца-сына приходится на зачин жизни сына вне отца. Отрывом от бессмертного пребывания в отце, Отце всей цепочки отцов, сын включает секундомер жизни по внутренней потребности персонально быть. Сын свободно оставляет отца – по своей воле приглашает смерть открыть его личностную жизнь. Все по Писанию. В самом деле, не получи с Божьей помощью несчастья представиться смерти – не отделись Адам и Ева от Отца, бессмертные не обрели бы счастья познакомиться со своей личностью. Не имеющий дара «называть» себя от первого лица, понятно, не знает смерти. С Творцом, в преддверии смертного существования, «слепые» не ведали «наготы» своей, не знали себя. Примечательно, воплощенные не оставили никаких описаний Бога. Между тем, «лицо Господа» для бессмертных не было «скрыто». Будь Оно «скрыто между деревьями рая» до грехопадения, не знай бессмертные Бога в «лицо», смертные не стали бы прятаться от Всевидящего в райские кущи. До грехопадения «подобие» бессмертия было ипостасью Вечного. До рождения человека, до появления Адама в «еве» «подобие» Бога – весь Бессмертный «образ». Вечность целостна и единственна. Она уже состоялась, уже познала Себя. И исключает параллель, повтор, скол. Иное в Ней – Она, единое Слово Свобода. Чему угодно, кому угодно Она дает свободу «самоозначивания». Вольно произнести свое «слово» акцией, деянием. Свободно, по внутреннему побуждению, поступком назвавший себя становится в Творце творцом, созидателем конкретного, частного – смертного. Отдельное, подсказывает добрая, старая Библия, не может быть бессмертным. Создатель – единственный жилец Веч-

ности. Не явленный, не воплощенный не знает ни смерти, ни бессмертия. Рожденный в творческом акте Свободы – Ею названный и «назвавший» себя субъект обретает познание своей смертности и своего бессмертия. Признавший себя человеком открыл «дверь» (Христос – «Я дверь мира») из Вечности в мир мерцания. И «вошел в реку», непрерывно меняющую мир, одной ногой. Другую оставил за порогом времени. «Ходить» невротика не дано. «Ноги» не выводят его из точки жизни, соединяющей ипостаси «Ты» и «я», из тайны зачатия Богочеловека. Приводят к ретроспективе и, с очевидностью, к такого же толка перспективе вечной «жизни».

У гениального бытописателя сюжет движется по эдиповым шагам «просветления страданием». Опустим примеры «хождения по мукам» и кругам ада в мировой литературе. Вспомним «Капитанскую дочку». Повесть и трагедия Софокла странно сближены. У них одна фабула. И в повести отец отсылает дитя с нянькой, агнца с пастухом Савельичем, в зону смерти, армию. На встречу с пьющим живую кровь пугачом, сфинксом славянской души. И становится защитник городов России заложником судьбы. Попадает в тюрьму – тьму подземелья. Как Эдип отказывается от разумных действий, остается в тьме заточенья. А возвращает его к свету новой жизни, счастливо преображает в нравственно чистого мужа шепот девицы Марии, родящее начало «вечно женственной», «миро-новой», Руси. И в повести «кровный» отец-зверь «хитро» приводит жертву к «просветлению». Почти все сочинения любимца «тайной свободы» о «покое и воле», отце и сыне – невротическом истоке духа жизни.

Итак, душа невольно занята «историей грехопадения» – отделением ее обладателя от отца. Все симптомы невротического страдания сына, все сюжетные детали анамнеза Эдипа – суть символы, признаки работы души по единственному для нее поводу и предмету. С единственной целью – подсказкой пасынку судьбы **найти себя еще абсолютно свободным и уже воплощенным, еще бессмертным и уже рожденным, возвратит в состоянии, еще свободное от смерти и уже дарующее безмерное счастье «назвать», «увидеть» себя.** На истоке «пути», на «точке» входа в мир вибрирует Русь в финале поэмы Блока. Так истеричка изживает невроз.

Адам-Ева, Каин, Эдип, Христос, Иуда, герои «Годунова», «Капитанской дочки», «Двенадцати» самозабвенно приносят себя на алтарь идеи, в поступках, действиях реализующей их «путь». На алтарь Свободы, путеводной звезды судьбы. Без чувства жертвенности – «просветление страданием» принимают за должное. «Жертвоприношение» поглощает без остатка все бытие невротика. Нет

«пути» праведней. Верность Свободе – высший показатель чистоты поступка, жизни безупречной, безгрешной. Способ существования и путь спасения невротика составляют одну практику души, один «диагноз». И духовный опыт. Другими словами, вся сфера культа и культуры – след, проявление комплекса Эдипа-Каина, психограмма и творчество свободной души, дым сладостно-горького самосжигания. Изживание «вопля» души приводит сына к Богу и богам, религии и атеизму, порождает культуру, антикультуру с той же нагрузкой культуры, модернизм, постмодернизм с той же психологией творчества... Приводит к естественно возникающему храму духа.

Если верить мифологии, невроз возникает на первом, природном шаге сына. Архангел и Каин, небесный и земной первенцы, в отчаяние себя не заводили, они оказались в «беззаконии» по устройству свободной души. У них (Эдипа, Иуды, Христа, «Исуса») «подкачали нервы». Ну а болезнь не выбирают, ей подвергаются. Очевидно, нарциссизм и мания величия обуяли нежную, эфирную душу серафима в компенсаторном, защитительном движении психики. Прекраснейшего сына Бога загубил комплекс неполноценности – источник обиды, бунта крови, клеветы в сторону неба. И, что называется, Божий дар. Верно, сатанинская гордыня, зло зверя – чуждая Богу парафия. Но противостояние, отщепенство, раскольничество охватывают сынов Бога помимо их воли – по власти снедающей душу скорби. Невротическая реакция на отделение от Отца дарует сыну свидетельство о рождении и визитку к Творцу. «Путь» к Дому. Сказано ведь, падшего на дне бездны ждет Господь, зверь «надобен Господу» (осел – Христу) – на нем сын «кроткий» въедет в «град счастья». Тавро бессмертия выводит «зверя» из «беззакония» в сан Богочеловека, приводит высокие стороны к непосредственному общению, выстраивает храм встреч соавторов бытия. Очевидно, это культовое сооружение входит в «хитроумное» искусство жить в пространстве Свободы, подходит под найденный в житейской практике души психоаналитический ключ. Под средство проверки глубины залегания фундамента веры. В сердце верующего любой религии.

Храм Свободы занимает космос. Здесь небо висит на этической чистоте. В этих координатах людские дела, паучьи делишки, не могут занимать небесную инстанцию. Взбалмошный, суетливый аналог греческих олимпийцев тут не прописан, с небес некому, скажем, вознаграждать долготерпение какого-нибудь Иова, вселенским потоком преподать бесплодный урок истории, воскрешать мертвых, заселять небо святыми, по плану до времени скрываемой

любви к «избранному народу», свято принявшему Завет, превратить синагогу в приходскую нового храма, проявить нездоровый интерес к битвам и жизни пауков, помечать готовых жить в уюте скукою, губительной для мух. Здесь Бог не играет в кости – не ставит экспериментов, не склонен под запал разъять мир на добро и зло, последнее уничтожить для удобства вечной жизни. В храме Свободы разговоры о вере «абсурдны» – с Господом здесь можно контактировать практически. Но помощи, хлеба и рыбы, сколько ни вымаливай, не дождешься. Для этих дел, признано, «Бог умер». А стоит сделать свободный шаг – в творческом диалоге сознания и подсознания, «покоя и воли» творца откроется присутствие Творца. Вечный есть, «тайно» заговорит душа автора, приходит ко мне, когда меня покидает – спасительно вибрируют во мне. У вольного обитателя храма Свободы есть одна безмерно сложная задача – подлинно «ходить» в заветном обручении с Вечным, жизнетворить на должности Богочеловека. В обители, Богом данной и Богочеловеком принимаемой. По природной остроте зрения и тонкости слуха. Вере единому для всех религий Творцу.

Вольно прихожанину иудео-христианского храма благополучно на собственный счет заблуждаться – в любовном признании свыше не слышать проекцию «голоса» ущербной души, отголосок туземной жадности стать предметом благоволения самого сильного и самого доброго в мире духа, мечты гонимого из плена в плен клана царственно устроить земную жизнь силою посланника могущественного духа. Камерный храм христиан стоит на фундаменте язычества. «Возвышающий обман» не может, считается, мешать счастью жить, поживать, добра наживать. По мнению Александра Пушкина и Александра Блока, славяне Восточной Европы не могут воспользоваться выгодами «обмана». Христианство, уверяют поэты, не вошло в практическую жизнь славян. Русь не имеет социально-исторического нутра – россияне так и не вышли из предваряющего историю общинного уклада жизни. «Настоящая беда Московскому государству», пророчески заявил Пушкин в скрытой полемике с декабристами, их наивной задумкой опереть власть на «мнение народа», таится в низком уровне национального самосознания славян Восточной Европы. Родная сторонущка, убеждал гений, граждански «слепа». По Чаадаеву, не дебютировала в мировой истории. Еще не родилась в ней. Совершает предродовые толчки, «безмолвствует», не выказывает «мнение». Исторически не состоявшаяся нация не может быть носителем этической истины христианства – религии не на что осесть, не из чего возрасти. Русь в творениях поэтов живет «без царя в голове». Без головы. Как Ваня и Катя из поэмы

Блока. Без веры. Искра ереси, пророчествовал автор «Годунова», может разжечь в просторах «Святой Руси» тотальный дух вероотступничества, а духовенство примет и царевубийство, и отщепенство. В трагедии акцентирован эпизод защиты оплота православия иноверцами. Без малого век спустя Русь предметно проиллюстрировала летописное сказание Пушкина. «Избяная» легко отделилась от веры. Впрочем, с государством и верховным духовенством отделилась временно. Под хоругвями «Четвертого Рима» вернулась на позиции «Третьего». Власть из вчерашних видных коммунистов продемонстрировала набожность. На Русь пришла мода носить нательные крестики. Духовенство вновь «обновилось». С Божьей помощью тщится оградить лоно православия от заблуждений протестантских сект. Великий сын Руси сорвал со «Святой» личину святости. Вера для «толстозадой», подхватил вослед Пушкину автор «Двенадцати», похожа на удобную во всех отношениях набедренную повязку. Первобытно «кондовая» в святом праве свободного шага берет в Революции мандат на отделение от православия, отход от веры, сердцем нации не принятой, в уповании на практическую помощь и соучастие Бога ложной. «Революционным шагом» «Исус» уходит от Иисуса. Пути «товарищей» разошлись. Практика свободного шага России глубже и шире практики веры. В этом шаге «Святая» отделилась от ей чуждого – «женственная», «констатируют» поэты, осталась в «слепоте», глухонемоте, утробе самозачатия. Столпы славянского учения о Свободе «тайно» призывают драгоценное отечество, с детской непосредственностью входящее в историю, родить, обновить себя и взять в этом вольном шаге вероучение по исконной приверженности Свободе. Договором со Словом Свободы граждански «назвать» себя. В поэме Блока «Святая Русь» перерождается, в оглушительном «грехопадении» освобождается от вериг и обаяния юродивой. Поэт зафиксировал факт исторический – Россия впала в истерию саморазрушения.

Душа дышит неврозом. Славянская – с истерическим надрывом. Принимать смерть во спасение, извлекать «красоту» из «страдания», «неизъянимо наслаждаться» «гибелью смертного сердца» и видеть в «бездне» «залог бессмертия» можно только в истерии, болезненном желании, «как можно скорее», ощутить себя «утонченным», возвышенным, спасенным. Так дышит гений русского духа. У Достоевского в Дневнике писателя 1873 года («Влас») есть на этот счет признание открытым текстом: «...русский человек... готов порвать все, отречься от всего, от семьи, обычая, Бога...- стоит только попасть ему в этот **вихрь** (В.Б.), роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и самораз-

рушения... Но зато с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жадной самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасет себя сам, ... когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда». В «Двенадцати» Блок блистательно развил мысль любимого писателя. Создал эпиграф российского тысячелетия. Будем надеяться, эпитафию на этом тысячелетии. Далее Русь непременно должна шагнуть от «черты саморазрушения».

Никакая идея не стоит жизни. Кроме Свободы. Жизнь сама приносит себя в «жертву» этой Идее. И живится ею. Свобода «тайно» возвращает живущего к истоку бытия. Русь моя, Жenuшка моя, - говорит в поэме «во весь голос» глашатай «тайной свободы», - ну «понервничала» - и будет, пора «строить город» на этой земле. Особой без «нервов». Свободной. Способной ежемгновенно рождать в себе Человека. Сыновнее, творчески жизнедеятельное начало. Глядишь, далее Русь не оплошает.

Поэма о «тайной свободе» не выпадает из классического русского вопросника. На вопрос «как» поэт ответил рекомендацией с подлинно практическим смыслом на все времена. Бессмертное творение родила жажда Александра Блока спасти себя для этой жизни.

В ответ на возможный взыскующий упрек Господа духу человека достаточно, по мнению Достоевского, молча указать на «Дон Кихота». Доживи Федор Михайлович до выхода в свет «Двенадцати», в качестве подобной индульгенции он, думается, выбрал бы поэму Блока. Наверно, не молча.

- Благослови, Боже, эти стихи подшить к Библии - у славян есть нужда в своем Писании. Им показано особое просвещение. Аминь.

P.S. Бог мой, забыл сказать, что в «Двенадцати» делает Господь. Естественно - ничего. Он и по тексту Библии, решительно ничего не совершает. Никуда не ведет, ничего никому не дает - «дает» становится», «дает стоять» - творчески, свободно, состояться по мудрости и воле задумавшего прийти в этот мир. Это записано в скрижалях нашей души. А психея наша заговорила, по Моисею, Софоклу и Блоку, в мгновение зачина мира. С тех пор Бог - всего-то знак нашей привязки к миру существования, нашей душевненькой рожденного «причинения быть» - волевого намерения прийти в этот мир воплощенной и не утратившей бессмертия.

ЕФИМ БЕРШИН

«БЕЗ ЧЕРТЕЖА И ПЛАНА...»

Памяти Евгения Блажеевского

Праздник не удался. Задумчивые пони, тщетно поджидавшие маленьких двадцатикопеечных наездников, разошлись по конюшням. Продрогшие лебеди попрятались в своих надводных будках, почему-то напоминающих собачьи, оставив пустынной закипающую под дождем поверхность пруда. Ветер принес охапку листьев и бросил на наш стол рядом с пустыми стаканами. За соседним столиком съезжилась пожилая пара, но через несколько минут и ее сдуло. Праздник не удался. «Закрыли мое шапито». И нужно было побыстрее проваливать из этого застывающего пейзажа, чтобы не стать его частью, как те старик со старухой (не наши ли соседи по кафе?), которых Женя позже двумя штрихами впаял в эту картину:

Цветы увядают,
И, словно подбитые птицы,
Старик со старухой
Сидят в опустевшем кафе.

Мы еще посидели немного, словно ожидая, не вернется ли лето, а после побрели в сторону Ботанического сада, вдоль маленького зоопарка, по пустой, продуваемой насквозь аллее. И это был уже не просто ветер. Это было очередное дыхание бездны, отступившей было под лучами короткого лета. И Женя вдруг остановился и как-то опасливо обменялся взглядами с двумя вымокшими у своего загона волками. Нас отделяла крашеная металлическая сетка, и не известно еще, кто из нас был в загоне. Нас отделяла такая прозрачная граница.

• • •

Евгений Блажеевский прожил жизнь на границе. Граница, естественно, была незримой, без пограничных столбов, без погра-

ничников с собаками. Не Женя ее нарисовал, и он же сам не всегда ее различал. И вообще мало кто о ней догадывался. Но она была. И без каждой из сторон ее он не мог жить, но и на каждой из сторон ее - тоже. Так и прошел по лезвию пограничной черты, разрываемый различными полюсами.

В конце шестидесятых дом на Кавказе (в Кировобаде) не ужился с русской поэзией, и Женя стал обитателем московских коммуналок, потащив за собой в столицу собственные корни вместе с кусками почвы, на которой вырос. На Кавказ больше не возвращался - чужое. Хотя через какое-то время признался:

Из мусульманства,
Из дашбашных дел,
Из местной жизни,
Чуждой славянину,
Я непременно вырваться хотел.
И променял
Чужбину
На чужбину.

Москву любил. Подолгу мог бродить по городу, постигая его сырую, размытую дождями пластику. А постигнув, видимо, понял, что любовь получается безответная:

Уйдет Москва - кирпичный старожил,
В котором был я инородным телом.

Он запустил себя в никуда, в зыбкий космос поэзии. Память тянула назад, в кавказскую юность. И она же от нее отталкивала. А действительность выпихивала из настоящего. Космос начинался с подвалов, с грязи случайных жилищ. И ими же заканчивался.

А жил я в доме возле Бронной
Среди пропойц, среди калек.
Окно - в простенок, дверь - к уборной
И рушь с полгиной - за ночлег.

Грязь болела физически. Стихи спасали. Он был аристократом, потерявшим усадьбу. Аристократом на изнаночной стороне бытия. Репатриантом из мрака в пустоту. Это потом аукнулось новой чертой. Уже когда стал владельцем московской квартиры, атавизм бездомности то и дело куда-то гнал. Сознание жило - меж-

ду. Между соседством и бездомностью. Между брезгливой чистоплотностью и грязью. Между аристократизмом и участливым любопытством к изгоям. Они его как-то узнавали. И он почему-то к ним тянулся, хотя потом сам же и пугался. Кажется он им приписывал какие-то потусторонние свойства. Пять лет назад я навестил Женю в больницу, куда его уложил Гена Чепеленко - друг и прекрасный врач. (На сердце Жени, кстати, отыскались два рубца от микроинфарктов, которые он со своей бешеной энергетикой просто не заметил). В уборной, куда мы отправились покурить, стал мне рассказывать, что в больницу привезли бомжа, у которого во рту живут мухи. Я не поверил. Как это мухи живут во рту? А Женя кривился от ужаса и клялся, что сам видел. Были мухи или не были - не знаю. Но строки появились тогда же:

Познавший по окуркам все сорта
Заморских сигарет и злые мухи,
Блуждает бомж, и голубые мухи,
Как искры вылетают изо рта.

Он любил свою страну. И жил между этой любовью и отращиванием к тому, что в ней происходило в последние десятилетия. Это еще одна граница. Как всякий южный человек, очень любил лето. Но всегда ждал осени, потому что осенью приходили стихи. Ждал стихов с нетерпением, но и с некоторым страхом, потому что неизбежно прикасался пером к той бездне, которая эти стихи приносила. Одно и то же и тянуло, и отталкивало. Давало и отбирало. Вдыхало жизнь и приближало к смерти. А он, «чужою раной раненный», так и шел по этой черте, которую сам определил фразой - «косая кромка бытия».

• • •

Эти волки запомнились какой-то своей гротескной, даже фарсовой обреченностью. Потому что явились там, где ни за что не должны были являться. Конечно, этот зверь или, точнее, образ его преследовал Блажеевского всю жизнь. Волки настойчиво прорывались в стихи, кажется, без воли поэта. Прорывались, внушая то страх («А за стеной морозно и темно, И кажется, что где-то воют волки...»), то блаженное осознание общности («Что-то волчье есть в моей дороге...»), то горделивое превосходство, обреченное понима-

ние, что никаким волкам не под силу разделить волчью сущность его, Блажеевского, судьбы:

Беспмятство мое страшней тоски,
Которую приписывают волку.

Но подразумевался всегда именно одинокий волк, хищный и гордый даже в своей загнанности. Женя ведь никогда ни к кому не примыкал. К нему - да, пытались. А он просто не умел жить по чужим законам - законам стаи, не понимал, как это можно врываться в литературу какими-то группами и хвалить то, что не нравится, исключительно потому, что ты с кем-то в одной обойме. Мог, правда, из жалости похвалить какого-нибудь графоманишку, но когда речь заходила о серьезной поэзии, был жестким.

Он очень дорожил людьми, с которыми общался, нежно любил друзей, переживал за них, но, мне кажется, держался на плаву тем, что где-то рядом жили такие же мечущиеся поэты, художники, изгои или, наоборот, с виду благополучные люди, вернее, надевшие маску благополучия, чтобы скрыть от посторонних страшный оскал волчьей неприкаянности. Он уважал чужие таланты, гордо приговаривая по поводу чьего-либо успеха: наши люди все могут. Следил за их творчеством. Общался. Время от времени шараялся от них в страхе, узнавая, как в зеркале, себя. Потом опять возвращался. Потому что их присутствие как бы оправдывало и его земную жизнь. Они подтверждали: настоящий волк всегда оказывается один на один с бездной, ибо его «судьба одинока, как дальний охотничий выстрел».

Один на один.
Мапо а мапо. Страшно?
Не страшно, но только в упор
Со смертью, уже без обмана,
Как раненый тореадор,
Ты встретишься мапо а мапо.

Когда писал - не боялся. Был абсолютно свободен. Потому и не исповедовал никакой религии, и не ходил в церковь, что не терпел любого вмешательства в свои отношения с Богом. Так и заявлял: «Мне не нужны посредники». Но стихи ведь не всегда писались. А в обыденной жизни, пожалуй, было страшновато. И тут спасался от одиночества, как мог. Удивительно умел выбирать людей для общения. Вернее, так: не он выбирал, а они как-то выбира-

лись ему сами. Абсолютно разные, непохожие, несовместимые, они при нем становились единым целым, учились дружить меж собой даже без Жени, словом, обретали одну группу крови. Они спасали. Они старались понять. Они становились для него способом коллективного ухода от страха.

В этом человеке сумасшедшая страсть и тяга к общению всегда соседствовали с горьким одиночеством. И ни он сам, ни близкие ему люди ничего с этим поделать не могли. Его любили и спасали, как умели. А он убегал. Потом покаянно возвращался, недельку не выходил из дома, всем своим видом выражая раскаяние. Именно в эти периоды звонил мне и совершенно искренне возмущался какими-то своими знакомыми или друзьями, которые дошли до того, что неумеренно пьют водку и вообще ведут себя неподобающим образом.

С годами одиночество становилось все более неизлечимым. Вернее, не так: с годами возникло еще и понимание, что одиночество непреодолимо. Это была уже обреченность. Не помогала даже любовь. А ведь любовь была его сутью. Даром что не крещеный. Как-то сказал: «Но мы же с тобой понимаем, что мир пуст и бесполезен, если в нем нет любви. Иногда, когда мне очень плохо, я встречаю на улицах влюбленных. И становится легче. Влюбленные - это как подтверждение тому, что жизнь все еще не напрасна». Так вот, и любовь уже не спасала. Отваливался последний гвоздь, скреплявший с миром. И он это отчетливо видел.

И, как от забора доска,
Оторван от мира людского.

• • •

Еще в семьдесят четвертом написал стихотворение, начинающееся строкой «Я выпадаю из обоймы вновь»:

А мой удел, по сути, никакой.
Во мраке человеческих конюшен
Я заклею квадратной доской,
Где выжжено небрежное «не нужен».

Не нужен от Камчатки до Москвы,
Неприменим и неуместен в хоре

За то, что не желаю быть как вы,
Но не могу - как ветер или море...

Здесь, может быть, ключ к основной трагедии: природное неприятие любой несвободы и в то же время невозможность достижения абсолютной свободы в том виде, как он ее понимал. «Как ветер или море». Плоть мешала. От нее он постепенно всю жизнь и избавлялся. Но это не было медленным, растянутым на годы самоубийством. Нет. Это было попыткой одолеть плоть духом.

Вообще-то это отчаянное бегство от несвободы началось давно, чуть не с первых шагов. Несвобода всегда бежала следом, наступая на пятки, мимикрируя, приобретая разные формы. Но по сути это и была естественная для этого мира охота на одинокого волка, не столько не желавшего «быть как вы», сколько не умевшего. Стрелки забегали неожиданно, со всех сторон, и было все равно уже, в какую сторону бежать. А потому - «Лицом к погоне», как он гениально точно назвал свою книгу.

Вначале казалось, что все дело в советском режиме, который он не любил, да и любить не мог при всем желании.

Мы в пене сада на траве лежим,
Портвейн - в бутылке, как письмо - в бутылке.
Читай и пей! И пусть чужой режим
Не дышит в наши чистые затылки.

Потом оказалось, что дело не то чтобы не в нем, но не в нем одном. Уж писать-то он Блажеевскому не мешал. Да и книжка «Тетрадь» вышла еще в восемьдесят четвертом. А что касается свободы мирской, материальной, то она бывает двух видов: либо человек должен быть очень богатым, либо совсем нищим. Женя с аристократическим видом балансировал на грани нищеты, что, кажется, до поры не очень смущало. Потому что эту свободу обставить необходимыми атрибутами было не сложно: «А что еще надо для нищей свободы? - Бутылка вина, разговор до утра...» Но и это на поверку не оказалось свободой. Только иллюзией свободы. Но иллюзия, а потом и наркотическое стремление к ней, притягивала, затягивала смертельной петлей, из которой ему все-таки удавалось вырваться. Спасал охранительный инстинкт. Но хотя по его же словам из стихотворения «Дорога» «Судьба растет, как дикий виноград, Как дерево, - без чертежа и плана...», направление этого роста, тенденция судьбы была ему уже очень хорошо понятна. Помню, когда он писал свой знаменитый теперь венок сонетов

«Осенняя дорога», заклинал меня, а, скорее, через меня - себя, что об Этом он должен сказать и скажет все честно. Получилось кратко, но исчерпывающе:

Безрассудному пьянству не буду искать объяснение,
Но насколько оно безрассудно сказать не берусь.

Все в своем стиле. Без философий. И не нам теперь отвечать на вопрос, на который он сам не стал искать ответа. И точно ведь пьянство не было безрассудным, потому что его требовал рас-судок.

Из Жени вообще философ был никакой. Он и в споре ничего не мог доказать - только злился и шумел. Зато он умел доказывать стихами. И тут уж - никаких доводов против, потому что в стихах никогда ничего не придумывал, полностью полагаясь на тот шепот из-за спины, который пугал, конечно, но и давал облегчение, если хотите, окрыление. В том, что пишет, был убежден абсолютно, в том, как пишет, иногда сомневался, названивал друзьям, проверяя на них варианты стихотворений или отдельных строк. Слушал внимательно, иногда соглашался, но жестко пресекал любую попытку посягнуть на суть написанного, которую в каждом случае знал он один. А сутью и целью было - максимально точный перевод с Божьего на русский, доступный и внятный, для чего к концу жизни почти полностью отказался от метафор. Они ему были не нужны, уводили в сторону, затеняли суть красотью, мешали из земной провинции говорить языком небесной метрополии.

В провинции такая глушь,
Что обойдемся без метафор.

Так вот, этому максимально точному переводу мешала недостаточная свобода. И он упорно отбрасывал все - закрепощавшие условности бытия, авторитеты, идеологии, дни недели («Свобода жить без мелочных забот, Свобода жить душою и глазами, Свобода жить без пятниц и суббот, Свобода жить как пожелаем сами...»). Потом добрался до отрицания такого философского понятия, как время, и, наконец, подверг сомнению угодность этого мира его Создателю. Все. Очистил свое восприятие максимально.

Это пришло где-то в начале восьмидесятых. Мы бродили без дела по Москве, Женя был светел, силен, одухотворен и бубнил несколько строк:

Когда я верить в чудо перестал,
Когда освободился пьедестал,
Когда фигур божественных не стало,
Я, наконец-то, разгадал секрет, -
Что красота не там, где Поликлет,
А в пустоте пустого пьедестала.

Эти свои самые философские, может быть, стихи писал еще несколько лет (всего-то три строфы!). Но в каждой последующей - четкая динамика освобождения. То есть он именно повернулся «лицом к погоне», лицом к пустоте. Он начал с ней сливаться.

Потом я взял обычный циферблат,
Который равнодушен и усат
И проявляет к нам бесчеловечность,
Не продлевая жалкие часы,
И оторвал железные усы,
Чтоб в пустоте лица увидеть вечность.

А увидев, окончательно успокоился. Он получил абсолютную точку отсчета, позволившую взглянуть на все окружающее как бы со стороны и разочарованно вздохнуть.

Потом я поглядел на этот мир,
На этот неуютный Богу пир,
На алчущее скопище народу
И, не найдя в гримасах суеты
Присутствия высокой пустоты,
Обрел свою спокойную свободу.

Любопытны вариации пустоты в исполнении совершенно разных людей, с которыми мне довелось общаться параллельно в последнее десятилетие. Философ Григорий Померанц, ссылаясь на рублевскую «Троицу», заговорил об условной животворящей пустоте, способной объединить в наше раскольничье время страну. Писатель Андрей Синявский в «Прогулках с Пушкиным» догадался о пушкинской пустоте, которая одна и давала ему возможность максимально воспринимать диктуемое извне, записывать и таким образом избавляться от написанного. (Чем еще, кстати, страшна для поэта несвобода - ненаписанными стихами. Ненаписанные стихи - как шлаки в крови, постепенно перекрывающие доступ кислорода.) Поэт Борис Чичибабин не уставал рассказывать, какой

он пустой и никчемный человек, и чуть ли не с недоверием глядел на собственные стихи, не понимая, откуда они берутся. Блажеевский же поступил как ребенок, раздирающий куклу, чтобы узнать, каким образом она говорит «мама». Разгадав значение бездны, он ринулся ей навстречу, чтобы посмотреть, как она устроена.

• • •

Следует сказать особо еще об одном аспекте свободы - о свободе для страны, для России. Женя был удивительным, страстным патриотом. Патриотом, не ведающим паспортных наций (тем более, что в нем самом было намешано с полдесятка кровей), патриотом, четко тем не менее различающим свое и чужое. Чужое мог уважать, мог любить, а за свое - болел. И болел порой тяжело. Болел от всех передраг, выпавших стране, болел от навалившихся на нее унижений, от глупости и вороватости вождей, ругался, глядя на происходящее, но не прощал тому, кто отзывался о России отстраненно, холодно, безучастно. Россией надо было болеть. И он болел. Все, связанное с Россией, должно было быть лучшим. Доводов никаких не принимал. Особенно забавно это проявлялось во время футбольных трансляций, когда он победу или поражение сборной напрямую проецировал на состояние дел в стране. Спустя месяц после Жениной смерти мы с Олегом Хлебниковым подпрыгивали на креслах в Питерской гостинице, глядя, как наши обьрыгают французов в Париже. А когда все закончилось, чуть не одновременно вздохнули: эх, Женька не дожил!

Происходящее со страной отзывалось в его бедном сердце напрямую:

Сжимается шагрень страны
И веет ужасом гражданки
На празднике у Сатаны,
И оспа русской перебранки
Картечью бьет по кирпичу,
И волки рыщут по Отчизне,
И хочется задуть свечу
Своей сентиментальной жизни.

При этом Женя уже все понимал, все обдумал и за пределами стихов. «Русский народ, - говорил он, - не стал, к сожалению, в нашей стране тем основополагающим ядром, каким, например,

стали англосаксы для США. Замордованный вначале коммунистами, а потом и посткоммунистами, он согнулся под непосильной ношей. Не может быть лидером самый бедный, измученный, растерянный. Распад был, скорее всего, не столько неизбежен, сколько необходим. Потому что та тяжесть, которую взвалил на себя русский народ, оказалась ему не по силам. Именно здесь кроются наши сегодняшние беды и неприятности».

Но, конечно, не столько политические границы его интересовали, не столько количество оставшихся за Россией земель, сколько очевидный распад русского культурного материка. А уж это-то было для него точно смерти подобно.

Освобождаясь от лошадиных шор,
Толпа берет билеты до америк,
И Бога я молю, чтоб не ушел
Под нашими ногами русский берег...

В своем стремлении к свободе народ пошел на самоубийство. Тут круг замкнулся, и Блажеевский, дошедший в поисках своей личной свободы до конца, остановился в растерянности:

Российская сущность свободы -
Распад, растворение, мрак...

Мне кажется, Женя не успел сообразить, что «российская сущность свободы» близка к свободе абсолютной, поскольку граничит с бездной. И именно в этом смысле Евгений Блажеевский - истинно русский поэт.

• • •

Так вот, волки эти не должны были появляться здесь, в Женином Эльдorado, в сказочной его стране начала восьмидесятых. Да, с миром всегда было «Несовпадение. Путаница карт...». И именно к этому времени Блажеевский окончательно понял, для Кого пишет. Все чаще отказывался от публичных выступлений, хотя читал здорово. И даже публикации его стали интересовать исключительно как средство заработать немного денег. Но он нашел себе заповедник, загон, огороженный высоким забором, в котором с удовольствием проводил летние дни.

Тогда я частенько слышал по утрам в телефонной трубке: «Старик, пошли на выставку». И мы шли на выставку. Выставкой у Жени называлась ВДНХ. Тогда, до эпохи рекламы и тотального бизнеса, особенно в будние дни выставка выглядела островком иного, беспроблемного, мира. Здесь были пруды, лебеди, зоопарк, лошадки, тенистые аллеи и много-много маленьких и дешевых забегаловок. За вход надо было платить, но Аркадий Пахомов знал тайный ход со стороны киностудии, и мы проникали бесплатно. Да, мир не принимал, но здесь у «горсточки потерянных людей» было все, что нужно для «нищей свободы». И кто знает, может быть в лужице разлитого по столу портвейна Жене мерещился пьяный корабль Рембо, с блеском им переведенный, а в шуме фонтанов - экзотическая Аргентина, в которой он никогда не был, но где хотел бы родиться для новой жизни.

Но все же я хочу родиться вновь
Не на угрюмом Севере, а, скажем,
В далекой и прекрасной Аргентине,
Где танго и цветы, как на картине...

Заходить в павильоны и глазеть на достижения советского народного хозяйства, конечно, никому в голову не приходило. Хотя изредка попадались выведенные из стойла прямо на аллеи огромные пятнистые коровы и отменные рысаки. А вот крытые дырявым шифером забегаловки внушали покой и раскрепощение. Вчерашние пельмени с кисловатой сметаной прекрасно дополняли бутылку вина, чтение стихов и долгие разговоры. Женя чувствовал себя превосходно и поминутно через стекла очков заглядывал мне в глаза, желая удостовериться, что я тоже счастлив.

Но короткое московское лето заканчивалось, как всегда, неожиданно. А осень... Осень у него была своя. Осень для него была не просто временем года - синонимом ухода. Осенью бездна подступала вплотную, вместе со стихами. Порознь они к Блажеевскому не ходили. И потому с первыми дождями и северным ветром, в тот промежуток, когда лето уже кончилось, а стихи еще не пришли, на него было больно смотреть. А потом, где-то к началу октября, ко дню рождения он уже приходил в нормальное состояние и - с новыми стихами.

Не случайно его главное, на мой, конечно, взгляд, произведение - «Осенняя дорога». Он ее писал десять лет. Магистрал уже давно был опубликован, из него сделали несколько песен, а все остальное еще писалось и писалось. «По до-ро-ге в Заго-о-рск», - тянул Александр Подболотов в фильме и со сцены. «По до-ро-ге

в Заго-о-рск», - пела Бичевская. А Женя в это время все еще, как натюрморт в раму, втискивал всю свою жизнь, всю свою осеннюю судьбу в эти четырнадцать отрывков. (Марина Кудимова, друг называется, по иронии судьбы депутатствовала в перестройку именно в Загорском районе и расстаралась, чтобы название «Загорск» навсегда исчезло с географической карты, оставшись только фактом Жениной поэзии).

А в последнюю осень случилось непоправимое: сентябрь пришел без стихов. И октябрь тоже. Домучился до запасного на этот случай декабря - мимо. Потом заговорил о смерти.

Интересно, что случилось с теми волками с «выставки»?

• • •

Последнюю, третью книгу, выхода которой так и не увидел, Блажеевский назвал «Черта». Эпоха подвела черту под ним, а он - под эпохой. Или не под эпохой даже - под веком, тысячелетием, под целой эрой развития человечества. При этом я совершенно далек от мысли поспешно превозносить своего друга до небес и награждать превосходными эпитетами. Только время все назовет своими именами. Но просто так случилось, так совпало, что он стал современником гигантских революционных процессов, бродящих по нашей земле уже целое столетие и именно в наши дни приобретающих реальные очертания. А поскольку уж Женя чуял «запах талых вод, Как раненую дичь собака», то он и их, естественно, учуял, и они превратили прекрасного интимного лирика, каким он был рожден, в одного из самых значительных поэтов конца века.

Он говорил: «Лично мне неуютно еще и потому, что мы, по всей видимости, находимся на новом витке человеческого познания и сознания, которые мне уже не преодолеть. Мы присутствуем на процессе, когда изменяется мышление, переоценивается культура, умирают религии в том виде, в каком они сейчас находятся. А вместе с религиями умирает, к сожалению, книга... Уже сейчас многие поэты называют свои стихи текстами. Все это печально. Но надо смотреть правде в глаза: процессы эти неотвратимы, и нам не дано их предотвратить. По этому пути идет человечество. И мне, честно говоря, несмотря на все ужасы и кровопролития, хотелось бы чуть-чуть подольше задержаться в двадцатом веке с его пониманием традиций, эстетики и красоты. То, что грядет в грядущем столетии, мне чуждо».

И вот совсем немного лет
Осталось до скончания века,
В котором был один сюжет:
Самоубийство человека.

.....
Но я, смотря ему вслед,
Пойму, как велика утрата.
И дорог страшный силуэт
Стервятника
в дыму заката!..

Осуществил желание. Остался в XX веке навсегда.

Все сошлось и затянулось петлей. Сбежавший когда-то с Кавказа от «дашбашных» дел (ты - мне, я - тебе), через два с половиной десятка лет Женя вдруг обнаружил, что они догнали его в Москве и стали государственной политикой. Перевод человеческих отношений на коммерческие рельсы, поворот к деньгам как к высшей ценности был ему омерзителен. Русская культура, которая одна всю жизнь и держала его не плаву, дала, на его взгляд, очевидную трещину, как «Титаник» напоровшись на гигантскую подводную плоть. Плоть побеждает духовность. Мир избавляется от культуры. «В глобальном плане,- говорил Женя,- культура уже не учитывается, как не учитываются и особенности наций. Тело пожирает душу». Войну на Балканах он так и воспринимал, как агрессию плоти против духа, против национальной самобытности, мешающей распространению плотских ценностей нового века. Говорил, что ему стыдно жить.

Когда писал стихотворение о 1972 годе, «немытом, словно кружка в общепите», все же назвал его прекрасным, потому что «молодость была и потому Со мною времена не совпадали». Теперь они опять не совпали. Но уже не было молодости. И не было сил. И стихи стали изменять.

Женя не привык ходить в ногу. Он не пожелал менять знание и сознание вместе со всем человечеством. Он сделал это сам, по-своему, материализовав собственные строки из стихов, написанных в память матери:

...и ко мне
Долетит известье от мамы,
Что не только она, но и я,
Забывая ненужное знание,
Обрету в темноте бытия,
Как бессмертье, другое сознание...

АНАТОЛИЙ ЗАСЛАВСКИЙ – ВАЛЕРИЙ ЧЕРЕШНЯ

РАЗГОВОР ЖИВОПИСЦА С ПОЭТОМ

22.12.08

Валерик! Володя думает, что наша с тобой беседа, связанная с выходом в свет «Шепота Акакия»¹, украсит майский номер его журнала. Сейчас попробую беседовать. Мое участие в этой беседе может быть интересно только, как попытка неспециалиста понять загадку иного языка. Хотя, в данном случае, когда я читаю твои стихи, я прочитываю скорее очень важные для меня мысли..., а не стихи. Это даже не мысли, а окончательное решение проблемы. Ну, например, «Вариации на вечную тему» или «Все, что есть», или «Ветер смерти унес шелуху слов» и многие другие стихи-не стихи. Что такое здесь происходит? Здесь смертельно уязвленный человек погружается мыслью в свою уязвленность и находит там слова, которые есть лекарства от этой смертельной уязвленности. Точность слов, ясность высказывания просто завораживает, но человек не намерен выздоравливать, он погружается в ту же смертельную уязвленность с другой стороны и с третьей..., и достает все новые слова-лекарства. Что же происходит? Или выздоровление происходит только на словах или проблемы существуют для того, чтобы писать как можно больше стихов? Скажи мне про это.

23.12.08

Дорогой Толя! Ты пишешь, что в моих стихах прочитываешь мысли, а не стихи. Рискну предположить, что тебе удастся прочесть мысль во всей ее полноте или, как ты пишешь, смертельной уязвленности именно потому, что она существует в стихотворной форме. Что это значит?

Возьмем первые две строки упомянутого тобой «Ветер

¹ Валерий Черешня. *Шёпот Акакия. Алетейя*, СПб., 2008.

смерти унес шелуху слов / выдул внутри пазуху пустоты»². Да, «ветер смерти унес шелуху слов» всего лишь мысль о страшной пустоте, остающейся после смерти близкого человека, но если бы ты не услышал завывания сквозного «у» во второй строке, отдающегося гулким эхом, никогда эта пустота (и мысль о ней) не явились бы тебе в полноте своего существования. Ветер начинает дуть уже в первой строке («унес шелуху»), но вполне он разыгрался и стал пронзительным, как зимой на кладбище, во второй. Не говорю уже о заряженности рядом стоящих слов, перекликающихся род-

*² Ветер смерти унес шелуху слов,
Выдул внутри пазуху пустоты,
А меня, нырнувшего в прорубь снов,
Даже там редко навещаешь ты.*

*Да и что там делать в этом моем сне:
Ну, обнимешь, ну, пару знакомых фраз
Пробормочешь, и то непонятно – мне
Или так, никому – и молчанье обстанет враз.*

*Хуже нет твоего молчания, хуже нет.
Ты не хочешь множить монблан чепухи
Или так громадно молчит тот свет,
Что словесной в нем не сыскать трухи?*

*Как же мне в молчаться теперь в твои
Бестелесные дали и голые стертые дни?
То ли новый отбойный язык придумать, слою
Небытия сбивающий, то ли*

*Пробурить картинку, манивирую глаз,
И внедриться в родные отныне тебе пласты.
Но закрыт живущему этот лаз,
Сколько б он ни пытался мараить листы,*

*Воссоздать пытаюсь любимый тобою скрип
Авторучки или буковок-клавиш стук,
Лишь теперь понимая, как безнадежно влип
(Помнишь, или под карнизом корявых лип?)
В эту видимость, в слово и просто в звук.*

ственными звуками и становящимися некими кентаврами звуко-смысла (ветер-смерти), они возникают бессознательно и воздействуют бессознательно, но в том же направлении более глубокого восприятия мысли, звукового подтверждения ее права на существование. Что же касается нежелания выздоравливать от «смертельной уязвленности», т.е. от жизни, то выздоровление это приходит со смертью физической или духовной (равнодушные) – ни того, ни другого я пока нам не желаю. Если же ты имеешь в виду, что я специально растравляю одну и ту же рану, чтобы иметь «материал» для стихов, то это вряд ли возможно, да и не нужно – лечат не слова сами по себе, а полнота звуко-смысловой выраженности, которой автор вполне никогда не достигает, но с которой соглашается, прожив со стихотворением столько, чтобы оно пропиталось хотя бы частично тем, что потом мы, за неимением другого, называем именем этого поэта – Тютчев или Мандельштам или Баратынский – и что не сводится только к набору формальных приемов.

Кстати, именно поэтому я считаю, что стихи требуют многократного прочтения, там есть что открывать. Конечно, если это стихи, т.е. роман о сложных отношениях человека со звуком и смыслом.

27.12.08

Валерик! Во-первых, ты меня неправильно понял. Я не говорил, что ты пишешь не стихи, я говорил, что ты пишешь стихи, но это стихи-нестихи, то-есть, такие специфические стихи. Сейчас я объясню свою мысль на примере этого действительно гениального стихотворения “Ветер смерти...” Во-вторых, мысль об утрате близкого человека не нуждается в том, чтобы ее достоверно изобразили с помощью слов или звуков. Те, кого эта мысль коснулась, знают ее в нестерпимой полноте и ужасности. Так что, великая твоя способность с помощью звукообразов внимательно взглядеться в происходящее скорее уводит в сторону от болезненной темы в пространство языковых возможностей. Так как твоя мысль имеет отношение к небытию, то появляется абсолютно точная фраза «...молчанье обстанет враз». А потом происходит возвеличивание ужасного молчания ушедшего близкого человека и поклонение его молчанию, как Богу, и Иаково противоборство:

*...или так громадно молчит тот свет,
что словесной в нем не сыскать трюхи?*

*Как же мне в молчании теперь в твои
бестелесные дали и голые стертые дни?
То ли новый отбойный язык придумать, слою
небытия сбивающий, то ли...*

– эти стихи звучат так грандиозно! Видно, что поэт в тебе разгадал интонацию Бога, в Нее вошел и с Ней опять согласился.

Но в последней строфе ты возвращаешься к «реальности», чуть уставший от путешествия в Безответность ушедшего отсюда. Стих-мысль возвращается

в эту видимость, в слово и просто в звук.

Возвращается, уже смирившись с неразрешимостью проблемы.

Вот это путешествие мысли от страдания из-за неразрешимости проблемы к констатации ее неразрешимости и окончательное принятие ее неразрешимости, выраженное словами и звукообразами, я назвал стихами-не стихами.

Но сноски:

(...помнишь, или под карнизом корявых лип) –

это привет из простого, в моем понимании, стихосложения звучит здесь на редкость свежо и дает надежду решить или обойти проблему с другой стороны. А ты что скажешь?

30.12.08

С какой другой стороны можно обойти проблему, дорогой Толя? И существует ли проблема, в данном случае смерти близкого существа, вне ее стихового, звукового наполнения? Вне искусства эта проблема вводит нас в тяжелый ступор, который лечит только время, или сводится к пошлейшему анекдоту «умер- шмумер, лишь бы был здоров». Зависит от чувствительности.

Но принятие неразрешимости проблемы, как ты точно пишешь, и есть ее разрешение. По крайней мере, в границах искусства. В этом смысле оно – урок смирения. Но «пространство языковых возможностей» никак не уводит «в сторону от болезненной темы», оно наплывает на нее, становится ею. Представь себе, что исчезновение столь необходимого нам близкого человека, звука его

речи, вместо сказанного «...молчанье обстанет враз» было бы выражено теми же по смыслу словами, но другими. Ведь та теснота, доходящая до клаустрофобии, которая есть в слове «обстанет», с его тоскливым воющим «а», и резкое «враз», как удар топора, обрубающий все надежды и возможности, вместе они и являют собой ту ватную глухоту, в которую мы погружены, они ее доносят во всей неразрешимости до стонущего сознания.

Как это происходит? Не так ли, как в твоём искусстве, живописи, в котором, как ты неоднократно утверждал есть только соотношение красок на плоскости, да фактура мазка – след движения кисти. И тем не менее, зритель воспринимает психологическую достоверность образа в случае портрета или «уязвленность» художника пейзажем, а в лучшем случае, художник заставляет его всмотреться в то, во что сам всматривается, как бы не находя ответов (неразрешимость?), но заражая своим цветовым переживанием события (принятие неразрешимости?).

Ты мне посоветовал посмотреть «Эзопа» Веласкеса, выставленного сейчас в Эрмитаже. Все значащие атрибуты, изображенные на картине (кувшин, тележка и т.д.) ничего не значат на этом полотне, там ведь нет и живописи в привычном (тициановском или рембрандтовском) смысле слова, почти монохромная коричневая хламида, глинисто-бледное лицо, но образ получился настолько мощным, открыто человеческим, что, похоже, к нему применима фраза «се человек». Но как это получилось мне неведомо, поскольку я залез в чужую вотчину, твою. Есть ли в восприятии профана что-то, чего добивается и сам художник, или это неизбежно разные вещи, и зритель использует картину, как подспорье для собственных фантазий и иллюзий? Но ведь и художник, порой, выступает в качестве зрителя, или он смотрит принципиально иначе, как знающий сокровенный язык? Это уже вопросы, касающиеся тебя непосредственно, даже если у тебя нет ответов, должны быть любопытные мысли на сей счет. Которых я и жду.

04.01.09

Валерик! Я хочу тебе сказать, что ты, вероятно, прав во всем, что связано со звуковой и любой другой формальной наполненностью искомого содержания, но меня заинтересовало в твоём творчестве, скорее, в тебе невиданное бесстрашие, с которым ты залезаешь в холодное чрево отсутствия всего и вылезает оттуда, переполненный словами и образами. В искусстве живописи не-

возможно взглядевшись в пустоту увидеть что-то, к сожалению. К Эзопу это тоже относится. По поводу Эзопа ты сказал абсолютно точно – Се человек. Это сконцентрированная правда о человеке. Как и где Диего Веласкес нашел и увидел этого человека – это загадка, но как он исполнил увиденное – это очевидно и понятно, и прекрасно. Психологическая неординарность лица Эзопа закрыла для тебя всю остальную информацию, исходящую от картины. Во-первых, там есть «живопись в привычном, тициановском или рембрандтовском, смысле». Там нет «почти монохромной коричневой хламиды» и нет «глинисто бледного лица». Там есть очень точный цветовой аккорд, сделанный с помощью хламиды, цвета очень плотной охры, сложного по содержанию зеленовато-серого фона, волос, окружающих лицо сверху плотным серебром, и в обрамлении этого богатства звенящее, почти неестественно розовое лицо и неприкрытый треугольник груди. Этот розовый, чуть известковый звон лица ясно впечатан, прямо распластан на плоскости. Из-за этого разлетелись так далеко по сторонам глаза, так четко рисуется горизонтальная тень под носом и решительно проведен рот с чуть оттопыренной, но ясно подтверждающей плоскость картины, нижней губой. Менипп, висящий рядом, совсем не распластан. Он глядит, как будто из-за угла, как будто исподтишка, весь вполборота. А у Эзопа – светлое лицо с клином груди, пониже откровенный клин тряпичного пояса, указующий острием на книгу, от пояса вниз несет узкая темная линия тени между лапами халата, которая втыкается в правую ногу и разбрызгивается тряпкой на кадушке, левой ногой и тенью от ноги. Все это и многие другие точности цвета и тона делают мудрого Эзопа таким достоверным, а саму картину ясной, осмысленной и щедрой – вся на показ.

Кстати, как это ни смешно звучит, в портрете Кушнера я хотел добиться чего-то подобного. Некоторая официозность в моем портрете тоже оттуда. Советский реализм выполз на 80% из Веласкеса и Франса Хальса.

06.01.09

Вот видишь, Толя, насколько ясно ты видишь картину в языке, на котором высказывается автор, и насколько к прочим она повернута другими сторонами: содержанием, «психологической неординарностью» и т.п. Есть психофизиологическое воздействие цвета, которое переживают все в той или иной степени, но для обычного зрителя оно отделено от значащих, содержательных моментов картины, а для тебя являет саму ее суть. Но для чего-то художник,

если он не абстракционист, обращается к зрителю в понятных ему и себе образах (естественно, не забывая о языке цвета). Это ведь не просто уступка неумению зрителя непосредственно воспринимать драматургию цветовых соотношений и желание быть понятным? Есть в этом что-то важное и для самого художника, положим, для самого Ван Гога важно, что черные птицы над полем это именно птицы, а не черные пятна? Конечно, все дело в мере, и избыток психологизма и «содержания» уводит от переживания цвета как такового, но где-то есть точка их соприкосновения? И здесь мы возвращаемся к тому, что ты определил как «бесстрашие, с которым ты залезаешь в холодное чрево отсутствия всего и вылезает оттуда переполненный словами и образами». Мне кажется, любой художник вынужден поступать таким образом, у него просто нет другого выхода. Вместе со всеми людьми он вначале мечется в неразрешимом для сознания противоречии между эгоизмом, несмолкающей песней инстинктов, и конечностью человеческого существования, т.е. бессмысленностью следования этим инстинктам. Вся социальная жизнь строится на изживании этого парадокса, нежизнеспособные крайности отпадают, иначе мы бы всегда жили в изнеженном себялюбивом обществе времен «расцвета-упадка» римской империи или самоотверженно-фанатичном, самоубийственном мире, который являли еретические секты или поклонники джихада. Жизнь всегда пролазит в щели между этими крайностями, невидимые для сознания, с его бычьей упертостью в красную тряпку двоичности, в вечные «да» и «нет». Но пена социальной жизни всегда колеблется в такт принятия-отторжения одной из этих крайностей, и когда художник осознает, в какое броуновское движение он вовлечен, у него остается только один путь. Стать самим собой. А это означает нырнуть в глубь себя, гораздо глубже уровня, где совершаются эти вечные колебания, где, по сути, есть одна пустота. И решается он на этот нырок потому, что всегда надеется, что на глубине ему удастся оттолкнуться от самой сути (идеи) языка его искусства и вынырнуть с уловом образов, сущностно, в самом языке совпадающих с происходящим. Так цирковой гимнаст надеется на память мышц, во время головокружительного полета приводящих его к устойчивой поверхности. И мне не очень понятно, почему именно художника-живописца ты исключает из этого правила, считая, что ему ничего не дает вглядывание в пустоту. Возможно, мы немного по-разному пользуемся словом «пустота», но это неизбежно в «рефлексирующем» тексте; только в стихах (или прозе на уровне гоголевской) смысл и звучание слова сходятся настолько, что не оставляют сомнения в том, что они значат.

12.01.09

Валерик! Тут много разных тем. Первое, это то, что абстракционист или неабстракционист – не имеет значения, потому что всегда на поверхности холста есть только организация верха и низа, левого и правого, вертикального и горизонтального, темного и светлого, теплого и холодного и т.д. А то, что профан считает «содержанием» – это из области канонов, то есть, гласная или не гласная договоренность, как надо изображать предмет или изображать беспредметность, чтобы передать необходимое «содержание». Я помню, такой случай: приехала из Германии моя племянница, выбрать картины для дома. Скучно разглядывала мои пейзажи и сказала, что ей для дома нужны абстрактные картины. Это значит, что германский обыватель «понятные ему образы» видит в беспредметных изображениях. Для обывателя искусство – это более или менее упорядоченная среда обитания из «актуальных», модных сейчас формообразований. Для творящего язык искусства – это попытка снять душераздирающие вопросы жизни и смерти. Во всяком случае, жизнь и смерть не так бессмысленны, когда хоть как-то обозначены.

Мне кажется, что есть два значения у слова «пустота». Первое значение появляется, например, в результате исчезновения близкого человека, когда в связи с этим прерывается, казалось бы, непрерывная ткань бытия и ты проваливаешься в ужас отсутствия всего, всего... Второе значение появляется в пространстве художественного, а, может быть, и научного языка. Творец форм, болезненно переживая затертость образной и смысловой свежести и ясности, отказывается на время от всяких формообразований, погружается в блаженную пустотность сознания и выходит оттуда способным заново видеть и называть. Живописец, заглядывая в пустоту первого значения ничего там не видит и ничего оттуда не приносит, потому что для называния действительного отсутствия всего у него нет средств.

14.01.09

А как обстоит дело у живописца со вторым значением слова «пустота», когда, как ты пишешь, отказываешься от затертых формообразований, погружаешься в пустотность сознания и выходишь

оттуда способным заново видеть и называть?

«Затертость формообразований» – побудительный мотив резких сдвигов в искусстве, поисков новой выразительности, крайностей и уродств, вплоть до пренебрежения самим языком данного искусства. Пожалуй, самым резким выражением аллергии на затертость словоупотребления было отторжение от символизма в начале прошлого века, и только здоровое чутье Мандельштама, Ходасевича и еще нескольких поэтов позволило им не соблазниться секучей речью Маяковского и кавалерийскими набегами Тихонова и прочих. Но рано или поздно, внутри любого новомодного течения, вполне согласного с «духом эпохи», появляется художник с нутряным чувством языка, способный гармонизировать его (течения) вывихи. А если не появляется, течение бесславно канет в Лету.

Как ни крути, в словесных искусствах, в самом слове есть две составляющие – звуковая и смысловая, и лучше всего их умели сочетать классики, те же – Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Тютчев. Обо всех остальных мы судим по отклонению, нарушению этой меры, как о степени невротизма – по отклонению от условной нормы. Другое дело, что у больших поэтов, таких, как Заболоцкий, Пастернак, происходит гармонизация смысла и звука на другом уровне и для других читателей. Впрочем, вершинные их достижения все равно попадают во вполне «классическое» поле, в идеальное совпадение звука и смысла или сознательное использование их расхождения.

Есть еще одна проблема, которую хотелось бы затронуть, и касается она упомянутого «духа времени». Мы говорим о языке искусства, как о незыблемой и вневременной ценности. Но ведь восприятие мира (а, значит, и искусства) меняется. И художник – человек своего времени. В искусстве происходят открытия не меньшие, чем в науке, причем, часто независимо и одновременно, поскольку обусловлены одним и тем же: изменившейся картиной мира. Мне всегда казалась открытая Прустом картина мира, столь зависимая от воспринимающего персонажа, что вопрос о самом событии, «что же было на самом деле» теряет смысл (ревность Свана, изменение взгляда Марселя на людей и родные места с возрастом) сродни эйнштейновской теории относительности, причем, на самом существенном уровне. Или проза Кафки, в которой мельчайшие, почти незаметные сдвиги вызывают катастрофические последствия, пусть только в сознании героев, – не сродни ли это квантовой теории? Видимо, это носилось в воздухе и чуткое сознание художника вбирало в свое экзистенциальное переживание то же, что в науке описывалось языком математики. Конечно, язык искусства, в том смысле, как мы употребляем этот термин, остается тем же, но им

выражается новое мирозерцание и возникает соблазн отнести это за счет новаций самого языка. Так меняется язык или только его употребление? Вот ты говорил, что язык живописи возник у венецианцев. А до этого – его вообще не было? И так ли специфичен этот язык, или языком фрески (положим, Мазаччо) можно сказать совершенно то же, что языком живописи на холсте?

19.01.09

Все-таки, если бы не было «пустоты» в ее первом значении, нам бы не было смысла заниматься формообразованием. Ведь ничего не увидев в «пустоте», в которой ничего нет, художник или ученый (мне кажется, ты абсолютно прав, когда проводишь параллель между Прустом и Эйнштейном) начинают строить модель Мира в надежде объяснить самому себе на языке, масштабном человеческому восприятию, что же, на самом деле, происходит в том огромном Мире, куда нас забросила судьба с неизменным условием нас отсюда выдворить, так и не дав нам понять, зачем мы здесь побывали. Таким образом, отвернувшись от «непонятного» (вещи в себе) мира, мы стали жить в «понятном» искусстве или науке. Так вот, у живописца при помощи второго значения слова «пустота» происходит вот что. Начнем с Ренессанса, потому что мы вроде бы наследуем проблемы этого времени. Предшествовавшее Ренессансу Средневековье создало абсолютный по ясности и совершенству изобразительный язык, которым пользовалось для росписей сперва на стенах храма, потом на деревянных досках, которые назывались иконами. Смысл для мастеров тех времен был один – избежать всяческих случайных, изменчивых переживаний. Добро осуществляется Богом, ангелами, святыми и пророками. Зло – Сатаной, чертями и греховными людьми. Смысл был навсегда один, поэтому его фактически не было. Зато «звук» или, в нашем случае, изобразительная форма была свободная и изумительно ясная. Она была лишена всякой натуралистической мелочности, и разнообразным способом подтверждала свое совершенство. И, как говорят, «кому это помешало»? Просто пришли новые времена, и кому то одному, а потом другому, а потом многим захотелось, чтобы ангелы потеряли бесстрастное выражение лица и стали бы страдать и плакать, и улыбаться, чтобы архитектурные объекты уходили в глубину, чтобы голубые дали на горизонте, возбуждали надежду на вечное счастье, чтобы люди, звери и предметы были бы освещены обычным светом, чтобы в нарисованный парк захотелось бы войти погулять, вишен-

ку на столе съест, а обнаженную богиню хотя бы потрогать. Таким образом, смыслов стало много, а изобразительная форма стала подчиняться приемам иллюзорности и имитации зримого вокруг мира. Она становилась путанная, мелочная, натуралистическая. Плоскость картины топорщилась, рыхлилась и требовала, в конце концов, к себе уважения, как главная составляющая изобразительного языка. Многие великие художники, не возражая, в принципе, против идей Возрождения, мучительно искали адекватную форму, конечно же, погружаясь в «пустоту» второго значения, потому что это «пустота» языкового мира. Выход был найден в Венеции в 16-ом веке. Венецианские художники того времени открыли в себе орган понимания цветовых отношений, как источник психологического переживания, а не просто сигнальной раскраски. Оказалось, что такой цвет, что бы он не изображал (бесконечные дали или вытянутую вперед на зрителя руку героя), благодаря органически присутствующему ему содержанию, всегда находится на переднем плане. Вот это место и это время можно назвать временем и местом рождения живописи, потому что здесь осознанно была преодолена раздвоенность целого на содержание и форму, а, в сущности, черно-белый мир эпохи Возрождения стал цветным. Такое преображение мира из свето-теневого в цветной стало единственным содержанием для живописцев аж до 20-го века. И в этом смысле, разглядываем ли мы «Венеру» Тициана или «Снятие с креста» Веронезе, или «Менины» Веласкеса, или «Возвращение блудного сына» Рембрандта, или «Затруднительное предложение» Ватто, или «Портрет королевской семьи» Гойи, или «Резню в Хиосе» Делакруа, или «Балерин» Дега, или «Курильщики» Сезанна, или «Меньшикова в Березове» Сурикова, или «Подсолнухи» Ван Гога, или «Вечер в Париже» Боннара, или «Шахматы» Матисса, или большие беспредметные картины Ротко, мы видим одно и то же событие: мы видим преображенный Мир, в котором можно жить. Этот процесс преображения, где невозможно отделить «смысл от звука» закончился в Соединенных Штатах в конце 20-го века. Кому-то одному, а может быть, многим надоела беспредметная живопись в таком огромном количестве и начались новые времена. Так же, как в начале 14-го века Джотто ди Бондоне заставил ангелов страдать вокруг распятого Христа и резко сдвинул и разрушил все гармонические ряды Средневекового искусства, в 60-ые годы 20-го века Энди Уорхол написал то, что простым демократичным американцам, а потом и всему миру было приятней всего видеть. Это была Банка Колы и Банка томатного супа Кемпбелл, а потом были переработанные особым, упрощенным способом фотографии звезд кино, эстрады и политики. Совершенство «звука» было разрушено появлением нового смысла, в

данном случае любовью народа к консервированным продуктам, к Мерилин Монро, к Элвису Пресли, к Мао Цзе Дуну и т.д.

1968 год есть год появления Томатного супа Кемпбелл в большом искусстве, он же является годом смерти живописи.

23.01.09

Ты замечательно рассказал, Толя, о смене парадигм в изобразительном искусстве, оставив за скобками вопрос о том, чем эта смена вызывается, а заодно и мой вопрос, говорит ли фреска Мазаччо на сущностном уровне то же, что и картины лучших живописцев. Вот ты говоришь, что картины Средневековья были раскрашены совершенно условным цветом. Но это, наверняка, было в рамках канона, который был настолько знаком тогдашнему зрителю, что, вполне возможно, вызывал переживание цвета, психологически адекватное переживанию цвета зрителем современной живописи. В рамках этого канона было создано много «преображенных Миров», в которых мог существовать тогдашний зритель, не в последнюю очередь потому, что преобразались христианские события, единственно важные и понятные художнику и зрителю. А те, кто не сумели художественно преобразить мир, либо не сохранились, либо остались, как образчик «благочестивых богомазов».

Помимо того, о чем ты говоришь, не создавались ли шедевры живописи под звездой обожания жизни и ее атрибутов, от фактуры роскошных тканей до сладчайших складок тела; звездой, затмившей аскетизм благочестивого канона Средневековья? И тут были удачи в преобразении мира, а было и неумелое пользование языком, создание дряблого неубедительного мира, о котором только и скажешь словами Данте: «взглянул – и мимо...».

Я всего лишь хочу сказать, что новая парадигма, конечно, возникает на волне усталости от надоевшего, но выживает она в русле мощной идеи, овладевшей людьми. И поиск языка искусства, наиболее полно и лапидарно выражающего эту идею, ведется людьми, сполна хлебнувшими «пустотности» промежутка между старым и новым, и решившимися искать выход в своем чувстве жизни и смерти. Каждый выходит из этой «схватки с ангелом» со своей хромотой, обретающей иногда особую убедительность для современников.

Породит ли новая «демократическая» идея Банка томатного супа Кэмпбелл своих Тицианов и Рембрандтов (или уже породила, а мы и не заметили, поскольку не принадлежим к адептам этого

супа) – это мы... хотел сказать «увидим», но усомнился, вспомнив отнюдь не библейские отпущенные нам сроки.

25.01.09

Валерик! Ты меня немножко не понял. Я не говорил, мне кажется, что картины Средневековья были раскрашены условным цветом. Все, что касается Средневековья, в смысле языка, все безусловно. Все проблемы начались как раз «под звездой обожания жизни и ее атрибутов, от фактуры роскошных тканей до сладчайших складок тела». Вызванный этой темой иллюзорный способ изображать, безжалостно разрушал чистоту и ясность, а главное, безусловность изобразительного языка, и только венецианские живописцы нашли язык, неразрушающий картинную плоскость и смогли изображать все, что угодно, в том числе и то, о чем ты говоришь.

Устают от старой парадигмы, я думаю, не производители языка, а особая каста потребителей, жаждущая разрушения (мотивация их поведения и причины их появления требуют особого исследования). Создатели же языка используют все имеющиеся у языка силы, чтобы адаптировать его к новым условиям и, тем самым, обогатить. Что касается идеи банки Кемпбелл, то она, конечно, не породит своих Рембрандтов и Тицианов, потому что их появление не предусмотрено данным содержанием, и это может быть темой совсем другой беседы.

P.S. Письмо Марии Дубровской Анатолию Заславскому
и Валерию Черешне

Дорогие Толя и Валера, я прочитала вашу переписку. По ходу дела у меня возникли кое-какие вопросы, собственно, у меня их всего два и они обращены к Толе, хотя, Валера, может быть у тебя тоже появится желание ответить на них? Один мой знакомый художник, когда я рассказала ему о смерти живописи, сказал мне так: «Наоборот, всё вокруг умерло, а живопись живёт». Этот человек почти что бомж, в его квартире ему в водку то и дело падают тараканы. Но он уверен, что совсем никому не нужны картины, которыми завалена его мастерская, живы, а всё остальное - нет. Я же хочу понять одну вещь. В каком смысле умерла живопись? Она

– язык, на котором не переставая говорят некоторые люди. Она говорит то, что нельзя сказать никаким другим языком. Тот мир, в котором она родилась, давно не существует, может быть, поэтому живопись находится в некотором замешательстве? В чём смысл её смерти? Ведь если подумать, то можно сказать, что умерло вообще всё. Во всяком случае архитектура умерла точно. Музыка, по-моему, тоже. Поэзия на западе, по большому счёту, мертва уже лет 40-50, а в России живёт только благодаря очень немногим. Скульптура? Роман? Умер даже пост-модернизм, а ещё любят поговорить о том, что умерла сама история. Второй вопрос такой: в чём смысл разговоров о смерти живописи, для вас? И последний вопрос (всё-таки их три): что бы вы посоветовали тем людям, которые думают, что она жива?

Ответ Анатолия Заславского

Дорогая Машечка! В разговоре с Валериком смерть живописи мною меньше всего акцентировалась. Меня больше интересовала смерть одного единственного, появившегося и вынужденного более или менее привлекательно или, наоборот, ужасно исчезать, человека. Стихи у Валерика разные, но есть иногда характерная для него дерзость, как мне кажется, заглянуть в бездну полного отсутствия всего. Но он эту тему не захотел обсуждать, и мы стали говорить о технической «пустотности» сознания, когда надо сознание опустошить, чтобы в языке рождались сильные, свежие образы, неважно новые они или б.у., лишь бы они обладали силой первоисточника. Может быть, Валерик считает, что эти два вида «пустотности», на самом деле, одно и то же, или как-то перетекают друг в друга.

Что касается смерти живописи, то, возможно, это преувеличение, если мы сами это делаем и, если это делает еще кое-кто, и если есть люди, которым она очень нравится. В действительности, живопись, с тех пор, как появилась, все время оживляла и воскрешала, все несуразности и все прихоти всякого «нового времени». С 16-го века проходила мощная экспансия живописи по всем направлениям и по всем закоулкам жизни. От сложнейших предметных композиций до просто покрашенного холста - все было чудесным образом оживлено. А потом стало неизвестно, что делать, появился гениальный фото-дизайнер Энди Уорхол, всех удовлетворил, но это оживить невозможно. А живопись, конечно же не умерла, она переселилась к художнику, «который почти что бомж и к которому

в водку то и дело падают тараканы». И мы будем ходить к нему за вдохновением. У тех людей, которые думают, что живопись не умерла и даже очень актуальна, нет никаких проблем.

Ответ Валерия Черешни

Машута, Толя переслал мне твоё письмо.

Сначала скажу о том, что и для меня остается загадкой. Почему и как вообще человек выбирает тот или иной язык, чтобы сказать то, что его глубоко и безязыко волнует: чудо его появления и исчезновения, и чудо пребывания всего, что его окружает (Хайдеггер это изумление сформулировал так: почему все, что есть - есть, а не наоборот, его нет?) И избрав этот язык, уже отождествляет себя с ним настолько, что только на нем пытается решать все эти вопросы? Некоторые это называют талантом, т.е. объясняют особыми способностями именно к этому языку, некоторые видят тут предопределенность (помню, я читал о еврее из провинции, который, придумав свои знаки, изобрел дифференциальное исчисление, о котором он ничего не знал). Как бы там ни было, для такого человека язык его искусства безусловно жив, поскольку все живое в себе он пытается выразить на этом языке. И все хорошо, пока он не сталкивается с ситуацией, где он чувствует бессилие этого языка, его способности что-то значить рядом с исчезновением близкого человека, нестерпимой болью или депрессией. Но тут уж приходится пользоваться советом Витгенштейна: о чем невозможно говорить - следует молчать. И надеяться, что смысл языка, который всегда до некоторой степени внутренняя иллюзия, вернется. Т.е., все внутренне рвущееся наружу, набухнет словами, красками или клоквенным соком (для актера) и станет вновь живым. Что касается актуальности этого языка для других, то я верю, что это органическое переживание жизни рано или поздно наплывет на свое время или «своих» людей, которым оно будет нужно. Но это праздный вопрос, похожий на ожидание хэппи-энда в фильме, художник получает свое, чувствуя точную выраженность в языке своих внутренних потенций, своего ощущения бытия. Не знаю, ответили ли на твои вопросы, скорее, как всегда, на свои.

ЛЕВ БЕРДНИКОВ

ШУМНЫЙ АМЕРИКАНЕЦ

Многие помнят название романа Грэма Грина “Тихий американец”; однако американец американцу рознь. Вот и русский граф Федор Иванович Толстой по прозвищу Американец (1782-1846) тихим отнюдь не был, а, напротив, слыл человеком шумным, взбалмошным. Личность легендарная, персонаж скандальных историй, самый эксцентричный представитель славного рода Толстых, послуживший прототипом не одного литературного героя, он вызывал и ужас, и восхищение. Неугомонный бретер, стрелявший без промаха и убивший на дуэлях 11 человек, пьяница и обжора, нечистый игрок в карты, опасный сплетник – он был в то же время патриотом и героем войны, верным и самоотверженным другом, неистощимым остроумцем, личностью, сумевшей заслужить уважение таких выдающихся людей, как П.А.Вяземский, А.С.Грибоедов, Д.В.Давыдов, Е.А.Баратынский, К.Н.Батюшков, В.А.Жуковский, В.Л.Пушкин да и сам А.С.Пушкин. Все они сходились во мнении, что Ф.Толстой – удивительно яркая и крупная фигура.

Даже внешность его не вписывалась в привычные рамки. “Он поразил нас своей наружностью, – вспоминает Ф.Ф.Вигель. – Природа на голове его круто завила густые, черные волосы; глаза его, вероятно, от жара и пыли покрасневшие, нам показались налитыми кровью, почти же меланхолический его взгляд и самый тихий говор его настрашенным моим товарищам казался омутом”. Очевидцы обращали внимание на его средний рост, широкие плечи, тяжелое и грузное тело, круглое лицо с поистине “брутальными” бакенбардами в ладонь шириной. В глазах недругов он был посланцем черта на земле.

“Он не был лучшим из Толстых, – скажет о нем впоследствии один из его потомков, – но мне нравятся люди, умевшие не подчиняться давлению со стороны и не оказываться под ярмом властей”.

Действительно, Федор обладал особой независимостью характера и никогда не терпел диктата. Попав после окончания Морского кадетского корпуса в Преображенский полк, Толстой вел жизнь, полную возлияний, азартных игр, женщин и сумасбродных подвигов всех сортов. Служба его не слишком обременяла, а его горячий безудержный нрав требовал немедленного выплеска – он постоянно искал острых ощущений. Узнав, что в России строится

воздушный шар, граф захотел первым подняться в воздух. Ему понадобилось все его обаяние, чтобы познакомиться с конструктором, а затем убедить его лететь вместе. Все прошло успешно, но на несчастье Толстого, именно во время полета был назначен смотр полка. Педантичный полковник Е.В.Дризен при всех отчитал Толстого за неявку, как мальчишку. Федор вскипел и вместо оправданий плюнул своему командиру в лицо. Дризен вызвал Толстого на дуэль, в ходе которой полковник получил тяжелое ранение.

После кровавого исхода поединка оставаться в столице Федору Толстому было небезопасно – его вполне могли разжаловать в солдаты и посадить в крепость.

Однако судьба преподнесла ему неожиданную палочку-выручалочку – кузен графа, которого тоже звали Федор Толстой (только Петрович, а не Иванович) должен был отправиться в кругосветное путешествие в составе экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского. Но тот страдал морской болезнью, а потому не желал пускаться в плавание. Тогда на семейном совете Толстых было принято соломоново решение – вместо одного Федора Толстого поедет другой, граф Федор Иванович. И вот уже наш граф щеголяет на борту корабля “Надежда” в форме лейтенанта Преображенского полка – он принят в команду экспедиции, где, согласно бумагам, числится в ряду “молодых благовоспитанных особ”.

Но поведение Толстого было, мягко говоря, не только не благовоспитанным, но и вообще далеко от элементарных человеческих норм. Дело в том, что его роль – нечто вроде младшего сопровождающего – оставляла ему бездну свободного времени. Кипучая же его натура требовала деятельности в условиях вынужденного безделья. И он разряжался в необузданных, подчас диких поступках. Инициатор экспедиции Н.П.Резанов характеризует Толстого как “человека без всяких правил и не чтущего ни Бога, ни власти, от него поставленной. Сей развращенный человек производит всякий день ссоры, оскорбляет всех, беспрестанно сквернословит”. Федор не только бражничал и играл в карты, но и подстрекал, правда, безуспешно, команду к бунту. Не оставил он и страсть к дуэлям. Известен факт, что один офицер предложил графу выброситься за борт и там бороться. Толстой отказался, сославшись на неумение плавать. Тогда офицер обвинил Федора в трусости. Услышав это, граф обхватил противника руками и бросился с ним за борт. Матросы едва успели вытащить их из воды. Офицер получил серьезные ранения и был настолько потрясен случившимся, что вскоре скончался.

Жестоко подшутил Толстой над корабельным священником отцом Гедеоном, имевшим слабость к горячительным напит-

кам. Однажды, хорошенько подпоив служителя культа, он прикрепил его бороду к палубе с помощью куска сургуча, припечатав ее капитанской печатью, которую выкрал из каюты И.Ф.Крузенштерна. Когда святой отец проснулся, Федор предупредил его быть осторожным, чтобы не повредить официальной печати с двуглавым орлом – во избежание государственной измены. В конце концов бороду старцу пришлось остричь.

В мае 1804 года “Надежда” бросила якорь на одном из островов Вашингтонского (Маркизского) архипелага – Нука-Гиве. Там Толстой и некоторые другие матросы нашли возможность ближе познакомиться с прелестными туземками, лишенными предрассудков. Граф прибегнул здесь и к услугам местного татуировщика, что в то время было едва ли не первым подобным случаем для европейца (показательно, что один современный писатель назвал свою книгу о нем “Татуированный граф”). Впоследствии он не раз демонстрировал перед светской публикой свое разрисованное тело: на груди – громадная пестрая птица, вокруг – змеи и диковинные существа. Тогда же, на острове, обнаружилось особое гипнотическое обаяние Федора – каким-то образом он приобрел необыкновенную власть над королем Нука-Гивы. Этот почтенный муж, словно собака, бегал перед Толстым на четвереньках, а когда последний кричал: “Пиль! Апорт!” и кидал в море палку, его величество бросался вприпрыжку за ней и возвращался обратно с трофеем в зубах.

В порту Санта-Круца у одного из Канарских островов граф приобрел самку орангутанга. Недовольный этим Крузенштерн в конце концов согласился оставить обезьяну на корабле, но взял с Толстого обещание не выпускать ее из каюты. Граф обещал. Но чего стоили обещания такой “благовоспитанной особы”? Федор тут же нарядил обезьяну в треуголку капитана и научил ее ходить, опираясь на трость. Матросы от души смеялись над ее сходством с Крузенштерном. Эта обезьяна, о которой родственница Толстого М.Ф.Каменская писала: “Орангутанг, умный, ловкий и переимчивый как человек”, была притчей во языцах. Ходили слухи, что это животное стало одной из его бесчисленных любовниц. Характерно, что эта легенда нашла своеобразное преломление у двоюродного племянника Американца Л.Н.Толстого: в одном из черновых набросков романа “Война и мир” Долохов, прообразом которого считают Ф.И.Толстого, доверительно сообщает Анатолю Курагину: “Я, брат, обезьяну любил: все то же. Теперь красивые женщины”.

Эта обезьяна и стала каплей, переполнившей чашу терпения капитана корабля. Произошло вот что – Толстой и обезьяна прокрались как-то в капитанскую каюту. Там Толстой вытащил

грудю дневников Крузенштерна, положил их на стол и поместил сверху чистый лист. Этот последний он начал пачкать и марать чернилами. Обезьяна внимательно наблюдала, а когда граф покинул каюту, принялась за оставшиеся бумаги. Когда Крузенштерн вернулся, он обнаружил, что испорчена большая часть его ценных записей.

В результате Федор со своей обезьяной был отчислен из команды и высажен на острове Сиктаб, что входит в гряду примыкающих к “русской Америке” – Аляске Алеутских островов. Отсюда, кстати, и его курьезное прозвище – Американец. Долгие месяцы он находился среди алеутов, ведя их образ жизни: сопровождал охотников в их походах и стал таким же знатоком гарпуна и лука, каким был в отношении сабли и пистолета. Он построил себе деревянную хижину и научился у местного шамана снимать боль наложением рук. Алеуты ему предлагали стать их царем и давали в жены первую красавицу. А одно племя даже поклонялось ему, как идолу, по причине “красивых белых ног”. Судьба злополучной обезьяны неизвестна – ходили слухи, что Толстой, спасаясь от голода, съел ее.

Сохранилась легенда: бродя среди береговых скал, граф чуть было не свалился в пропасть, но явившееся ему лучезарное видение святого Спиридония – покровителя рода Толстых – предупредило его об опасности, и он был спасен. А вскоре, разведя костер на берегу, Федор тут же привлек внимание проходящего мимо корабля и затем был благополучно переправлен в порт Петропавловск на Камчатке. С тех пор он неизменно носил на груди образок с изображением святого Спиридония.

Граф отправился через всю Сибирь и Урал в российскую столицу. Он шел сквозь непроходимую тайгу со случайными проводниками, иногда неделями не встречая других людей. К Петербургу он подошел только через два года. Появляться там ему было запрещено указом Александра I. Лишь однажды он нарушил предписание императора. Узнав, что И.Ф.Крузенштерн вернулся и устроил бал в честь успешного завершения кругосветного путешествия, Федор явился прямо на этот бал и во всеулышание поблагодарил капитана за то, что по его воле так весело провел время на Алеутских островах.

– Я тоже совершил кругосветное путешествие, только по другому маршруту, – добавил граф.

Но из Петербурга его сразу же выслали в заштатный гарнизон Нейшлотской крепости, где Федор изнывал от скуки. Чтобы заслужить прощение, он стал проситься в действующую армию. Став, наконец, адъютантом князя П.М.Долгорукова, он проявил чудеса героизма на войне со шведами. Во время боя при Иденсальме он с

несколькими казаками удерживал целый полк отступающих шведов. Но, пожалуй, главная его заслуга – разведка пролива Иваркен. Он доложил о составе гарнизона шведов Барклаю де Толли, и тот с трехтысячным отрядом перешел по льду и неожиданно атаковал врага, что и решило исход Северной войны. Толстой, говорят современники, храбрости был неимоверной, в нем воплотился истинно русский характер – “колобродить, так до умопомрачения, а с недругом воевать – так до потери памяти”. За проявленный героизм он был награжден и вновь переведен в Преображенский полк, но снова долго там не задержался: после первой же дуэли, когда от его руки пал очередной однополчанин, граф был разжалован в рядовые и отправлен в отставку.

Во время Отечественной войны 1812 года он начал службу в чине рядового. Прошел на ратном поле от Бородина до Парижа и закончил войну полковником с орденом Георгия 4-й степени. Д.В.Давыдов в своем “Дневнике партизанских действий 1812 года” описывает тяжелое ранение Толстого на поле боя и сообщает, что чин полковника ему исходатайствовал сам генерал А.П.Ермолов. В этом чине Федор Иванович окончательно оставил службу.

Достоинно замечания признание Американца, что он узнал, какое значение имеет слово “Отечество” даже не на поле боя, а от чтения “Истории государства Российского” Н.М.Карамзина, восемь томов которой одолел одним духом.

После войны граф поселился в Москве и стал профессиональным картежником. Толстой был не просто шулер, он проявлял за картами и необыкновенный дар психолога, стратега, и азарт, и математический расчет. Обычно он играл некоторое время с незнакомым человеком, изучая его характер и черты лица, запоминая его стратегию. Это позволяло графу даже честными методами входить в манеру игрока и выигрывать. Но это была только еще половина дела, потому что он был известен тем, что передергивал. За картами Федор просиживал до рассвета. Не о нем ли писал А.С.Пушкин?

Страсть к банку! Ни дары свободы,
Ни Феб, ни слава, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Его от карточной игры.
Задумчивый, всю ночь до света
Бывал готов он в эти лета
Допрашивать судьбы завет:
Налево ляжет ли валет?
Уж раздавался звон обеден,
В кругу разыгранных колод

Дремал усталый банкомет,
А он нахмурен, бодр и бледен,
Надежды полн, закрыв глаза,
Метал он третьего туза.

Как-то, заигравшись, Толстой остался наедине с С.В.Гагариным в Английском клубе, и объявил, что Гагарин проиграл ему 20 тысяч рублей. Гагарин отказался платить. Тогда Толстой запер двери и, положив на стол пистолет, сказал:

– Между прочим, эта штука заряжена, так что заплатить вам все равно придется. Даю на размышление 10 минут!

Гагарин вынул из кармана часы и бумажник, положил их на стол и ответил:

– Вот все мое имущество. Часы могут стоить 500 рублей, в бумажнике – 25. Только это тебе и достанется. А если ты меня убьешь, ты должен будешь заплатить не одну тысячу, чтобы скрыть преступление. Будешь ты в меня стрелять после этого? Даю на размышление 10 минут.

– Молодец! – воскликнул Федор восхищенно. – Ты – Человек!

С тех пор они стали друзьями, а вскоре Гагарин даже попросил Федора быть его секундантом. Дуэль была назначена на 11 часов утра. Но когда Гагарин заехал к Толстому в назначенное время, тот еще спал. Разбудив Американца, он раздраженно спросил:

– Разве ты забыл? Ведь сегодня...

– Да этого уже не нужно, – перебил его Федор, зевая, – я твоего приятеля убил...

Оказалось, что накануне Толстой специально приехал к противнику Гагарина, поспорился с ним, вызвал его на дуэль на 6 часов утра, застрелил его, вернулся домой и спокойно лег спать.

Огромные деньги, добытые за карточным столом, Американец спускал на веселых застольях. Он жил исключительно широко и был большим гурманом. Закупки для стола почитал сугубо мужским делом. Гордился, например, что придумал устрицы перед употреблением выдерживать полчаса в соленой воде. Покупал только ту рыбу, которая сильнее других билась в садке, – значит, в ней больше жизненной силы. Мясо выбирал по цвету. “Хорошо приготовленная пища способствует воспарению мыслей,” – говорил он. Словом, знал много гастрономических хитростей, чем и кичился. Приглашал к себе музыкантов, и сам любил дирижировать оркестром. А однажды, в экстазе от музыки, схватил огромный бронзовый канделябр, чтобы отбивать им такт. Пирьы обычно заканчивались безумными ночами у цыган, которые были тогда

частью разгульной русской дворянской жизни. Он влюбил в себя красавицу-цыганку, которая, в отличие от пушкинской Земфиры, была верна ему всю жизнь. Толстой вообще был кумиром женщины. Друг Федора Ивановича в разговоре с одной молодой дамой объяснял это так: “Таких людей уже нет. Если бы он вас полюбил, и вам бы хотелось вставить в браслет звезду с неба, он бы ее достал. Для него не было невозможного, и все ему покорялось. Клянусь вам, что в его присутствии вы не испугались бы появления льва. А теперь что за люди? Тряпье!”.

Толстому не доводилось встречать шулеров, более искусных, чем он сам. Однако, А.Огонь-Догановский оказался именно таким соперником (он, между прочим, послужил прототипом Чекалинского в “Пиковой даме” А.С. Пушкина). Разадоривая Федора, он для вида несколько раз проиграл ему, а потом обчистил его так, что Американец встал из-за стола совершенным банкротом. На карту была поставлена дворянская честь Толстого, поскольку за неуплату долга его фамилию должны были вывесить на черной доске в Английском клубе. Отчаявшись найти необходимую сумму, Федор решил было покончить с собой. Спасение неожиданно пришло от близкого ему человека – цыганки Авдотьи Тугаевой, с которой Толстой сожительствовал уже пять лет.

– Где ты взяла столько денег? – спросил граф, еще не веря своему счастью.

– У тебя, – ответила цыганка, – Ведь ты дарил мне много подарков. Все их я хранила, а теперь продала. Так что эти деньги твои.

После того, как Федор расплатился с долгом, они с Авдотьей немедленно обвенчались. Сам брак графа с цыганкой был в то время поступком, ибо в глазах общества воспринимался как непростительный мезальянс. Но Толстого не очень-то беспокоило, что двери многих домов закрылись перед ним. Он был удручен другим – дети, рождавшиеся в браке с Авдотьей, умирали в младенчестве. Тогда Толстой уверовал, что Господь наказывает его за грехи шальной молодости. После смерти своего первенца он решает наложить на себя епитимью: не пить полгода. Не помогло! Дети продолжали умирать. И тут страшная догадка открылась Федору Ивановичу – смерть его детей прямо связана с убитыми им соперниками на дуэлях! Значит, это Божья кара! Американец завел специальный синодик, куда вписал имена убитых им дуэлянтов. После смерти каждого своего ребенка он вычеркивал имя очередного убитого и сбоку писал слово: “квит”. И только после того, как у него скончалось 11 детей (а он убил на дуэлях именно 11 человек), Толстой облегченно вздохнул:

– Слава Богу, хоть мой цыганенок будет теперь жить.

И, действительно, его двенадцатый ребенок, – дочь Праксавья (в замужестве Перфильева), дожила до глубокой старости. Особенно глубоко граф будет переживать смерть от туберкулеза любимой дочери Сарры (1820-1838).

Толстой был настолько остер на язык, что современники восхищались его безукоризненным владением родной речью. Даже Н.В.Гоголь, о котором граф как-то прилюдно высказался, что за “Ревизора” его следует в кандалах отправить в Сибирь, отозвался о манере Американца говорить по-русски, как об эталонной. Так, в письме из Страсбурга от 22 октября 1846 года, где Гоголь объяснял М.С.Щепкину, как надо играть развязку “Ревизора”, он, в частности, писал: “Играющему Петра Петровича нужно выговаривать слова свои особенно крупно, отчетливо, зернисто. Он должен скопировать того, которого он знал (как) говорящего лучше всех по-русски. Хорошо бы, если бы он мог придерживаться Американца Толстого”.

“Умен был, как демон. И исключительно красноречив...Он любил софизмы и парадоксы, и с ним было трудно спорить,” – свидетельствует Ф.В.Булгарин. “Он пробыл с нами немного, – вспоминал о краткой встрече с ним в Удмуртии Ф.Ф.Вигель, – говорил все обыкновенное, но саму речь вел так умно, что мне внутренне было жаль, зачем он от нас, а не с нами едет”. Д.В.Давыдов дружески называл его “Болтун красноречивый, Повеса дорогой”.

По словам литературоведа и пушкиниста С.М.Бонди, выдающиеся люди, окружавшие Толстого (в том числе П.А.Вяземский, А.С.Пушкин, Д.В.Давыдов), “повторяли при случае его остроумные замечания”. И, действительно, некоторые из них вошли в литературное предание и стали анекдотами. К примеру, разве не уморительно высказывание Американца о С.П.Жихареве: “Кажется, он довольно смугл и черноволос, а в сравнении с душою его он покажется блондинкою”. А чего стоит такое его письмо князю, задолжавшему Толстому энную сумму денег и не желавшему платить: “Если вы к такому-то числу не выплатите долг сполна, то я не пойду искать правосудия в судебных местах, а отнесусь прямо к лицу Вашего Сиятельства”. Так лихо пародировал граф канцелярский стиль! Или такой еще случай: однажды тетушка попросила его поставить свидетельскую подпись на важной бумаге. “Охотно”, – отвечает он и пишет: “При сей верной оказии свидетельствую тетушке мое нижайшее почтение”. А ведь гербовый лист стоил несколько сот рублей!

Образованность Федора Ивановича, его знание нескольких языков, любовь к музыке, чтению и литературе, тесное общение с

артистами, литераторами, любителями словесности и искусств, казалось, должны были утончить его эстетические вкусы. Между тем, мемуаристы свидетельствуют, что Американец подчас смакует такие произведения, восхищение которыми позволяет видеть в нем предтечу русского абсурдизма. Судите сами – в каком-то забытом Богом уголке сибирской глухомани ему повстречался нищий старик-балалаечник, который прохрипел:

“Не тужи, не плачь, детинка,
В рот попала кофеинка, –
Авось проглочу!”

После этой “песни” старик разрыдался. Он рыдал горько, протяжно, истово, как будто хоронил кого-то.

– Что ты плачешь? Что с тобой? – спросил граф.

– Понимаете ли Вы, Ваше Сиятельство, силу этого: “Авось проглочу”?

“Идиотская песня балалаечника и его бурные рыдания, – пишет далее мемуарист, – потрясли графа пуще всех итальянских опер и французских примадонн, которых он потом немало слышал за свою жизнь”. Впрочем, в этом своем преклонении перед бесхитростным напевом Толстой не был пионером. Вспомним законодателя русского классицизма А.П.Сумарокова, написавшего специальную статью “О стихотворстве камчадалов”, где восторгался “простой” и “естественной” песенкой, исполненной местными аборигенами.

Артист и талантливый импровизатор, Федор Толстой рассказывал не только о своих реальных приключениях (которых бы хватило не на один авантюрный роман), но и давал волю своей неуемной фантазии. Современники использовали в своих произведениях и эти невероятные истории, и сам образ Американца, который оказался в русской культуре первой половины XIX века личностью исключительно продуктивной. Под впечатлением от Толстого и его рассказов А.С.Грибоедов писал в “Горе от ума”:

Но голова у нас, какой в России нету.
Не надо говорить, узнаешь по портрету.
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист,
Да разве умный человек и может быть не плутом?
Когда ж о честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем,

Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.

Толстой тут же узнал себя, и, желая уточнить свой портрет, зачеркнул четвертую строчку и написал: “В Камчатке черт носил”, а в скобках добавил: “ибо сослан никогда не был”. Не удовлетворившись этим, он спросил Грибоедова:

– Ты что это написал, будто я на руку нечист?

– Так ведь все знают, что ты прередегиваешь в карты.

– И только то? – искренне удивился граф, – так бы и писал, а то подумают, что я табакерки со стола ворую.

Удивление Американца станет понятным, если обратиться к реалиям того времени. Как показал Ю.М.Лотман, “граница, отделяющая крупную профессиональную “честную” игру от игры сомнительной честности, была достаточно размытой. Человека, растратившего казенные суммы или подделавшего завещание, отказавшегося от дуэли или проявившего трусость на поле боя, не приняли бы в порядочном обществе. Однако двери последнего не закрывались перед нечестным игроком”. Именно поэтому, когда комедия Грибоедова увидела свет, после слов:

“И крепко на руку нечист” стояла звездочка, а сноски внизу гласила: “Ф.Т. прередегивает, играя в карты, табакерки он не ворует”.

Граф, однако, не любил, когда его уличали в шулерстве. Однажды случилось, что посетивший его А.С.Пушкин, убедившись в нечестной игре Толстого, отказался в конце заплатить ему требуемую сумму.

– Ну, что вы, граф, нельзя же платить такие долги, – сказал поэт, смеясь, – Вы же играете наверняка.

Другого после подобной реплики Федор вызвал бы к барьеру, однако вокруг были люди, считавшие Пушкина восходящей звездой русской поэзии, и ссориться с ними хозяину не хотелось.

– Только дураки играют на счастье, – отшутился Американец, – а я не хочу зависеть от случайностей, поэтому исправляю ошибки фортуны.

Казалось бы, все кончилось мирно, однако в глубине души Толстой затаил злобу на поэта. Потому, когда Пушкина выслали из Петербурга, он стал (под большим секретом) распространять сплетню, что Александра Сергеевича якобы вызвали в канцелярию его величества и там высекли. Это был излюбленный прием Толстого: клеветать на людей и с интересом наблюдать за их поведением, которое неминуемо вело к пистолетам.

Сплетня разнеслась быстро, но Пушкин узнал о ней не-

сколько месяцев спустя, в Екатеринославе. Он был взбешен и желал тут же драться с Толстым на дуэли. Друзья, однако, удержали его, и поэт излил свою желчь в стихах:

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен.
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он, слава богу,
Только что картежный вор.

В послании “К Чаадаеву” (1821 г.), опубликованном в журнале “Сын Отечества”, поэт слегка перефразировал прежнюю эпиграмму:

Что нужды мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде
Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, исправил свой позор,
Отвыкнул от вина и стал картежный вор.

Вчитаемся в пушкинские тексты – и перед нами оживут реальные факты биографии Толстого. Упоминание о разврате, которым он изумил свет, возвращают нас и к его молодости, и контактам с островитянками во время экспедиции Крузенштерна, но прежде всего – к связи с самкой орангутанга. “Исправил свой позор” Американец тем, что как раз в 1821 году обвенчался со своей цыганкой Авдотьей Максимовной Тугаевой, до этого несколько лет жившей с ним во грехе. А “отвыкнул от вина” он после смерти их первенца – наложил на себя епитимью и дал зарок не пить полгода.

“Мое намерение было не заводить остроумную литературную войну, – писал в сентябре 1822 года А.С.Пушкин П.А.Вяземскому в ответ на упрек последнего в чрезмерной резкости нападок на Толстого, – но резкой обидой отплатить за тайные обиды человека, с которым расстался я приятелем и которого с жаром защищал всякий раз, как представлялся тому случай. Ему показалось забавным сделать из меня неприятеля....я узнал обо всем, будучи уже сослан, и, считая мщение одной из первых христианских добродетелей – в бессилии своего бешенства закидал издали Толстого журнальной грязью...Куда не достает меч законов, туда

достаёт бич сатиры”. Стихи Пушкина – это не только сознательное оскорбление Толстого. В контексте снисходительного отношения общества того времени к карточному шулерству слова поэта “картежный вор” приобретали острый язвительный характер именно как насмешка над общественным мнением, узаконившим терпимость к нечестной игре. Это тем больнее ранило графа, что он был шулером-профессионалом, для которого “картежное воровство” сделалось постоянным источником существования.

Толстой тоже не желал оставаться в долгу и разразился самодельными виршами. И хотя их художественное несовершенство было очевидно всем и никто не желал их печатать, Пушкину они наносили страшное оскорбление, а этого граф и добивался:

Сатиры нравственной язвительное жало
С пасквильной клеветой не сходствует немало.
В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл,
Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил.
Примером ты рази, а не стихом пороки
И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки.

Кощунственно звучала и исковерканная Толстым фамилия – Чушкин. Последний стих намекал на увесистую пощечину, которую бы Американец залепил Пушкину при встрече.

Во время долгих шести лет ссылки Пушкин готовился к дуэли с Толстым. Его часто видели на прогулках с железной палкой в руке. Поэт подбрасывал ее высоко в воздух и ловил, а когда его спросили, зачем он это делает, Александр Сергеевич ответил:

Чтобы рука была тверже, если придется стреляться, чтобы не дрогнула.

Есть свидетельства, что, находясь в Михайловском, Пушкин по несколько часов в день стрелял в звезду, нарисованную на воротах его бани.

Когда в 1826 году Пушкин вернулся в Москву, он немедленно послал секунданта к графу Толстому. К счастью, Федора Ивановича в Москве не оказалось, а впоследствии дуэль удалось предотвратить. Бывшие противники вновь стали приятелями и сблизились настолько, что граф ввел Пушкина в семью Гончаровых, а затем и выступил в роли его свата. В письмах поэта к Н.Н.Гончаровой он часто нежно называет Американца “наш сват”. Известно также, что Толстой присутствовал при чтении Пушкиным в узком кругу друзей поэмы “Полтава” в декабре 1828 года.

Однако и после примирения с Толстым поэт при воссозда-

нии образа графа остался верен натуре. Так, в “Евгении Онегине” у него фигурирует Зарецкий, “в дуэлях классик и педант”, прообразом которого, по мнению исследователей, явился именно Американец. Будучи единственным распорядителем дуэли Онегина и Ленского, он вел дело, сознательно игнорируя все, что могло устранить кровавый исход. Он не обсудил возможности примирения ни при передаче картеля, ни перед началом поединка, хотя это входило в его прямые обязанности. Зарецкий мог остановить дуэль и в другой момент: появление Онегина со слугой вместо секунданта было ему прямым оскорблением, а одновременно и грубым нарушением правил. Наконец, Зарецкий имел все основания не допустить кровавого исхода, объявив Онегина неявившимся (он опоздал почти на час). Таким образом, Зарецкий, как и Толстой, видит в дуэли забавную, хотя и кровавую историю, предмет сплетен и розыгрышей. Граф стрелялся преимущественно из желания приятно провести время. Однажды, уже в пожилые годы, желая доказать, что рука у него по-прежнему тверда, он велел жене при гостях встать на стол и прострелил ей каблук. Впрочем, жестокость не была ему свойственна; она проявлялась лишь под влиянием страсти или гнева. Гораздо чаще были у него порывы великодушия.

“Московским Робин Гудом” в гусарском мундире предстает Ф.Толстой в рассказе Л.Н.Толстого “Два гусара”, где он выступает под именем графа Федора Ивановича Турбина-старшего. “Это тот самый, знаменитый дуэлянт-гусар? – Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар – душа, гусар истинный”. Он проявляет бескорыстие и благородство, защищая обыгранного шулером Лухновым мальчика-офицера Ильина, который был из-за этого на грани самоубийства. Ворвавшись в номер Лухнова, Турбин потребовал у шулера сыграть с ним в карты на деньги, а когда тот наотрез отказался, граф ошеломил его страшным ударом в голову, после чего собрал имевшиеся в комнате деньги и передал их Ильину. К образу графа Федора с большей или меньшей степенью сходства обращались А.С.Пушкин (“Выстрел”), И.С.Тургенев (“Бретер”, “Три портрета”), Л.Н.Толстой (образ Долохова в романе “Война и мир”).

“Привлекательный преступный тип” – говорили о нем, словно не замечая, что такая характеристика уже заключает в себе оксиморон. “Его возмутительные проделки скрашиваются его необыкновенной привлекательностью, каким-то наивным и непосредственным эгоизмом и его гипнотической способностью заставлять людей любоваться им и даже любить его,” – пояснил С.Л.Толстой.

Очень точно сказал о графе один современный исследователь: “Он не ищет событий – они сами находят его. Он не рассчитывает последствий, не прикидывает выгоду, не взвешивает опасность

– он просто входит в ситуацию и располагается в ней вольготно и удобно, как барин в кресле. Ему все равно, где быть, в какой стране, в каком социальном классе, в каких обстоятельствах – везде он в себе уверен и везде он хозяин жизни”.

От Американца исходила особая энергия, известная в то время под названием месмеризма или животного магнетизма. Л.Н.Толстой вспоминал: “...У брата Сергея болели зубы. Он (Федор Толстой –Л.Б.) спросил, что у него, и, узнав, сказал, что может прекратить боль магнетизмом. Он вошел в кабинет и запер за собой дверь. Через несколько минут он вышел оттуда с двумя баттистовыми платками...Он дал тетушке платки и сказал: “Этот, когда он наденет, пройдет боль, а этот, чтобы он спал”. В другом месте Л.Н.Толстой отмечает угрызения совести Федора Ивановича в старости.

Действительно, под старость этот эксцентричный человек остепенился и стал набожным. Он посещал церковь, каялся и клал земные поклоны, как мог старался искупить преступления молодости и свои жестокие поступки. Быть может, он ощутил себя отпрыском не только рода Толстых с их страстностью, эгоцентризмом и дикостью, но и сыном своей матери, благочестивой Анны Федоровны Майковой, предком которой был преподобный Нил Сорский, легендарный монах-реформатор XV века, проповедовавший аскетизм и нестяжательство. Граф Федор дожил до седины и на 65-м году жизни спокойно отошел в мир иной. Он успел причаститься. Священник, исповедовавший его перед смертью, говорил, что мало в ком встречал столь искреннее раскаяние и веру в милосердие Божие. Исповедь Американца продолжалась несколько часов.

Современник А.Стахович сказал про него: “Немногие умные и даровитые люди провели так бурно, бесполезно, порой преступно свою жизнь, как провел ее Американец Толстой, бесспорно, один из самых умных современников таких гигантов, как Пушкин и Грибоедов”. Однако раздавались и другие голоса. Так, В.А.Жуковский, узнав о смерти графа, писал А.Я.Булгакову: “В нем было много хороших качеств. Мне были лично известны только хорошие качества. Все остальное было ведомо только по преданию, и у меня к нему лежало сердце, и он был добрым приятелем своих приятелей”.

Пожалуй, наиболее рельефно характер графа Ф.И.Толстого запечатлен в следующих стихах П.А.Вяземского:

Американец и цыган,
На свете нравственном загадка,

Которого, как лихорадка,
Мятежных склонностей дурман
Или страстей кипящих схватка
Всегда из края мечет в край,
Из рая в ад, из ада в рай,
Которого душа есть пламень,
А ум – холодный эгоист,
Под бурей рока – твердый камень,
В волненьи страсти – легкий лист.

ОБ ОДНОМ АВТОГРАФЕ ТОЛСТОГО-АМЕРИКАНЦА

Однажды в Музее книги Российской Государственной Библиотеки (Москва) я обнаружил заинтриговавшее меня издание. Это была книга среднего формата в большую восьмерку, отпечатанная на добротной бумаге, без каких-либо полиграфических украшательств, с надписью на титульном листе: “Сочинения в стихах и прозе графини Сарры Федоровны Толстой” (М., 1839). Мне сказали, что эта исключительно редкая книга: единственный ее экземпляр хранился среди раритетов первой величины. Оригинальный переплет не сохранился, однако, на форзаце был явственно виден автограф дарителя: “Княгине Надежде Федоровне Четвертинской в знак сердечной любви и уважения от отца Сарры. 1840 г. Январь 23. Сельцо Глебово”.

Сведений о Сарре Толстой нет ни в одной из Литературных энциклопедий, так что имя это полузабытое в русской культуре, хотя в предисловии к названной книге подробно излагается история ее жизни и творчества. На ее биографию, как, впрочем, и на другие литературные и документальные источники, мы будем опираться в нашем рассказе об этой поэтессе позапрошлого столетия.

Прежде всего, “отец Сарры” – это не кто иной, как граф Федор Иванович Толстой по прозвищу Американец. Говорили, что от отца Сарра унаследовала эксцентричность характера, а от матери, цыганки Авдотьи Максимовны Тугаевой (чей брак с графом воспринимался обществом как непростительный мезальянс) – нервическую натуру. Портрет Сарры воспроизводится при настоящей публикации; однако, поскольку он черно-белый, есть искус привести и словесное описание ее внешности. “Наружность Сарры была приятная: роста она была малого; черты лица имела правильные; цвет волос самый темнорусый, почти черный; глаза темнокарие, прекрасные; черные брови, довольно красивые; нос маленький; губы и рот приятные. Ее много безобразила болезненная толстота,” – сообщает биограф.

Состояние здоровья девочки с первых же дней внушало опасения; уже в раннем возрасте появились первые признаки истерии. Тем не менее, она получила блестящее домашнее образование, и в этом ей помог отец, сам говоривший на нескольких европейских языках и наделенный бесспорным музыкальным даром.

Известно, что эстетику Сарре преподавал П.А.Гамбс, немецкий язык – некий Клин, а вот уроки музыки ей давал Ф.Гарддорф (впоследствии домашний учитель И.С.Тургенева). Сарра уже на шестом году свободно говорила и писала по-французски и по-немецки, а на девятом году – по-английски, причем иностранные азбуки ей выписывал из-за границы отец, который в письме к В.Ф.Гагарину от 12 февраля 1828 года признавался: “Одна Сарра как будто золотит мое существование”.

Несмотря на эталонный русский язык Федора Толстого, который как образец для подражания ставил в пример сам Н.В.Гоголь, Сарра плохо говорила по-русски. Она начала изучать русский язык только за год до смерти, летом 1837 года, под руководством профессора и стихотворца Н.И. Бутырского (1783-1848). Ранее Бутырский преподавал поэзию и эстетику в Петербургском университете, но ко времени занятий с Саррой он читал лекции по русской словесности уже в Военной академии. Ревностный поклонник творчества В.А.Жуковского (что передалось и его воспитаннице), он по произведениям этого поэта обучал ее русскому языку. В то же время Бутырский стал известен как мастер и популяризатор русского сонета – как раз в 1837 году в Петербурге он издал сборник “И моя доля в сонетах”, в который вошло более ста стихотворений.

Читала маленькая Сарра Толстая запоем. Из немцев ее кумирами были Шиллер, Гете, Гердер, Шлегель, Новалис, Уланд, Тик, Гельти, Фосс, Кернер, миннезингеры; из англичан – Байрон, Т. Мур, В. Скотт и др. Именно чтение развило в ней романтическую мечтательность. “С сей поры, – пишет ее биограф, – уже запала искра божественного огня в душу юную по летам, но зрелую по полным ощущениям. Сарра еще не писала, но уже была поэт”.

С девяти лет она играла на фортепиано произведения Геслера и фуги Баха; страстно любила Моцарта. В пронзительных звуках Бетховена находила какой-то особый отголосок своей страждущей, стремящейся вдале души.

С успехом занималась живописью и благоговела перед Рафаэлем и Кореджио. Картины эти она видела в галерее Дрездена, куда по ее просьбе ее возили родители. А.С.Пушкин заметил, что Сарра Толстая – “почти безумная, живет в воображаемом мире, окруженная видениями”. Действительно, в стихах графини (а писать она начала в 14 лет) вы не найдете ничего осязаемого, конкретного, предметного. Это лишь чувства, облеченные в поэтическую форму. Поэзия ее – чисто лирическая: любовь, дружба, впечатления явлений природы, сердечные излияния. Иногда она использует мифологические имена (Зефир, Селена). “Утешение”, “Лю-

бовь", "К дитяти", "Чувство, которому нет имени", "К сетующей подруге", "К В.А.Жуковскому при получении его стихотворений" - вот заглавия некоторых пьес графини Сарры, проникнутые тонким грустной мечтательности. При этом следует уточнить - оригинальные стихотворения, которые до нас, к сожалению, не дошли, поэтесса писала на английском и немецком языках. Поэтому мы можем судить о ее поэзии только по русским прозаическим построчным переводам, выполненным М.Н.Лихониным. Приведем перевод одного текста (он не имеет заглавия):

"Знаешь ли ты страну, где цветет радость, пламенеет святая роза любви, иссякает горький источник слез, и любовь побеждает силу несчастья: что, знаешь ли ты ее?

Знаешь ли ты страну, где при звуке арфы, при светлом божественном пении, в награду страданию, подают пальму - вечно свежий венец; что, знаешь ли ты ее?

Знаешь ли ты страну, где в чертогах Вечного разливаются ароматы любви, и дух, витая в блеске солнца, перелетает от блаженства к блаженству: что, знаешь ли ты ее?"

По свидетельству А.С.Пушкина, Сарра от туберкулеза лечилась "омеопатически". Действительно, за ней наблюдал гомеопат Ф.И. Мандт - тогдашнее светило (о нем, между прочим, впоследствии шла молва, что он отравил императора Николая I). Однако все усилия эскулапа оказались тщетными. 24 апреля 1838 года Сарра Толстая скончалась в Петербурге на 18-м году жизни. Похоронена же была в Москве на Ваганьковском кладбище.

Одним из первых на смерть девушки откликнулся В.А.Жуковский, который в стихотворном послании к Ф.И.Толстому, в частности, писал:

Не для земли она назначена была.
 Прямая жизнь ее теперь лишь началась -
 Она уй ти от нас спешила и рвалася,
 И здесь свой краткий век два века прожила.
 Высокая душа так много вдруг узнала,
 Так много тайного небес вдруг поняла,
 Что для нее земля темницей душной стала,
 И смерть ей выкупом из тяжких уз была.
 Но в миг святой, как дочь навек смежила вежды,
 В отца проникнул вдруг день веры и надежды.

В 1839 году, через год после смерти дочери, Толстой-

Американец в небольшом количестве экземпляров, предназначенных для родных и друзей графа, издал названный сборник ее стихов. “Эта книга одного из существ в высшей степени оригинальных, странных, романтических, которые когда-либо существовали, по своей природе, судьбе, таланту, образу мыслей. Это чудесное явление было недолговечно, как вспышка молнии”. – приветствовал это издание В.Г.Белинский. Восторженно отозвался о поэтессе и М.Н.Катков в своей статье “О сочинениях Сарры Толстой”, написанной в приподнятом национальном духе, с оттенками мистического настроения. “Необыкновенной девушкой с высоким поэтическим даром” назвал Сарру А.И.Герцен. А композитор А.А.Алябьев на текст ее стихотворения “Роза” сочинил известный романс.

К слову, Толстой решил увековечить память о дочери не только изданием ее сочинений, но и постройкой богодельни в ее честь. Но один архитектор, из мещан, выстроил ее не так, да к тому же прикарманил себе часть денег графа. Тогда разъяренный Федор Иванович зазвал его к себе в дом и самолично одним махом вырвал у него зуб. “Американец” за это чуть было не угодил в тюрьму. “Мещанин подал просьбу, – рассказывает А.И.Герцен в “Былом и думах”, – Толстой подарил полицейских, подарил суд, и мещанина засадили в острог за ложный извет”.

Но вернемся к дарственной надписи Толстого на книге, где говорится о “сердечной любви и уважении” к адресату – к княгине Надежде Федоровне Четвертинской (1791-1883). Не составило особого труда установить девичью фамилию княгини – Гагарина. С семьей же Гагариных Толстого связывали не только дружеские, но и родственные отношения – прежде всего, через мать Надежды Федоровны – Прасковью Юрьевну Трубецкую-Гагарину (1762-1848). Характер этой замечательной женщины своей оригинальностью и эксцентричностью во многом походил на толстовский. Литератор И.М.Долгорукий в своих мемуарах называет способность на решительные поступки и взбалмошность доминирующими чертами Трубецкой (и это также роднит ее с Толстым). Но наиболее ценное свидетельство Долгорукого – это то, что Прасковья Юрьевна первая из русских женщин поднялась в Москве на воздушном шаре. Однако, известно, что пионером в этом деле был как раз Федор Толстой, стартовавший весной 1803 года. Дело не в том, летели ли они на одном воздушном шаре или нет, и даже не в том, что подобный поступок почитался тогда героизмом – главное то, что молодого графа и энергичную княгиню объединяет смелость, кураж, стремление к острым ощущениям.

Список совпадений может быть продолжен. Как и Американец, она попала в бессмертную комедию А.С.Грибоедова “Горе

от ума". Но если о Толстом в комедии распространяется Репетиллов, то о ней (на всякий случай переименованной в Татьяну Юрьевну) упоминает грибоедовский Молчалин:

Татьяна Юрьевна!!! Известная, – притом
Чиновные и должностные –
Все ей друзья и все родные;
К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам...
Как обходительна! Добра! Мила! Проста!
Балы дает нельзя богаче
От Рождества и до Поста,
И летом праздники на даче.

По словам современника, “вместе с твердостью имела она необычайные, можно сказать, невиданные живость и веселость характера; раз предавшись удовольствиям света, она не переставала им следовать”. Впрочем, она была очень влиятельна в правительственных кругах, и Толстой не раз прибегал к ее помощи.

Что же касается непосредственно самой княгини Н.Ф.Четвертинской, которой “в знак сердечной любви” преподнес книгу граф, то, по словам Ф.Ф.Вигеля, она “была из тех женщин, коих стоит любить”. “Не знаю, как сказать мне о ее наружности? – продолжает далее мемуарист. – Если прямой гибкий стан, правильные черты лица, большие глаза, приятнейшая улыбка и матовая, прозрачная белизна неполированного мрамора суть условия красоты, то она ее имела. С особами обоего пола была она равно приветлива и обходительна. Ее звали Надежда Федоровна; но для мужчин на челе этой Надежды была всегда надпись Дантова ада: “Оставь надежду навсегда”. Четвертинская как раз в начале 40-х годов занимается строительством благотворительных заведений – приютов, богаделен для престарелых, и это, бесспорно, роднит ее с “Американцем”, который, как сказано выше, тоже строил богадельню в память о покойной дочери.

Давним знакомцем Федора Ивановича был и муж Надежды Федоровны князь Борис Антонович Четвертинский (ум.1863). Отпрыск древнего княжеского рода, который вел свое происхождение от Святополка-Михаила, внука Ярослава I, он, как и граф, был героем войны 1812 года, полковником и кавалером Ордена Георгия 4 класса за боевые отличия. В своей бурной молодости он, как и Толстой, нередко дрался на дуэлях. Очевидец свидетельствует: “Много раз я встречал в петербургских гостиных этого красавца, молодца, опасного для мужей, страшного для неприятелей, обвешанного крестами, добытыми в сражениях с французами. Я знал, что сей

известный гусарский полковник, наездник, долго владевший женскими сердцами, наконец сам страстно влюбился в одну княжну Гагарину, женился на ней и стал мирным жителем Москвы". В 40-е годы Б.А. Четвертинский был уже в чине обер-шталмейстера и управлял московским конюшенным двором. Вместе с женой он жил неподалеку от церкви священномученика Антипия, "что близ конюшен", в так называемом "шталмейстерском доме" (он сохранился в Москве, в Малом Знаменском переулке, д.7, но в плачевном состоянии, полуразвалившийся, удерживаемый лишь громадными железными обручами). Человек он тоже был со связями – достаточно сказать, что его родная сестра М.А.Нарышкина – Четвертинская была любовницей Александра I и имела от царя дочь.

Свояком Четвертинского и одновременно близким другом Федора Толстого был Петр Андреевич Вяземский. По словам С.Л.Толстого, "Толстой очень дорожил дружбой как с Гагариными, так особенно с Вяземскими". Но все дело в том, что жена Вяземского, Вера Федоровна, урожденная Гагарина (1790-1886), приходилась родной сестрой Н.Ф.Четвертинской. Она дружила не только с Федором Толстым, но и с А.С.Пушкиным, который сказал о ней: "Прекрасная, добрейшая княгиня Вера, душа прелестная и великодушная". В период обострения отношений между Пушкиным и Толстым княгиня Вера Федоровна всеми силами пыталась их примирить.

Дружен с Толстым был и брат Н.Ф.Четвертинской, князь Федор Федорович Гагарин (1786-1863), прозванный "tete de mort" или "Адамова Голова". В свое время он, так же как и граф, был повеса, игрок и кутила. Про Федора Гагарина рассказывали, что, служа адъютантом при Бенигсене, он на пари доставил Наполеону два фунта чаю; и только благодаря благосклонности Наполеона он благополучно вернулся в русский лагерь. По словам М.Д.Бутурлина, "его недостатки заключались в человеческой слабости быть везде на первом плане, в эксцентрических выходках или замашках казаться молодым вопреки своих лет". О нем существует такой анекдот: однажды, заказав себе в ресторане рябчика, он на время отлучился. Тотчас же его рябчика принялся ушлетать какой-то сорванец, которого князь поймал с поличным. Гагарин преспокойно пожелал ему приятного аппетита, и, выставив дуло пистолета, заставил съесть без устали еще 11 рябчиков, за которые заплатил. Своим беспорядочным поведением Ф.Ф.Гагарин расстроил как свои денежные дела, так и дела брата и сестры. Граф Толстой по дружбе с ним заложил для него свое имение. Впрочем, он тоже был героем войны 1812 года, кавалером Ордена Георгия 4 степени и дослужился даже до чина генерал-майора (1827 год). Характерно, однако, что в 1832

году он был уволен от службы “за появление в Варшаве на гуляньи в обществе женщин низшего разбора”.

Обратимся же вновь к экземпляру сочинений Сарры Толстой. В конце дарственного автографа Ф.И.Толстого указана дата: “1840 г. Январь 23”. Но, как свидетельствует Ф.В.Булгарин, почти весь 1840-й год Толстой-Американец прожил с семейством в Петербурге. Следовательно, надпись “Сельцо Глебово” сделана графом в тот редкий момент, когда он в один из эпизодических наездов в свое подмосковное имение принимал в гостях свою дальнюю родственницу и добрую знакомую Н.Ф.Четвертинскую, которой и подарил книгу.

Живописное сельцо Глебово Истринского района Московской области, где находилось родовое поместье Ф.И.Толстого, существует и поныне. Наследники графа продали его семье генерала войны 1812 года А.А. Брусилова. Культурный слой этих мест исключительно богат, и сама энергетика их особая (не впитала ли она в себя необъятные жизненные силы Толстого-Американца?). Достаточно сказать, что именно в Глебове, в 1876 году П.И. Чайковский сочинил музыку к “Лебединому озеру”, а на следующий год вернулся сюда, чтобы буквально за несколько дней написать бессмертную оперу “Евгений Онегин”. А в 1912 году отсюда ушел в экспедицию к Северному полюсу племянник генерала – Г.П. Брусилов, ставший прототипом капитана Татаринова каверинских “Двух капитанов”.

Говорят, что культура – это механизм коллективной памяти. Автограф Федора Толстого и воскрешает забытые для нас имена и культурные пласты, приоткрывая тайну судеб истории.

О 'ЖИДОВСТВУЮЩИХ' И НЕ ТОЛЬКО О НИХ

Истые русофилы и ревнители ортодоксального православия регулярно отмечают знаменательную дату, ставшую судьбоносной как для российской церкви, так и для положения иудеев на матушке-Руси. Речь идет о декабре 1504 года, когда церковный собор постановил учинить решительную и окончательную расправу над так называемой сектой “жидовствующих”, действовавшей в Новгороде, а затем и в Москве на протяжении более трех десятков лет. К слову, когда власть предрержащие делали вид, что в России – стране победившего социализма – еврейского вопроса нет и никогда не было (вспомним известный каламбур И. Ильфа и Е. Петрова: “еврей есть, вопроса нет”), советские историки стыдливо называли этих сектантов “Новгородско-московской ересью”.

Современники, однако, прямо указывали на национальную и религиозную подошлеку “ереси”: и тогда, в 1504 году, именно “жидовствующими” аттестовали тех, кому вырывали языки, пытали, а затем сжигали заживо в деревянных клетках. Всех их, вкуче “с поборниками и соумышленниками”, подвергли не только остракизму, но и церковной анафеме. С тех самых пор и наблюдался заметный рост религиозной нетерпимости, массовое неприятие иудаизма и евреев в Московской Руси. Словами “жид”, “жидовин” стали называть отступников от православной веры, “антихристов”, коих считали колдунами, чернокнижниками и “совратителями душевными”, испытывая перед ними суеверный страх...

Отсчет же создания сей секты (а в строгом смысле слова это была не секта, а светское антиклерикальное течение, связанное своим происхождением и направленностью с ранним европейским гуманизмом) принято вести с 1470 года. Тогда в “господин Великий Новгород”, в то время еще вольный город, прибыл в качестве наместника короля польского князь Михаил Олелькович из Киева, а с ним, как говорится в летописи, “жидове с торгом”. Особым расположением и благосклонностью наместника пользовался давний его знакомец, уроженец Крыма и весьма влиятельный в Киеве торговец по имени Схария (по другим сведениям, Скара, Заккария). Существует несколько версий происхождения этого, без сомнения, харизматического деятеля. Согласно одной из них, Схария был жидовином (С.М. Соловьев), по другой – караимом (“Русский биографический словарь”). Есть сведения, что сам он этническим евреем не был (его отец – богатый генуэзский князь Винченцо де Гизольфи, владелец Таманского полуострова, что в Крыму, мать – черкес-

ская княжна), но длительные его связи с евреями Крыма и, прежде всего, с переживавшей тогда бурный расцвет еврейской общиной города Матрега (что на Тамани), сохранившейся чудесным образом после разгрома в X веке Хазарского каганата, привели Схарию в ряды прозелитов от иудаизма.

Этот шаг Схарии станет вполне понятным, если принять во внимание стойкий и неподдельный интерес гуманистов Возрождения XIV – XV веков к евреям и еврейской культуре. Известно, что немецкий ученый Иоганн Рейхлин, как и многие другие гуманисты, изучал еврейский язык, защищал еврейскую письменность (Талмуд, Зогар, комментарий Раши, Ким Хиды, Герсониды и др.) от нападок обскурантов.

Подобное движение возникло и в среде евреев. Во второй половине XV века османский султан Магомет Победитель (1451-1481) распространил на евреев права всех подданных немусульман. Эдикт этот вызвал большой прилив в Константинополь евреев, образовавших здесь центр интеллектуального движения, близкого к гуманистическому. Евреи выпускали в Константинополе книги, открывали школы, занимались медициной и астрологией. Среди еврейских ученых в середине XV века особенно выделился раввин Куманято. Он изучал астрономию, математику, механику, естественные науки. Отличаясь значительным свободомыслием, Куманято не делал различия между талмудистами и караимами, преподавал светские науки, не вдаваясь в религиозные споры своего времени. Аналогичное гуманистическое движение существовало в XV веке и в среде литовских евреев, что порождало многочисленные случаи перехода здесь христиан в иудейство.

И приехавший в Новгород Схария обладал поистине энциклопедическими познаниями (это вынуждены были признать даже его злейшие враги). Есть свидетельства, что он глубоко постиг не только Ветхий и Новый Завет, но и творения отцов и учителей Христианской церкви; при этом он занимался философией, естественными науками и особенно астрономией (мог, к примеру, безошибочно предсказывать солнечные и лунные затмения и т.д.); свободно изъяснялся на итальянском, черкесском, русском, татарском, писал на древнееврейском и латинском языках. “Сей Схария, – негодовал впоследствии его православный оппонент, преподобный Иосиф Волоцкий, – бяша дьяволов сосуд и изучен всякому злодейства изобретению, чародейства же и чернокнижию, звездозаконию и астрологы”. К тому же Схария был блестящим полемистом и диалектиком, что в соединении с исключительной на русскую мерку образованностью давало ему в руки неотразимое оружие. Интересно, что сей проповедник выписал из Литвы двух помощни-

ков – евреев Йосефа Шмойлу Скарязого и Моисея Хануша.

Какие же взгляды популяризировал Схария в Новгороде? Вот как характеризуют их сегодняшние историки-юдофобы: “Первое: главный догмат Православия о троичности Бога есть нелепость, поскольку никому и ничему невозможно быть одновременно единицей и троицей. Второе: поскольку Божество не может быть Троицей, то в Его составе не может быть Сына, следовательно Иисус, называвший себя “Сыном Божиим”, на самом деле не был таковым, а был просто человеком. Третье: из той же невозможности Богу быть Троицей вытекает отсутствие в нем не только второго, но и третьего лица, то есть Святого Духа, который, таким образом, оказывается фикцией, а значит фикцией являются и церковные таинства, в которых Святой Дух якобы соединяет нас с горним миром, а этого мира вовсе не существует. Четвертое: раз горнего мира нет, значит молитвы подвижников, обращенные к якобы обитающим в этом мире святым существам, тщетны, потому институт монашества вместе с монастырями должен быть упразднен как паразитарный, и освободившиеся людские ресурсы и денежные средства должны быть направлены на улучшение нашего земного обустройства...”

Православный литератор В.Н. Тростников поясняет: “Отрицание Троицы есть рационализм, отрицание божественности Христа – антропоцентризм, отрицание инобытия – материализм, призыв к роспуску монашества – прагматизм... Рационализм и прагматизм евреев, выработавшиеся в них за столетия внедрения в чужие культуры и коммерческую деятельность, хорошо всем известны. Так что этот мировоззренческий букет вполне справедливо можно назвать мировоззрением иудеев или тех, кто мыслит так же, как они, то есть “жидовствующих”. Говорить об этих качествах как о некоей квинтэссенции иудаизма, да еще в эпоху расцвета еврейской мистики – слишком явная бессмыслица, чтобы полемизировать на сей счет.

Кроме того, В.Н. Тростников, равно как и другие новоявленные борцы с “жидовствующими”, сам того не желая, явно льстит Схарии, ибо столь стройной и законченной системы воззрений у него не было: сам проповедник не доверил их бумаге, а гонители его, одержимые полемическим запалом, подчас противоречили сами себе даже в определении самой сущности “жидовства”. Так, к примеру, они то утверждали, что “жидовствующие” отрицали загробное существование, то – что признавали его. То говорили о том, что те не поклонялись иконам, то, что поклонялись иконе Иисуса-Спасителя и т.д. Известно также, что Схария с сотоварищи активно занимались астрологией. По словам современников, они лишь “примесили...мало нечто жидовского” в свое учение, не имея

какой бы то ни было готовой религиозной концепции. “Это было движение свободомыслящих, – подчеркивает академик Д.С. Лихачев, – связанное своим происхождением с отголосками гуманистического течения на Западе, возможно, через литовских евреев. Отдельные представители этого движения, очевидно, по-разному углублялись в это свободомыслие и тем давали повод к противоречиям в характеристике”.

Что же представляли собой рукописные сборники, приписываемые “жидовствующим”? Это и так называемый “Шестокрыл” – рукопись астрологического содержания, автором которой был еврей Иммануэль-бар-Якоб, живший в XIV веке в Италии. Она явилась плодом того увлечения астрономией и астрологией, которое было характерно для Италии XIV – XV веков. Язык перевода – западнорусский, с немногими еврейскими терминами (например, в названиях знаков зодиака). Ярко гуманистический характер изложения сказывается в переводе (с еврейского же) “Тайной тайных” (“Secretum Secretorum”) или “Аристотелевых врат”, получивших распространение в XV веке. Сочинение это, по преданию, было написано самим Аристотелем, как поучительное, и предназначалось для Александра Македонского. “Аристотелевы врата” распространялись в России и были популярны у русских читателей вплоть до XVIII века. Они отвечали возникшему в XIV веке стремлению гуманистов к точному знанию, к медицине, к изучению зависимости человеческого поведения от телесных свойств. К числу названных текстов принадлежит и перевод с еврейского книги “Логика” Моисея Маймонида. Переводчик, не всегда справлявшийся с трудностями перевода, вынужден был придумать много новых терминов, до того отсутствовавших в русском языке: одержанный – объект, одержитель – субъект и т.п. Читая сей перевод, удивляешься тому, какие титанические усилия должен был приложить читатель этой книги, чтобы расширить свой умственный кругозор.

Среди рукописей есть и астрологическая книга “Лопаточник”, а также переводы с иврита на древнерусский язык “Книги Даниила” и апокрифической “Книги Ханоха”, равно как сборника еврейских праздничных молитв, именуемого “Псалтырью Федора Жидовина” (поскольку перевод осуществил в конце XV века крещеный еврей Федор) и др.

Утверждают, что Схария “вкрадчиво, но настойчиво, стал знакомить представителей новгородской верхушки, к которой, конечно, принадлежали и духовные лица, с этим неслыханным здесь доселе учением”. Опять неточность: факты свидетельствуют, что проповеди Схарии легли в Новгороде на уже подготовленную почву, и был он не пахарем, а скорее сеятелем. Ведь еще в середине

XIV века в Новгороде и Пскове возникла еретическая секта стригольников. По предположению исследователя М.М. Елизаровой, слово “стригольник” отражает еврейское словосочетание, основанное на словах “делать тайным”, “скрывать”, “быть изгнанным”. Таким образом, в переводе с еврейского языка “стригольник” означало “хранящий откровение” или “тайный изгнанник” – понятие, близкое к лексике тайных обществ гностиков и манихеев. Как полагает историк Г.М. Прохоров, “стригольничество” – след первого влияния караимства в Северной Руси.

Стригольники считали, что все русское священство “во зле лежит”, потому что берет пошлины и подарки при посвящении в сан, и отказывались от общения с таким духовенством. Они объединялись в особые группы, во главе которых стояли особые наставники – “простецы”. На русском Севере были в обычае религиозные споры; в Новгороде люди разных сословий сходились не только в домах, но и на площадях, обсуждали духовные проблемы, порой спорили до хрипоты, критикуя церковь, ее обряды и постановления. Стригольников преследовали: известно, что в 1375 году трех представителей секты сбросили с моста в реку Волхов; еретиков сих ловили в Пскове и Новгороде, сажали в темницы, а они убегали, разнося по городам и весям свое “богоборное” учение.

Русские источники указывают, что Схария “прельстил в жидовство” двух влиятельных новгородских священников – Алексея и Дионисия, людей критически мыслящих и по тем временам весьма начитанных. При этом “обольстителю” якобы “из коварства” запретил им совершать обрезание; еретики не отказывались при этом от священства, продолжая служить в храмах. Иудейство их держалось в глубокой тайне, равно как и новые их имена: так, например, священник Алексей получил имя Авраам, а жена его – имя Сарра. К новой вере обратились затем некий Иванька Максимов, Гридя Ключ, поп Григорий, Мишук Собака, дьяк Гридя, поп Федор, поп Василий, поп Яков, поп Иван, дьякон Макар, поп Наум и даже протопоп Софийского собора Гавриил и многие, многие другие. Вскоре Схария вместе с евреями уехал из города, и ересь распространялась уже без них.

В 1479 году великий князь московский Иван III побывал в Новгороде после присоединения его к Московскому государству. До него дошли слухи о мудрости, красноречии и благочестивой жизни тайных еретиков Алексея и Дионисия, которые и при ближайшем знакомстве произвели на царя столь сильное впечатление, что он предложил им переехать в Москву. В столице они были назначены протопопами главных храмов Русской церкви: первый – Успенского, второй – Архангельского соборов Кремля. Оба пользо-

вались уважением как образованные книжники, что способствовало распространению “ереси” в Москве.

В числе принявших учение Схарии было немало влиятельных людей. Среди них – человек европейского пошиба, глава Посольского приказа Федор Васильевич Курицын, ставший бесспорным лидером группы, даровитый литератор, владевший немецким, польским, венгерским и греческим языками; его брат Иван Волк Курицын; дьяки Истома, Сверчок, а также невестка самого царя Елена Волошанка (дочь валашского господаря, жена сына Ивана III Ивана Молодого), а также часть придворных, намеревавшаяся использовать новую веру во внутренней борьбе за власть. Даже сам Иван III временно “склонил слух” к ней: впрочем, как это убедительно показал американский историк А. Янов, царь конфисковывал тогда монастырские земли, и критика церковных “стяжателей” соответствовала его политике.

В течение семнадцати лет “жидовствующие”, число коих по некоторым подсчетам умножилось до полутора тысяч (!), ухитрились держать свое учение в тайне. Лишь в 1487 году их изобличил, наконец, Новгородский архиепископ Геннадий (Гонзов). Ему не давали покоя лавры ревнителя веры Христовой, “гишпанского” короля с его инквизиторскими аутодафе, о необходимости коих он своевременно сигнализировал в Первопрестольную. По приказу сего православного пастыря, группа еретиков за чинимые святотатства была “бита кнутом”. Однако, высокопоставленные покровители “супостатов” не допустили полного уничтожения секты, часть “жидовствующих” нашла прибежище в Москве. В 1489 году новым митрополитом Руси стал симоновский архимандрит Зосима, которого православные ортодоксы тут же окрестили “вторым Иудой” за то, что тот не был склонен к жестокой расправе над еретиками. На церковном соборе 1490 года (под водительством того же Зосимы) ересь подверглась осуждению, а ее сторонники были названы “сущими престлниками и отступниками”.

Еретики упорно отрицали свою вину, но собор лишил их духовного сана, предал проклятию и осудил на заточение. Многих из них отправили к Геннадию в Новгород, и архиепископ распорядился встретить их за сорок верст от города, надеть на них вывороченную одежду, шлемы из бересты с мочальными кистями и соломенные венцы с надписью “се есть сатаниново воинство”. Их сажали на лошадей лицом к хвосту, а народу было велено плевать на них и улюлюкать: “Вот хулителю Христа, враги Божии!”. Затем на головах “поганых” зажигали шлемы из бересты...

Для борьбы с “неверными” были заново прочитаны основ-

ные церковные книги, и все чуждое православной традиции из них нещадно изымалось. По инициативе неистощимого Геннадия была полностью переведена на русский язык Библия (с изобретением книгопечатания она потом будет напечатана в Остроге в 1580-1582 гг.), а также некоторые полемические сочинения. Свою роль в идейной борьбе с “еретиками” сыграли и составленные преподобным Нилом Сорским Жития Феодора Студита и Иоанна Дамаскина, где открыто осуждается иконоборчество.

Но наиболее полно критика учения “жидовствующих” изложена в сочинении “Просветитель”, написанном игуменом Волоцкого монастыря Иосифом (Саниным). “С того времени, как солнце православия воссияло в земле нашей, у нас никогда не бывало такой ереси, – вынужден был признать преподобный Иосиф, – в домах, на дорогах, на рынке все, иноки и миряне с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении о вере пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, отступников Христа: с ними дружат, пьют и едят и учатся у них жидовству”.

Тема отступничества стала особенно актуальной в 1492 году, когда, согласно православному христианскому исчислению, окончились семь тысяч лет от сотворения мира. Час пришел, а предсказываемый православными конец света почему-то не наступал, что дало повод к еретическим мыслям, сомнениям в вере, различным толкованиям Библии и т.п. “Если бы Христос был Мессией, – говорили “еретики” православным, – то почему же он не является в славе, по вашим ожиданиям?” Понятно, что это было весомым аргументом в пользу учения “жидовствующих”.

Но кого здесь вообще интересовали аргументы?! Ведь то был не спор, не прения сторонников разных верований, а непримиримая бескомпромиссная борьба! И шла она не на жизнь, а на смерть. И вот уже отлучается от метрополии навязший в зубах у ортодоксов Зосима, вроде бы “за страсть к вину и нерадение к церкви” (на самом же деле – за мягкотелость, за потворство “врагу”). Казалось бы, победа, но поверженные “жидовствующие недобитки” изгаляются и добиваются назначения архимандритом Юрьева монастыря, что в Новгороде, монаха Кассиана, тоже тайного еретика. Последний вновь устраивает свои “злбесные” сборища. И вновь сие “осиное гнездо” уничтожает бдительнейший архиепископ Новгородский Геннадий!

Но даже и после этого “ересь не ослабела, – сообщает “Еврейская энциклопедия”, – одно время (в 1498 году) едва не захватили в Москве всей власти и ставленник их Димитрий, сын княгини Елены, был венчан на царство”. Однако, торжество “жидовствующих” было недолгим. Влиятельного дьяка Федора Курицына уже не

было в живых. Иван же III из-за разных семейных неурядиц охладел к своей невестке Елене, заключил ее с сыном в темницу и назначил в 1502 году своего сына от второй жены Софии Палеолог Василия наследником престола. Последнего поддерживал преподобный Иосиф Волоцкий, который потребовал от Ивана III немедленных крутых мер против еретиков. Монарх признался Волоцкому, что “ведал новгородскую ересь”; признал также царь, что его невестку совратили в жидовство, и просил простить ему его прегрешения. “Государь, – ответил ему на это Иосиф, – подвинься только на нынешних еретиков, а за прежних тебе Бог простит”. Заметим, однако, что Иван III не столь безоговорочно принял позицию гонителей иудеев. Он долго колебался, не грешно ли предавать их казни. И не случайно историк Г.В. Вернадский назовет его впоследствии юдофилом. Еще предстоит оценить и тот факт, что на смертном одре царь вдруг призвал к себе царевича Димитрия и прилюдно попросил у него прощения за вынужденную опалу.

27 декабря 1504 года в Москве и Новгороде состоялось всенародное сожжение еретиков, в их числе Ивана Волка Курицына и Кассияна. Подводя итог сему противостоянию, историк и литературовед В.В. Кожин заключает: “Длившаяся более полутора десятилетия борьба с “ересью” была поистине героической и вместе с тем подлинно трагедийной, ибо приходилось в сущности бороться с собственной государственной властью и с собственной церковной иерархией”. Однако едва ли можно считать доблестью борьбу с врагом, который с самого начала вынужден был таиться и не сопротивлялся: ведь “жидовствующих” шельмовали совершенно безответно! – ни один волос с головы обличителей не упал. “Еретиков” предавали анафеме, борцов с ними, наоборот, – возвеличивали, а потом даже канонизировали православной церковью. “Трагедийность” же ситуации заключалась, пожалуй, лишь в том, что сожгли “жидовствующих” не сразу (как мечталось православным ортодоксам), а только в 1504 году. Своего апогея антисемитская истерия достигнет в Московии при внуке Ивана III, деспотичном Иване Грозном, о коем писали: “Как ни был он жесток и неистов, однако же не преследовал и ненавидел никого, кроме жидов, которые не хотели креститься и исповедовать Христа: их он либо сжигал живьем, либо вешал и бросал в воду”...

“Опаснейшая угроза самому бытию Руси”, “идеологическая диверсия”, “лжеучение, которое подрывало истинную основу многовекового бытия державы”, – так сегодня характеризуют “ересь” русские историки-почвенники. Сам вопрос о вкладе “жидовствующих” в российскую культуру кажется им кощунствен-

ным. Между тем объективные исследователи давно уже признали просветительский, антифеодальный характер “ереси”, а также то, что еврейская мысль и интеллектуальность “жидовствующих” принесла пользу русскому самостоятельному мышлению, способствуя русскому духовному возрождению (Л. и Н. Пушкаревы). Академик С.Ф. Платонов подчеркивал, что созданное “жидовствующими” настроение критики и скепсиса в отношении догмы и церковного строя не умерло в России.

В качестве резюме к сказанному более чем подходят слова академика Д.С. Лихачева: “Движение “жидовствующих” имело серьезное прогрессивное значение, будя мысль, вводя в круг образованности новые книги, создав в конце XV – начале XVI века большое умственное возбуждение”.

Бабичев, Владимир. Киношник, имевший счастье ходить по коридорам ВГИКа, член Союза кинематографистов Украины, мелкоплодный сценарист в науипе, обожествляет беллетристику – даже в светских сочинениях склонен выискивать приметы богодухновенной свободы, любимый жанр – эссе, сказка. Ныне – пенсионер. Причисляет себя к разряду гуманитариев, сдается, что-то понимающих в сфере искусств, но ограниченных в способности внятного выражения воспринятого: за тридцатилетнюю жизнь в кинематографе влюбленный в него дипломированный киновед не написал ни одной рецензии на фильм.

Бердников, Лев (1956, Москва). Закончил литературный факультет Московского областного педагогического института (ныне МГОУ). Во время учебы работал также внештатным корреспондентом “Учительской газеты”. Более 10 лет проработал старшим научным сотрудником в Отделе редких книг (Музее книги) Российской Государственной Библиотеки (бывшей тогда Ленинки), где в 1987-1990 гг. возглавлял научно-исследовательскую группу русских старопечатных изданий. С 1990 г. живет в Лос Анджелесе. Автор книг “Счастливыи Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII – начала XIX века” (Спб., 1997); (в соавторстве) “Пантеон российских писателей XVIII века” (Спб, 2002); “Щеголи и вертопрахи. Герои русского галантного века” (М., 2008) и более 260 публикаций в России, США, Канаде, Израиле, Германии, Дании, Латвии, на Украине на русском и английском языках. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей Москвы.

Бершин, Ефим (1951, Тирасполь). Закончил факультет журналистики МГУ. Работал в центральных литературных изданиях. Член Союза писателей СССР. Член Союза российских писателей и Международного пен-центра. Автор поэтических сборников «Снег над Печорой», «Острова», «Осколок», документально-художественной книги «Дикое поле», романа «Маски духа». Стихи и проза Е. Бершина публиковались в журналах «Юность», «Новый мир», «Континент», «Дружба народов», в «Литературной газете» и др., а также за рубежом в переводах на испанский, английский, немецкий языки.

Вейцман, Александр. Закончил Гарвардский и Йельский университеты (степени бакалавра и магистра в области экономики и финансов). Пишет стихи, прозу, эссе. Переводит на русский и английский (стихи И. Бродского, Н. Гумилева, К. Кавафиса, Г. Максвелла и др.) Живет в Нью-Йорке.

Витенберг, Лена. Родилась на космодроме Байконур в конце 60-х. С шести лет живет в Ленинграде-Санкт-Петербурге. Закончила психологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат

психологических наук. Работала координатором программ по культуре Фонда Сороса в России и странах СНГ. В настоящее время руководит программой Фонда Лихачева «Стажировки в России» для деятелей культуры США. Живет в России и США.

Дмитриев, Виталий (1950, Ленинград). Окончил факультет журналистики ЛГУ (1977). Сменил множество профессий - от экскурсовода в Исаакиевском соборе до плотника, каменщика, грузчика. Участник литературной группы «Московское время». Впервые опубликовал стихи в журнале «Нева» (1976). Печатался в «Континенте», в сборниках «Молодой Ленинград», «Невские просторы», «День поэзии» (Ленинград), журналах «ДН», «Знамя». Лауреат премии им. А.А. Ахматовой (2007 г.). В 2008 году вышла книга стихов «Надстрочник» (СПб, Геликон+).

Дозморов, Олег (1974, Свердловск). Окончил филфак УрГУ и аспирантуру. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Арион», «Звезда», «Таллинн» и альманахе «Urbi». Член Союза писателей.

Заславский, Анатолий (1939, Киев). В 1957 г. окончил СХШ, в 1965 - ЛВХПУ им. В. И. Мухомовой, отделение монументальной живописи (мастерская проф. А. А. Казанцева). С 1977 г. член СХ России, с 1992 - Международной федерации художников. Занимается станковой живописью и сценографией. Автор монументально-декоративных работ, установленных в С.-Петербурге, Гатчине, Стрельне, Калининграде, Костроме, Нерехте, Куйбышеве, Томске. Участник выставок (с 1969): отечественных, зарубежных - в Дании, Финляндии, Франции, ФРГ, Швейцарии, Югославии, Южной Корее, США, Англии. Работы хранятся в собраниях: ГРМ, Музея истории С.-Петербурга, Музея Театрального и Музыкального искусства, музеев г. Пушкина, Перми, Петрозаводска, Хабаровска, Астрахани, Казани и во многих частных коллекциях России, Европы, Азии и Америки.

Кобрин, Кирилл. Эссеист, прозаик, историк, радиожурналист. Автор большого количества публикаций в «толстых», «тонких» журналах и прочих периодических изданиях, включая журнал Стороны света, в редколлегии которого состоит. Автор книг «Подлинные приключения на вымышленных территориях» (Н.Новгород, 1995, совместно с В.Хазиным), «Профили и ситуации» (С.Петербург, 1997), «От «Мабиногион» к «Психологии искусства» (С.Петербург, 1999), «Описания и рассуждения» (Москва, 2000), «Книжный шкаф Кирилла Кобрин» (Москва, 2002), «Письма в Кейптаун о русской поэзии и другие эссе» (Москва, 2002), «Гипотезы об истории» (Москва, 2002), «Где-то в Европе» (Москва, 2004). Соредактор отдела «Практика» в «Новом

литературном обозрении». Член редколлегии журнала 'Стороны света'. Живет в Праге.

Колымагин, Борис (1957, Тверская обл.) Поэт, прозаик, бакалавр богословия, главный редактор книжного дайджеста «Библио-Глобус». Окончил Горный институт и Литературный институт по отделению критики. Автор многих статей по литературе и проблемам церковной жизни. Автор книги: «Прогулки» (Стихи, 2004); «Крымская экумена: Религиозная жизнь послевоенного Крыма (2004); «Искушение культурой: проблемы взаимодействия Церкви и культуры в современной России» (2008). Живет в Москве.

Кружков, Григорий (1945). Автор пяти сборников стихов, в том числе «Бу-меранг» (1998), «На берегах реки Увы» (2002) и «Гостья» (2004); переводчик классической английской поэзии. Сборник его избранных переводов «Англасахаб. 115 английских, ирландских и американских поэтов» издан в 2002 г. Автор книги о поэзии английского Возрождения (статьи и переводы) «Лекарство от Фортуны. Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Иакова» (2002), перевода «Охоты на Снарка» Л. Кэрролла (1991) и антологии английской абсурдной поэзии «Книга NONсенса» (2000; 2003). Также составил и перевел поэтические сборники: Роберт Фрост «Другая дорога» (1999), Джеймс Джойс «Лирика» (2000), Уоллес Стивенс «13 способов нарисовать дрозда» (2000), Уильям Батлер Йейтс «Избранное» (2001), Джон Донн «Избранное» (1994) и «Алхимия любви» (2005), Джон Китс «Гиперион и другие стихотворения» (2005). Выпускал книги для детей, переводные и оригинальные, в том числе: «Чашка по-английски» (1991; 1993), «Посытайте голову перцем» (1994), «Неуловимый ковбой» (1995), «Сказки Биг-Бена» (1993), «Единогор» (2003), «Сказки медвежьи, одуванчиковые, совиные» (2005). Награжден Почетным дипломом Международного совета по детской книге (1996 г.) Его литературоведческие исследования и эссе печатались во многих научных и толстых журналах; часть их собрана в сборнике «Ностальгия обелисков» (2001). В эту же книгу вошла расширенная версия диссертации по Йейтсу и русскому символизму, защищенная Г. Кружковым в Колумбийском университете (Ph.D., 2001). Награжден рядом премий, в том числе «Иллюминатор» журнала «Иностранная литература» (2002), «Венец» Союза писателей Москвы (2004), Государственной премией Российской Федерации по литературе (2003). Живет в Москве, преподает в Российском государственном гуманитарном университете.

Макушинский, Алексей (1960, Москва). Поэт, прозаик, историк литературы. По образованию филолог, кандидат наук. Автор книг «Макс. Роман» (Москва, 1998). «Свет за деревьями. Стихи» (Санкт-Петербург, «Алетейя», 2007). Член редколлегии журнала «Forum für osteuropäische Ideen- und Zeit-

geschichte» и его русской сетевой версии «Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры». Сотрудник кафедры Восточноевропейской истории Католического университета Эйхштетт-Ингольштадт. В Германии с 1992 года. Живёт в Мюнхене.

Мизрахи, Изабелла. родилась в Москве. В 1981 эмигрировала в США. Переводчик англоязычной поэзии, автор 4 книг переводов, куда вошли: Эмили Дикинсон, Марк Стрэнд, Роберт Фрост, Шеймас Хини, Луиза Глюк, Дерек Уолкот. Живет в графстве Вэстчестер, штат Нью-Йорк.

Рихтер, Александр (1939, Одесса). В 70-х эмигрировал в США, живет в Нью-Йорке.

Риц, Евгения. Родилась в г. Горький (Нижний Новгород). Окончила Нижегородский педагогический университет, кандидат философских наук (диссертация «Природное и культурное в философии человека Н. Ф. Федорова»). Автор книги стихов «Возвращаясь к лёгкости» (2005). Публиковалась в журналах «Октябрь», «Воздух», «Новый берег» «Волга XXI век», альманахах «Вавилон», «Reflect+куадусеицит» (Чикаго) и др., антологии «Братская колыбель», электронных журналах «РЕЦ» и «TextOnly», сайтах «Сетевая словесность», «Молодая русская литература». Лонг-лист премии «Дебют» (2004), шорт-лист премии «РЕЦ» (2007). Участник интернет-сообщества «Полутона».

Свасьян, Карен. С 1965 по 1970 студент филологического факультета Ереванского университета. С 1971 по 1993 младший, а затем старший и ведущий научный сотрудник Института философии и права АН Арм. ССР. В 1978 защитил кандидатскую диссертацию по философии на тему «Эстетическая сущность интуитивной философии А. Бергсона», в 1981 докторскую на тему «Проблема символа в современной философии». 1985 профессор. В 1993/94 лауреат премии имени А. ф. Гумбольдта (Бонн). 1997 приглашенный профессор Иннсбрукского Университета (летний семестр) на факультетах философии и теории литературы (курсы по теории познания, теории символизма и литературного перевода) С 1993 по настоящее время живет в Базеле (Швейцария). Место работы: Forum fur Geisteswissenschaft/Zurich: лекционная и издательская деятельность. Автор множества книг на русском и немецком языках. Выступает с лекциями в Швейцарии, Германии, Австрии и Франции.

Симонов, Владимир (1952, Ленинград). Закончил ЛГУ им. Жданова (филфак, испанское отделение) в 1975 г. Переводчик и прозаик. Первая переводческая публикация – «Стихи кубинских поэтов», журнал «Аврора», 1976 г. Там же

– публикация повести Г.Г. Маркеса «Невероятная и печальная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабушке», 1981г. С 1983 по 2008 г. переведено более 50 книг с испанского и английского языков, вышедших в издательствах «Худ.лит», «Радуга», «Академпроект», «Симпозиум», «Лимбус Пресс» и др. Как автор оригинальной прозы публиковался в журналах «Сумерки» и «Крещатик», в альманахе «Urbi».

Сухарев, Сергей (1947, Бийск Алтайского края). Кандидат филологических наук. Преподавал историю зарубежной литературы в Кемеровском госуниверситете и в ЛГПИ им. А.И.Герцена. Автор ряда статей по истории и теории стихотворного перевода. Член Союза Писателей Санкт-Петербурга (с 1991), член гильдии «Мастера литературного перевода» (Москва - с 2005).

Тиновская, Елена (1964, Екатеринбург). Поэт.

Черешня, Валерий (1948, Одесса). С начала 70-х годов живет в Санкт-Петербурге. Автор книги стихотворений «Сдвиг» (изд-во «Абель», СПб., 1991), сборника «Вид из себя» (записные книжки, изд-во «Urbi», СПб., 2001), многочисленных публикаций в толстых журналах, автобиографической прозы «Герой ушедшего времени», а также стихотворений периода 2000-2004 годов, не вошедших в книги.

Чечик, Феликс. (1961, Пинск). Закончил Литературный институт им. Горького. Стажировался в Институте славистики Кёльнского университета. Автор трёх поэтических книг и многочисленных журнальных публикаций. Живёт в Израиле.

Чурсина, Мария (1969 - 2000). В 12-летнем возрасте с матерью эмигрировала в США, где с отличием окончила Нью-Йоркский университет, после чего недолго проучилась в аспирантуре Иерусалимского университета по специальности «востоковедение». В 1991 году она возвращается в Москву, живет там и работает до своей трагической гибели в 2000 году.

ПРОЗА

Владимир Симонов. Отрывистая осень	5
Кирилл Кобрин. Некролог.....	37
Александр Рихтер. Шмойс	54

ПОЭЗИЯ

Виталий Дмитриев. Устав от истоков до устья	128
Ефим Бершин. Внезапно разрывая тьму	132
Феликс Чечик. Эскизы	140
Олег Дозморov. Одна двенадцатая дня	144
Елена Тиновская. Здесь, в комнате, в заре и духоте.....	154
Евгения Риц. Моя страна, покрытая лесами	159

ЗАПИСКИ

Алексей Макушинский. Вслед за кистью. Фрагменты	166
Лена Витенберг. Город, в котором не танцуют	187
Мария Чурсина. Разговор с самим собой	199
Борис Кольмагин. Река и песок	204

ПЕРЕВОДЫ

Григорий Кружков. Из поэзии Роберта Грейвза	207
Александр Вейцман. Из поэзии Марка Стрэнда	215
Карен Свасьян. Райнер Мария Рильке. Сонеты к Орфею	225
Сергей Сухарев. Из поэзии Дэвида Геберта Лоуренса	258

КРИТИКА

Валерий Черешня. Заметки к 'Бесам' Достоевского	269
Владимир Бабичев. Весть от Александра	278
Ефим Бершин. Без чертежа и плана	380

ПЕРЕПИСКА

Анатолий Заславский - Валерий Черешня	366
---	-----

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Лев Бердников. Шумный американец	381
Об одном автографе Толстого-американца.....	397
О жидовствующих и не только о них	403
<i>Об авторах</i>	413

СТОСВЕТ
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА 'СТОРОНЫ СВЕТА'
www.stosvet.net
info@stosvet.net

Подписано в печать
1.1.2010
Нью-Йорк